З. ЮРЬЕВ

# РУКА КАССАНДРЫ

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

МОСКВА ~ 1970

З. Юрьев

# РУКА КАССАНДРЫ

*Фантастические повести*

*Рисунки*
*И. УШАКОВА*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Р2
Ю85

# От автора

Нелегко поднимать руку, тем более дрожащую, на авторитеты, освященные тысячелетиями. Однако определенные обстоятельства вынуждают автора вступить в спор не с кем иным, как с Гомером и Вергилием, не говоря уже об Овидии. Точнее, это даже не спор, поскольку оппоненты вряд ли смогут ответить автору, а, скорее, некоторые уточнения.

Несогласие по ряду вопросов с этими гигантами античности глубоко огорчает автора, поскольку с детства он был воспитан в духе преклонения перед классиками литературы. Но что поделаешь, ведь в данном случае перед ним стоял выбор: традиция или истина. Скрепя сердце он все-таки выбрал истину.

Автор далек от мысли ставить под сомнение литературную добросовестность титана древнегреческой поэзии и изысканного римского патриция от литературы. Но Гомер, создавая «Илиаду» через четыреста лет после падения Трои, вынужден был пользоваться, мягко выражаясь, довольно ненадежными источниками. Об авторе «Энеиды» Вергилии не приходится и говорить. Для него Троянская война была уже древней историей, далекой, зыбкой, таинственной и посему вдохновляющей на точные описания.

Автор же волею случая находится в совершенно отличном положении. О последних днях Трои ему рассказывали очевидцы и участники тех далеких трагических событий: Александр Васильевич Куроедов, младший научный сотрудник сектора Деревянного Коня Института Истории Троянской Войны (ИИТВ), и троянец Абиеос — шорник, работавший свой нехитрый товар неподалеку от Скейских ворот.

К сожалению, не приходится ни на секунду ставить под сомнение подлинность этих свидетельств, тем более что оба они нисколько не стремились к ревизии Гомера, Вергилия и уж подавно Овидия; один по причине предстоявшей ему защиты кандидатской диссертации, другой же в силу глубокого незнакомства с литературой как античной, так и вообще какой бы то ни было.

Автор от всей души благодарит Александра Васильевича Куроедова и Абиеоса, которые с редким терпением выдерживали бесконечные расспросы о Трое, а также всех сотрудников сектора Деревянного Коня, чьи взаимопротивоположные и взаимоисключающие советы весьма помогли в работе над этой скромной рукописью.

Автор считает необходимым выразить свою признательность и машинистке Марье Спиридоновне Корке, которая из-за якобы неразборчивого почерка назначила несуразную цену за перепечатку и тем самым заставила в значительной степени сократить рукопись, что, по-видимому, пошло ей (рукописи) на пользу.

И наконец, последнее по месту, но не последнее по значимости выражение благодарности обращено к уважаемым редакторам, которые еще больше сократили рукопись и лишь по небрежению не довели этот процесс до логического конца. А жаль. От тотального сокращения рукопись выиграла бы еще больше, ибо, не существуя, она была бы полностью свободна от недостатков.

*Ноябрь, 19..*

7—6—3

# РУКА КАССАНДРЫ

*Глава 1*

Ночной вахтер стереовизионного ателье Ленинградского района Петр Михеевич Подмышко страдал плоскостопием, которое часто настраивало его на философское восприятие жизни. С другой стороны, увесистая и нежно звенящая связка ключей — с ней он медленно обходил свои безмолвные владения — была для него чем-то вроде символа власти и потому удерживала на краю философских ущелий.

Было десять часов вечера, все уже давно разошлись, и пора было проверить, согласно инструкции, закрыты ли окна и не горит ли где лишний свет. Михеич (так его обычно звали) взял ключи, для чего-то легонько бренькнул ими и пошел к доске приказов, с которой всегда вот уже много лет начинал обход. Окон, тем более не закрытых, на доске, конечно, не было, но читать приказы, даже простенькие, в две строки, о предоставлении очередного

отпуска ему было интересно. На этот раз на доске висел всего лишь один новый приказ, запрещавший внос в здание арбузов «в связи со случаями поскальзывания на арбузных корках».

«Гм,— подумал Михеич,— поскальзывание! Мало ли на чем в жизни поскользнуться можно. Неясный приказ. Ну, а как вот сейчас позвонит кто-нибудь в дверь и взойдет с дыней в руке или, скажем, с двумя, с желтенькими такими, кругленькими. А? Что тогда? Пускать или не пускать? С одной стороны, дыня — не арбуз, с другой — тоже корку дает для поскальзывания. Неясно пишут»,— вздохнул Михеич, оглянулся на дверь, ожидая увидеть человека с дынями, разочарованно пожал плечами и начал обход.

В приемном пункте, как всегда, царил хаос. На стенах висели огромные цветные стереовизоры, в корзинах лежали россыпи крохотных, величиной с пачку сигарет, карманных экранчиков.

— Все чинют,— с легкой брезгливостью пробормотал Михеич.— У меня вон «КВН» с одна тысяча девятьсот пятьдесят пятого года, ровно двадцать два годка, и как новенький. Не-ет, небрежный народ пошел... Привязанности к вещи настоящей нет...

Связка ключей в руках у вахтера была не только символом власти, но и тончайшим музыкальным инструментом, который чутко реагировал на эмоции владельца. Вот и сейчас Михеич слегка подернул связку, и ключи тут же ответили ему презрительным позвякиванием.

— Да, несолидный народишко...— продолжал Михеич свой монолог,— неусидчивый. То на планеты скачут, в окиян ныряют, из Африки на Северный полюс, а телевизоры ломают... Эх, люди-и-и...

Михеич взмахнул рукой, и ключи язвительным треньканьем скрепили приговор человечеству. Он прикрыл за собой дверь приемного пункта и медленно поплелся дальше, проверяя, везде ли закрыты окна и не горит ли где неположенный свет.

Свет не горел нигде за исключением третьего этажа, в помещении цеха настройки. Щель под дверью комнаты номер четырнадцать сочилась желтой полоской. Зажав ключи под локтем, чтобы не звенели, Михеич подкрался к двери, предвкушая не только невыключенное электричество и незатворенное окно, но и — кто знает? — может

быть, какое-нибудь еще нарушение инструкции, о котором ночной вахтер лишь мог мечтать долгими дежурствами.

Михеич резко дернул дверь, тайно надеясь, что она заперта изнутри, но дверь против ожидания легко раскрылась, и вахтер не без некоторого разочарования увидел Ваню Скрыпника, бригадира настройщиков, склонившегося над каким-то прибором.

— А, дядя Михеич,— рассеянно пробормотал бригадир, неохотно отрывая глаза от шкалы, на которой нетерпеливо пританцовывала серебристая стрелка.

— Товарищ Скрыпник,— твердо и вместе с тем скромно сказал вахтер,— позвольте справиться: есть у вас разрешение на работу после двадцати одного ноль-ноль, подписанное директором ателье или его заместителем?

— Нет, товарищ Михеич,— сказал бригадир настройщиков,— хотите помилуйте, хотите казните. Нет у меня разрешения, подписанного директором, заместителем или вообще кем бы то ни было из смертных.

— А я с ва̀ми не смешки смеять пришел.

— А я их и не смею. Наоборот даже.

— Чем занимаетесь?

— Дядя Михеич, ну что вы на меня набросились? Ну что вы, меня не знаете?

— А нам это без надобности, чтоб вы знали, знаю ли я вас, товарыш Скрыпник. Предъявите разрешение.

Спорить с ночным вахтером было бесполезно. Человек он, по всеобщему признанию, был добрый, но доброты своей стеснялся, особенно при выполнении служебных обязанностей, считая ее предосудительной и недостойной. Оставался только один многократно испытанный прием. Применять его было не совсем честно, но выхода не было. Бригадир вздохнул и спросил:

— Дядя Михеич, а правду говорят, что у вас «КВН» до сих по̀р работает? А то я только один в политехническом музее видел.

Вахтер знал, что вопрос этот лишь отвлекающий маневр, знал, что Скрыпник в душе, наверно, посмеивается над ним, но удержаться не мог.

— «В музее»! — Он пренебрежительно взмахнул рукой со связкой ключей, и они издали гордый и печальный звук.— «В музее»... Да он у меня ни разу в ремонте не был, Ваня. Так-то, уметь надо вещью пользоваться.

— Это верно, дядя Михеич, я вот тоже вещь одну сделал,— Скрипник показал рукой на прибор, перед которым сидел,— а толком пользоваться еще не научился.

— А что это у тебя?

— Да как вам объяснить...

— А ты объясни, не бойся.

— Объяснил бы, да сам толком до конца не понимаю, поэтому и сижу пока по вечерам бирюком. Видите ли, дядя Михеич, вы думаете время — это прямая линия?

— Прямая? Скорей вопросительный знак. Поживешь с мое, вот и согнешься от времени в вопросительный знак. Только вопросу в нем никакого — одна точка. Ясно?

— Гм... Ясно-то оно ясно, да не очень. Если говорить не о наших с вами годах...

— А у нас с тобой годы разные. Мои тебе без надобности, а свои не отдашь.

— ...а о временно-пространственном континууме, то я глубоко уверен, что его нельзя выразить прямой. Нет, дядя Михеич, это скорее своеобразная фигура, несколько напоминающая восьмерку...

— А может, шестерку? На шестерке я на работу ездию.

— Ах, дядя Михеич, тут перед вами новое понимание сущности материи и времени излагается, а вы ерничаете.

— Но, но, после двадцати одного ноль-ноль, товарыш Скрипник, понимание времени в моих руках.

— Как хотите, но вот эта штуковина перед вами может создавать пробой во времени и пространстве. Вроде машины времени, перебрасывающей предметы из одного времени в другое. Да, да, один раз у меня это уже получилось. Исчезла ваза с конфетами, а вместо нее появился булыжник. Камень. По приблизительному анализу ему миллионов восемь лет, но к какому моменту отнести пробой, пятьсот лет назад или пятьсот тысяч,— не знаю. Камень-то мог лежать сколько угодно, пока пробой не перебросил его в сегодня, а вазу с конфетами на его место. Увы, пока еще я даже не могу гарантировать не только заданное время, но даже и место попадания в пространстве. Ваза-то исчезла в трех кварталах отсюда. И узнал я об этом случайно...

— Слушай, Ваня, а ты когда в отпуске был?

— А что, дядя Михеич?

— А то, что отдохнуть тебе нужно. Понимаешь? Пом-

ню, лет тридцать, нет, вру, тридцать пять назад один сосед мой — тогда еще большинство в коммунальных квартирах жило — три года без отпуска вкалывал, все боялся, как бы на его место во время отсутствия другого не посадили. Так все ничего, человек тихий, пил только всухую, пока все досуха не выпьет — не остановится. Так вот, говорю, три года без отпуска протрубил, а потом и говорит жене: давай, мол, разводиться и имущество делить. Сказал и диван пополам пилой пилить взялся. Увезли его. Не-ет, Ваня, человек без отпуску не должен, а то будет ему ваза с конфетами в трех кварталах отсюда. И еще, Ваня, нужно тебе жениться. Женатый человек булыжниками не швыряется и в чужое время не лезет, особенно после двадцати одного ноль-ноль.

Скрыпник рассмеялся и пожал вахтеру руку:

— В вашем лице, дядя Михеич, я приветствую здравый смысл, недостаток которого у ученых столько раз приводил к великим открытиям. Я, конечно, еще далеко не ученый, но здравый смысл не люблю. Скучно со здравым смыслом.

— А может, не ты его, а он тебя не любит? — вздохнул вахтер, и ключи в его руке сострадательно звякнули.— Долго-то еще пробивать время будешь? А то уже одиннадцать.

— Еще часок, дядя Михеич, вот еще раз попробую с пространственным фиксатором повозиться. Да вы не беспокойтесь,— добавил он, поймав озабоченный взгляд вахтера,— окно я закрою, свет погашу, а уж пробоев сегодня и подавно не будет. Накопитель энергии еще не подзарядился. К утру зарядится и сам отключится. Автоматика.

— Ну, ну... И все-таки в отпуск бы сходил. Слетал бы куда-нибудь подальше. На Алтай или куда в Замбию...

— Спасибо... обязательно.

## *Глава 2*

На заседании сектора Деревянного Коня присутствовало одиннадцать человек. Вел заседание заведующий сектором доктор исторических наук Леон Суренович Павсанян, человек немолодой, лысый, субтильного сложения, но обладавший неукротимым темпераментом и большой

радетель сектора. Сидя в своем постоянном креслице, один из подлокотников которого падал в среднем два с четвертью раза в час (наблюдения старшего научного сотрудника С. И. Флавникова), он то откидывался к спинке, отчего та испуганно поскрипывала, то наклонялся вперед, ложась узкой грудью на стол.

— А теперь,— сказал заведующий с легчайшим налетом сарказма,— послушаем, как обстоят дела у Мирона Ивановича с его плановой работой.

Мирон Иванович Геродюк, старший научный сотрудник сектора, человек крупный и молчаливый, был известен в Институте Истории Троянской Войны преимущественно походкой. Ходил он вальяжно, неспешно, и даже когда шел по ровному месту, казалось, что он торжественно спускается по мраморной лестнице. Глаза его были по большей части полузакрыты, словно от необыкновенной усталости, но зато когда он открывал их, то не сводил с собеседника, пока тот не начинал конфузиться и чувствовать себя в чем-то виновным.

— Полагаю, товарищи, что смогу сдать работу,— сказал Мирон Иванович, значительно оглядел присутствующих и после паузы торжественно добавил: — В срок. В статье мы излагаем нашу точку зрения о том, что никакого Деревянного Коня, как такового, при осаде Трои греками не было, а были баллистические стенобитные осадные машины, в просторечии называвшиеся конями...

— Позвольте, позвольте, Мирон Иванович! — тонко выкрикнул заведующий сектором и с размаху грохнулся грудью на стол.— Позвольте, это не наша точка зрения, а ваша. Ваше постоянное употребление первого лица множественного числа вместо первого лица единственного числа...

— Мы полагали,— твердо сказал Геродюк,— что множественное число — признак скромности, которая, как известно, характерна для подавляющего большинства, я подчеркиваю, подавляющего, наших ученых.

— Николай Второй тоже говорил о себе «мы»,— пискнула аспирантка Маша Тиберман и, испугавшись своей смелости, втянула голову в плечи, отчего стала похожа на горбатенькую.

— Я приветствую вашу скромность,— выдохнул из себя Павсанян и, набирая со свистом воздух в легкие, прошипел,— но попросил бы вас не подпирать вашу в

высшей степени сомнительную концепцию местоименными подпорками. Не мы, товарищ Геродюк, а вы ведете подкоп и под Деревянного Коня, и под сектор!!! Да, это так, и я рад, что сказал это! Человек, ставящий под сомнение само существование Коня, тем самым ставит себя вне серьезной науки!

В наступившей тишине раздался стук упавшего подлокотника, и старший научный сотрудник Флавников торопливо сделал отметку в блокноте. Остальные не шевелились, дабы каким-нибудь неосторожным движением не выказать своего отношения к спору.

— В таком случае я полагаю,— медленно сказал Геродюк,— что научная общественность...

— Ай! — вдруг послышался истеричный крик аспирантки Тиберман.— Смотрите!

Члены сектора подняли головы, опущенные несколько минут назад для подчеркивания своего нейтралитета, и увидели высокого чернобородого мужчину

в грязноватом белом одеянии, растерянно стоявшего за пустым стулом. От бородатого как-то не по-городскому пахло кожей, по́том, дымом, овечьим сыром. Он обвел присутствующих взглядом и вдруг закрыл лицо руками. Его плечи дернулись в спазмах рыданий. Из-под смуглых грязных пальцев капнула одна слеза, другая...

— Он плачет! — крикнула аспирантка Тиберман в волнении, но поймала взгляд Геродюка и осеклась.

— Что вам угодно, товарищ? — запальчиво спросил бородатого Павсанян.— И что это за странный маскарад?

Незнакомец несколько раз всхлипнул, шумно, как корова, вздохнул, вытер тыльной стороной кисти слезы. Вид у него был отрешенный и покорный, как у человека, который смирился с неизбежным.

— Товарищ, я вас вторично спрашиваю, что все это значит? — раздраженно спросил заведующий сектором и краем глаза заметил, что Геродюк зачем-то достал из кармана блокнот.

Бородатый что-то тихо пробормотал, неловко сел на стул и снова закрыл глаза, как пассажир в зале ожидания.

— Может быть, он не понимает?—спросила аспирантка Тиберман.— Мне кажется, он иностранец.

— Вам кажется, товарищ Тиберман, или вы это знаете? — спросил Геродюк голосом, в котором вдруг звякнула прокурорская медь.

— Послушайте, товарищ,—петушком наскочил на сонного бородача Павсанян,— здесь идет заседание сектора и присутствие посторонних лиц вряд ли...

Что «вряд ли», заведующий сектором не знал, и к тому же человек в белом одеянии не выказывал ни малейшего интереса к окружающему. Он сидел, безразлично закрыв глаза, теперь уже похожий на участника скучного собрания.

— Гм... может быть, вы и правы, Маша,—кивнул Павсанян аспирантке.— Попробуйте-ка спросить его что-нибудь на английском или, скажем, на французском, хотя...

Тиберман как-то необыкновенно покраснела, пятнами, наморщила лоб, с минуту беззвучно шевелила губами, потом вдруг сдавленно выкрикнула:

— Ду ю спик инглиш?

Возглас был настолько неожиданным, что все вздрогнули, а подлокотник креслица Павсаняна упал на пол.

Старший научный сотрудник Флавников тут же автоматически сделал пометку в блокноте.

Аспирантка снова пошамкала, сверкнула очами и уже не без лихости спросила:

— Парле ву франсэ?

Незнакомец приоткрыл глаза, умоляюще простер к членам сектора руки и вдруг начал что-то быстро говорить.

— Вам не показалось, что он произнес слово «Аид»? — растерянно спросил Павсанян.

— Безусловно,— кивнул головой старший научный сотрудник Флавников,— и Аид и Кербер.

— Да, да, и мне так послышалось! — возбужденно вскрикнула Тиберман.— И вообще язык какой-то знакомый... Аид, Кербер — это же... это же подземное царство древних греков и трехголовый пес, охраняющий в него вход.

— Что вы хотите этим сказать, Тиберман? — нахмурился Геродюк.

— Я... я — ничего. Это он хочет что-то сказать... и подревнегречески...

— Да, совершенно верно.— Павсанян оперся руками о край стола, откинулся на спинку кресла, с размаху рухнул грудью на стол и оглядел всех исподлобья.— Это древнегреческий. Это древнегреческий, и все это... все это... товарищи, я не знаю, что и подумать... Мы, конечно, все знаем язык, это ведь наша специальность... Но может быть, с ним поговорит Тиберман? Она ведь, собственно говоря, некоторым образом уже беседовала с ним.

В наступившей тишине послышался многоустый вздох облегчения. Древнегреческий, разумеется, знали все, но...

— Леон Суренович,— жалобно сказала Тиберман и снова пошла пятнами,— но я...

— Вы аспирантка,— твердо молвил заведующий сектором.

Тиберман, казалось, вот-вот заплачет, но затем взяла себя в руки и жертвенно пробормотала по-древнегречески, обращаясь к бородатому:

— «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Ой, что это я! — крикнула она по-русски.— Это же «Илиада».— Она испуганно зажала себе рот ладошкой. Члены сектора смотрели на нее со слегка отчужденной брезгливостью, с какой смотрят на осужденных или тяжелоболь-

ных. Тиберман наморщила лобик и глухо сказала: — Кто ты, о старец?

Бородатый открыл глаза — отрешенности в них уже не было — посмотрел на аспирантку, несмело улыбнулся и сказал:

— Я Абнеос, шорник из Трои. Ты легко найдешь мою мастерскую. Она у самых Скейских ворот. Где Харон?

— Харон? Простите, у нас такой не работает.

— А кто же перевозит?

— Перевозит? — изумилась аспирантка.— Мы никуда не переезжаем. Новое здание института еще и не начинали строить.

— А как же души умерших? — в свою очередь удивился бородатый.— Что же, самим плыть? А я и плавать-то не умею. Мало того, что умер, так еще и потонуть в реке подземного царства прикажете?

— Товарищи! — с ужасом крикнула аспирантка.— Он принимает нас за души умерших, а сектор за подземное царство!

— Гм...— тонко усмехнулся старший научный сотрудник Флавников.— Гипотеза мало привлекательная, но, с другой стороны, понятная.

— Оставьте свою иронию на внеслужебное время, Сергей Иосифович,— обиделся Павсанян.— У нас сектор, а не театр эстрады.

— Надо позвонить в милицию,— твердо сказал Геродюк.— Человек убежал из психиатрической клиники, а мы сидим и оказываемся не на уровне.

— Это было бы верно,— сказал Флавников,— если не одно маленькое обстоятельство. Дело в том, что я, как вы можете заметить, сижу спиной к двери, практически загородив ее. Ни один человек не мог бы войти в комнату без того, чтобы я встал и отодвинул стул. И еще одна деталька, которую мы сразу и не приметили: где Куроедов?

Члены сектора обвели взглядом друг друга, стены, пол, потолок, а Геродюк зачем-то начал один за другим выдвигать и задвигать ящики стола, за которым сидел.

— Позвольте, товарищи,— неуверенно спросил Павсанян и с силой погладил себя ладонью по макушке, отчего на голове проявилась тщательно замаскированная лысина.— Позвольте, но это же невозможно. Я отлично помню, что Александр Васильевич сидел именно на том

стуле, на котором сейчас сидит... э... товарищ... господин... скажем, гражданин Абнеос из Трои. Или мы имеем дело со случаем массового гипноза, или...

— Что — или, Леон Суренович? — медленно спросил Геродюк.

— Или Александр Васильевич исчез из комнаты сектора, не проходя через дверь, а э... шорник Абнеос вошел, не входя.

— И вы как доктор наук и заведующий сектором полагаете, что это возможно? Что человек может появиться в комнате ниоткуда и исчезнуть никуда? Это же мистика, и мы с такой точкой зрения согласиться не можем.

— «Мы, вы, они»! — передразнил Геродюка Павсанян.— А вы, милейший Мирон Иванович, как вы интерпретируете создавшуюся ситуацию?

— Никак! — твердо сказал Геродюк и пристально взглянул в глаза заведующего сектором.

— Что значит — никак?

— А вот так, никак.

— Но вы признаете, что из комнаты совершенно невероятным способом исчез младший научный сотрудник Александр Васильевич Куроедов, а вместо него столь же необъяснимо появился э... человек, говорящий по-древнегречески и называющий себя Абнеосом из Трои?

— Нет, не признаю, Леон Суренович.

— Почему же?

— Потому что этого не может быть.

— Но перед вами сидит бородатый незнакомец? Да или нет?

— Нет, не сидит. И попрошу вас, Леон Суренович, не сталкивать нас в болото голой эмпирической мистики и поповщины.

— Леон Суренович,— пробормотала аспирантка Тиберман,— Абнеос говорит, что не понимает, как могут ссориться души умерших.

— Вполне логично с его точки зрения,— мягко сказал Флавников.— Давайте оставим споры и позвоним в милицию и директору института.

— Дело ваше, Сергей Иосифович,— Геродюк пожал плечами,— но мы лично звонить не будем. Мы покрывать чертовщину не собираемся. Для этого у нас в секторе есть другие, готовые беспринципно верить своим глазам. Нет, мы берклианство покрывать не будем.

— И ие покрывайте, Мирон Иваиович! — крикнул Павсаиян.— От человека, который считает, что Деревянного Коия ие было, я могу ожидать всего.

Флавииков тем временем подтяиул к себе телефои и позвонил сиачала в милицию, а затем директору ииститута.

— Я думаю,— сказал он членам сектора,— что иам лучше оставаться иа своих местах. В прямом, конечно, смысле. В переносном — это уже прерогатива дирекции.

Павсаияи резко откииулся иа спинку кресла, а Геродюк томио полуприкрыл веки и слегка пожал плечами.

Абиеос, узиавший от аспираитки, что до царства теией ему еще далеко, был возбуждеи и все время ерзал иа стуле, обстреливая аспираитку вопросами.

— Почему они ссорятся? — Он кивнул в сторону заведующего сектором и старшего научного сотрудника.

— Одии из иих считает, что тебя нет.

— Как это иет? Я есть. Меия зовут Абнеос, и я иикогда ие драл за хомуты втридорога, как Паиф, или ставил гиилую кожу, как эта скупая жаба Рипей.

— И все-таки одии из иих говорит, что тебя иет. Ои очень ученый человек. Старший научиый... Ну, в общем, мудрец.

— Мистик — вот кто он. В хорошенькое место я попал, если люди здесь ие верят своим глазам! — Бородатый даже вспотел от возмущеиия и вытер лоб краем одежды.

Послышался стук в дверь, и Флавииков отодвииул стул. В комнату важно, словно океанский лайиер, вплыл директор, а за ним в фарватере вспомогательное судио — молоденький капитаи милиции.

— Нуте-с, что у вас тут происходит, Леои Суренович? — иеодобрительно спросил директор. Ои был высочеииого роста, и слова его падали сверху вниз.— Впрочем, позвольте мне вначале представить вам капитаиа Зырянова.

Капитаи, с любопытством оглядывая присутствующих, наклоиил голову.

— Так в чем же дело? — переспросил директор. Ои был величествен, стар, сед, приятио округл и, несмотря на жизнь, проведениую в изучении Трояиской войны, ие любил ссор, склок, неприятиостей и всего, что мешало ежедиевиому погружению в глубииу веков.

— Видите ли, Модест Модестович, у нас случилась совершенно загадочная история. Во время заседания сектора вдруг необъяснимо исчез младший научный сотрудник Куроедов, а вместо него столь же необъяснимо появился вот этот... э... гражданин в белом хитоне. Он говорит по-древнегречески и уверяет, что он некий Абнеос, шорник из Трои.

Директор даже не удивился. За пятьдесят два года изучения Трои она стала более реальна, чем многие окружавшие его вещи. И хотя мозг его зарегистрировал чудовищность сообщения, он принял его сразу и без сомнений. Это было слишком хорошо, чтобы быть неправдой.

— Шорник из Трои? — Глаза директора молодо блеснули.— Что же вы сразу не сказали? Вы в этом уверены, Леон Суренович? Если это так — какой материал, какая сенсация!

— Я уже ни в чем не уверен, Модест Модестович. Тем более, что некоторые товарищи, вообще ставящие под сомнение правомерность существования нашего сектора, обвиняют меня в мистицизме и поповщине.

— Защитим, коллега, защитим, прикроем вас, так сказать, грудью. Дайте мне только живого троянца, и я переверну научный мир.

— Модест Модестович,— глухо сказал Геродюк, и голос его дрогнул.— Вы же прекрасно знаете, что последний живой троянец умер три тысячи лет назад. Стало быть...— Он чувствовал себя гордым и одиноким защитником крепости, и в жертвенности была какая-то горькая сладость.

— Не знаю, не знаю, товарищ Геродюк.— Это все пустяки.

— Три тысячи лет — пустяки?

«Пустяки»! Какие легкомысленные формулировки! — подумал Геродюк.— Какое неуважительное отношение к фактам. Прыгают как телята, разволновались из-за какого-то живого троянца, если он даже и существует, что, впрочем, совершенно невозможно. Да даже если и возможно, что такого случилось? И директор хорош — вместо того чтобы пресечь, еще и поощряет... Подумаешь — троянец! А принципы? Нет уж, извольте!»

— Не знаю, не знаю,— говорил тем временем директор.— Как, что и почему — это не по нашей части. Это по части капитана Зырянова.

Капитан снова коротко поклонился. С этими учеными историками нужно работать поаккуратнее, а то разом начнут майором Прониным звать. Он почувствовал легкий озноб волнения, который испытывал, выходя на сцену самодеятельного театра, в котором, по странной прихоти режиссера, всегда играл стариков, несколько раз глубоко вздохнул и сказал:

— Могу ли я попросить товарищей сесть так, как они сидели во время происшествия?

— Мы не вставали, товарищ капитан,— сказал Флавников.— Я лишь отодвинул стул, чтобы впустить Модеста Модестовича и вас. До этого я с места не вставал, и пройти или выйти из комнаты можно было лишь у меня между ногами и через замочную скважину.

Капитан понимающе улыбнулся — что-что, а чувство юмора у него, слава богу, есть,— посмотрел на ноги Флавникова в коричневых замшевых туфлях на каучуке, словно оценивая, может ли незаметно проползти между ними среднего роста мужчина, кивнул и направился к окну. Окно было закрыто. Капитан склонился над подоконником, провел по нему пальцем, оставляя едва заметную дорожку в пыли, покачал головой и сказал:

— Похоже, что окно во время заседания не открывалось?

— Нет,— сказал Павсанян.

— В таком случае я должен задать несколько вопросов... гражданину Абнеосу. Правильно я произнес?

— Правильно,— ответила Тиберман, чувствовавшая уже некоторую ответственность за троянца. Если бы не этот запах овечьего сыра... И хитон нужно бы выстирать...

— По-русски он говорит?

— Нет, только по-древнегречески. Но я переведу...

— Спасибо. Имя?

— Абнеос,— перевела вопрос и ответ аспирантка.

— Семейное положение?

— Женат.

— Возраст?

— Что-нибудь около трех тысяч тридцати или сорока.

«Спокойно,— сказал себе капитан.—Система Брехта— посмотреть на себя со стороны». Так. Капитан понимает шутку. Улыбка главным образом в глазах. Просто засмеяться было бы преувеличением, сценической неправдой.

— Видите ли, капитан, Абнеос говорит, что ему тридцать пять лет да плюс еще три тысячи лет со времени осады и падения Трои, описанных Гомером и Вергилием.

— Понятно. Цель прибытия в Москву?

— Он не прибыл, он очутился. И притом без цели.

— Какие были отношения у Абнеоса с женой?

— Средние.— Маша Тиберман почему-то произнесла это слово с видимым удовольствием.

— Ага...

Почему капитан сказал «ага», он не знал, равно как не знал, что сказать еще. Опыт у него, конечно, был не очень большой, но вряд ли и сам полковник Полупанов знал бы, что делать дальше. Ни разу ни на лекциях, ни в учебниках ему не приходилось сталкиваться с прохождением сквозь стены и с людьми трехтысячелетнего возраста...

## *Глава 3*

«Батюшки светы,— испуганно подумал Куроедов, сообразив, что задремал.— Хорошо я, должно быть, выгляжу. Сижу на секторе с закрытыми глазами и дрыхну. Прикрою-ка я на секунду лицо руками, будто устал».

Он открыл глаза и вместо привычной комнаты сектора с портретом археолога Шлимана в шубе с бобровым воротником увидел маленькую сумрачную каморку, на глинобитных стенах которой висели какие-то кожаные изделия, похожие не то на упряжь, не то на орудия пыток. Не будучи знаком ни с тем, ни с другим видом кожгалантереи, он с интересом разглядывал их.

«Ничего себе расхрапелся, это уже какой-то трехслойный сон во сне. Сначала снилось, что я заснул на секторе, потом — что я проснулся в этой хибарке и — самое главное—что я вовсе не сплю. Но вообще-то немножко странно — трехслойный сон это или пятисерийный с продолжением,— только что я действительно сидел на секторе и разглядывал выщипанные брови Машки Тиберман. Ну ладно, не хватало мне еще галлюцинаций. Через три месяца защищаться, а я сижу на секторе и дрыхну. Представляю, что скажет Флавников. Наш Александр Васильевич разрабатывает, очевидно, новые формы гипнопедии.

Не только обучение во сне, но и участие в заседании сектора в состоянии здорового, глубокого сна.

Ну ладно, пора кончать с этим цветным широкоэкранным сном и просыпаться. Хватит».

Куроедов несколько раз энергично согнул и разогнул руки. Мышечное ощущение было обычным, под кожей послушно прокатились бицепсы гимнаста-второразрядника. Ущипнул правой рукой левую ладонь. Почувствовал некоторую боль. Почесал нос. И нос и мозг отметили почесывание.

Глинобитная стена со странными предметами не исчезала. Мало того, сон все углублялся. Теперь он уже был звуковым и издавал довольно сильные запахи. Сквозь небольшое оконце в верхней части стены доносился гомон людских голосов, мычание коров, блеяние овец, металлическое позвякивание. Резко пахло луком, навозом, мочой.

Где-то в самой глубине сознания Куроедова вдруг родилась уверенность, что он не спит. Уверенность эта все крепла и, словно пузырек воздуха, поднималась на поверхность, пока окончательно не овладела им. Мозг, не в состоянии объяснить происходящее, казалось, перешел на малые обороты.

Куроедов сильно прикусил кончик языка в последней попытке проснуться — а вдруг! — но уже твердо знал, что не проснется, потому что он не спал, а бодрствовал. Самое удивительное было то, что он даже особенно не удивлялся. Происшедшее просто не укладывалось в рамки удивления. Чтобы удивиться чему-нибудь, надо прежде всего допускать возможность этого. Например, если бы Машка Тиберман вдруг замяукала на заседании, он был бы поражен. Поражен именно потому, что от этой дурехи можно ожидать всего. Но если замяукал бы Геродюк, он не удивился бы, потому что Геродюк замяукать просто не мог. Так и сейчас. Он не мог быть в этой комнате, просто не мог, а раз не мог, стало быть, нечего и ломать голову над тем, что не может быть.

Мысли были какие-то успокоительные, и хотя он был по-прежнему возбужден, почувствовал, что в состоянии двигаться.

Он оглянулся. увидел незапертую дверь и, стараясь унять колотившееся сердце, шагнул сквозь нее и вышел на улицу.

Улица с размаху ударила сразу по всем органам чувств: ярчайшее солнце плавило стены невысоких домов. Тени были столь густы, что казались провалами, бездонными ямами. По улице брели люди в коротких светлых накидках, хитонах, туниках. Ослик, увешанный по обоим бокам своего тщедушного тельца связками глиняных сосудов, сосредоточенно мочился посреди мостовой, не обращая внимания на юного погонщика, который лупил его ладонью по крупу. От ослика поднималась пыль, как от старого коврика. Крики, крики восточного базара доносились отовсюду. Казалось, что торговали везде, даже над Куроедовым и под ним.

С минуту Александр Васильевич стоял в оцепенении. Ему снова стало страшно. Он знал, что не спал и что люди на улице носили одежду Древней Эллады и язык, на котором они говорили, был языком Эллады. Он слишком много лет штудировал классиков, чтобы спутать его. Но если он не спит и картина перед ним не плод его болезненной фантазии, то тогда... Ответа не было, ибо рациональный ум скорее выключится, как перегруженный мотор, чем признает какую-нибудь иррациональность. А младший научный сотрудник сектора Деревянного Коня Института Истории Троянской Войны Александр Васильевич Куроедов, стоявший живьем на улице древнегреческого города,— куда уж иррациональнее!

И вдруг словно что-то щелкнуло в нем, словно вышел из строя какой-то предохранитель, и Куроедов почувствовал волнительное изумление, острейшее любопытство и холодящую спину отчаянность. Эх, рационально, иррационально, спит, не спит, разбираться будем потом, уважаемые товарищи и друзья!

Он хлопнул себя ладонями по груди, засмеялся, глубоко вздохнул и пошел вниз по улице, ловя на себе недоуменные взгляды толпы. «Пиджак с двумя разрезами и пестренький галстук — это, конечно, не лучший туалет для Древней Греции. Ну да ладно...— подумал Куроедов.— Хорошо бы определить, где я и когда я. Похоже, что до нашей эры. Так что по меньшей мере мне две тысячи лет... Гм... Более, чем достаточно для пенсии».

Перед ним были ворота в крепостной стене, запертые на толстый деревянный засов. У ворот дремали два стражника, сидя в тени и положив подле себя длинные копья с медными наконечниками.

Куроедов оглянулся. В центре города, на холме горел на солнце дворец с круто поднимавшимися вверх толстыми стенами и небольшими оконцами.

«В сущности,— подумал Куроедов,— если бы оказалось, что дворец этот Пергам царя Приама, а я нахожусь в Трое, было бы вполне логично. Сегодня я бы не удивился. Сейчас. Сейчас все возможно. Как назывались главные ворота Трои? Ну, ну, Александр Васильевич, стыдно... Конечно, Скейские. А ну возьму-ка я и спрошу».

Он почувствовал, как мгновенно взмокла у него спина. То ли допекла малоазийская жара, то ли дух захватило от волнения.

— Эй, мальчик,— позвал он по-древнегречески полуголого черноволосого озорника, державшего на руках серую тощую кошку,— скажи мне, что это за ворота?

От испуга мальчуган уронил кошку, и та в два прыжка исчезла из виду. Он смотрел на Куроедова широко раскрытыми глазами. Испуг в них медленно сменялся удивлением и любопытством. Мальчик бесцеремонно разглядывал его. Больше всего его, очевидно, заинтересовали брюки Куроедова.

— Так как же называются эти ворота?

Мальчик ухмыльнулся:

— Да Скейские же... Как ты забавно говоришь... И не знаешь ворот.

На мгновение Куроедову показалось, что в голове у него взорвалась петарда. Троя! Священная Троя на холме Гиссарлык! Троя, живая Троя, пахнущая навозом, Троя Приама и Гектора, Елены и Париса... И он, Сашка Куроедов, 1947 года рождения, проживающий по адресу: Москва, А-252, улица Георгиу-Дежа, дом 3, квартира 34,— он, Сашка Куроедов, стоит у Скейских ворот и разговаривает с живым маленьким троянцем с царапиной на голой смуглой ручонке — должно быть, след кошачьих коготков.

Черт с тем, что это невозможно, черт побери все объяснения! Это все потом, а сейчас — представить только! — можно пройтись по Трое или даже выйти за ворота... Хотя судя по тому, что они заперты и охраняются двумя храпящими стражами, город, наверное, осажден... Троянская война. Значит, там, за воротами, лагерь греков. Там где-то шатер Ахиллеса, Агамемнона, Менелая... Куроедов улыбнулся: «Позвольте представиться: млад-

ший научный сотрудник Александр Куроедов».— «Очень приятно, царь Менелай». Ах, черт подери! Здорово.

Мальчуган все еще смотрел на Куроедова и даже нерешительно подошел к нему, отступил на шаг и снова подошел, как щенок, перед незнакомой, но соблазнительной игрушкой.

— Что это у тебя? — спросил он наконец у Куроедова, показывая на часы.

— Это? Это... как тебе объяснить... Эта штучка показывает время.

— Время...— Мальчуган снисходительно усмехнулся: глупы эти чужестранцы. Простых вещей не знают.— Время узнают по солнцу, а как может солнце сидеть в такой маленькой штучке? Ты не смеешься надо мной? — спросил он.— Я уже большой. Мне восемь лет. А ты ведь чужестранец? Правда? Я такой одежды в глаза не видел. Как ты в ней ходишь...

— Да,— вздохнул Куроедов.— Это точно — чужестранец. А как хожу — не знаю сам. Скажи мне, мальчуган, а где твой отец? Я хотел бы познакомиться с ним.

Мальчик опустил голову и проглотил слюну. Голос его дрогнул:

— Его убили в бою. В том году. Он был добрый. Он подбрасывал меня высоко в воздух, выше домов, до самого неба. Он был сильный... Сильней всех, не веришь?

Отец у Куроедова умер рано, когда ему не было и пяти. Он его почти не помнил. Помнил почему-то только большие руки и себя, маленького, в них. Больше ничего. Но с годами он воссоздавал для себя портрет отца. Воссоздавал сам, не спрашивая никого, даже матери. Воссоздавал, потому что чувствовал в нем потребность. Нужен был ему отец, и все тут.

И этот мальчуган перед ним уже начал воссоздавать. Или создавать? Добрый и самый сильный. У всех были самые сильные отцы, особенно когда их не было. Есть, оказывается, преимущество и в сиротстве.

Куроедов вдруг почувствовал прилив какой-то братской жалости к грязному мальчугану. Смотрит-то он на него как! А наверное, и действительно был у него отец. Подбрасывал малыша к троянскому небу. Погиб в бою. Плакал ли мальчуган по нему? Погиб в бою. Война, настоящая война. Если умирает чей-то отец — это уже настоящая война. Троянская война! В ней, оказы-

вается, участвовали не только бессмертные боги и герои, умевшие умирать красиво и поэтично. Были и другие, умиравшие тяжело и страшно, с хриплыми стонами и свистящим слабеющим дыханием, царапая сухую землю долины Скамандра ногтями или пытаясь засунуть в живот вываливающиеся внутренности, думая об оставляемых ими таких вот мальчуганах и девчонках, которых уже никто не будет подбрасывать в воздух, к самому небу... Война, кровь, усталость, пот, смерть. И мальчуган с царапиной, у которого был самый добрый и сильный отец. С большими руками.

— Пойдем со мной, мальчуган, покажи мне город.

— Я пошел бы с тобой, но солнце уже низко, пора домой помогать матери, а то она будет ругаться.— Мальчик махнул рукой Куроедову, повернулся и побежал куда-то, нырнув в лабиринт лачуг.

Куроедов проводил его взглядом и пошел обратно вверх по улочке, ища глазами тень.

— Эй, ты! — послышался грубый окрик откуда-то из переулка, пересекавшего улицу. Из-за угла вышли два дюжих молодца. По краям их накидок шли черные полосы. На головах у них были кожаные шишастые шлемы с конскими хвостами, а на поясах висели короткие кинжалы.

— Это вы мне? — спросил Куроедов, останавливаясь.

— Нет, себе! — расхохотался один из стражников.— Ишь ты. «Это вы мне»! — передразнил он Куроедова.— Ты кто такой?

— Чужестранец,— ответил Куроедов.

— Это мы и сами видим. Откуда?

— Как вам объяснить...

— Можешь не объяснять. Сразу видно, что ты ахейский лазутчик. Переодели тебя в эту странную одежду, чтобы сбить нас с толку...

— Позвольте, но где же здесь логика? — горячо начал Куроедов.— Если бы я был лазутчиком греков, я бы, наоборот, оделся так же, как и все остальные, чтобы не привлекать внимания...

— А вот сейчас я привлеку твое внимание! — угрожающе сказал стражник повыше.

От него несло пóтом, луком и кислым вином. Лицо у него было угреватое и жестокое. Он неожиданно поднял руку и изо всей силы ударил Куроедова по лицу. В по-

следнюю секунду тот успел отдернуть голову в сторону, и удар прошелся лишь по касательной, но все равно на мгновение ошеломил его.

«Сволочи,— мелькнуло у него в голове,— псы пьяные... Что я им сделал?»

— Пойдем,—тявкнул стражник поменьше.—Приамова стража не любит, когда на нее так смотрят по-волчьи, как ты.

— Куда? Зачем? — спросил Куроедов.

Сердце его трепыхалось от оскорбления. За что? Почему? По какому праву? Подумав о праве, он невольно внутренне усмехнулся и разом успокоился. В конце концов в каждой стране могут быть свои понятия о гостеприимстве и подавно о праве. Может быть, зуботычины и есть здесь знак гостеприимства и печать права.

При других обстоятельствах он бы, наверно, не удержался и ввязался в безнадежную драку, потому что не любил, когда его били. Но сама фантастичность ситуации притупила остроту оскорбления и боль в щеке, сделав и их фантастичной, нереальной. Во сне, правда, можно и треснуть кого-нибудь по морде, но во сне наяву...

— Куда, ты спрашиваешь? Сейчас мы приведем тебя к самому Ольвиду. Он знает, как беседовать с такими, как ты. Ну, живее шевелись, греческая падаль...

* * *

— Приготовьте молодого человека для тихой беседы со старым Ольвидом,— ласково сказал старик с огромной розовой лысиной, потирая руки. Он сидел на длинной скамейке в небольшой прохладной комнате с каменными стенами. На нем был желтый хитон с двойной черной каймой по краям.

Стражники, сопя, просунули руки Куроедова в две кожаные петли, закрепленные в стене, и накинули такие же петли на ноги.

Ольвид с кряхтением встал, упираясь руками в колени:

— Ой, боги, боги, за что они насылают на человека старость? И здесь болит, и там скрипит, и здесь тянет, и там ломит... Ох-ха-ха... жизнь... А у тебя приятное лицо, мальчик, на твоем лице отдыхают глаза.— Ольвид подошел к Куроедову, медленно покачал головой, как бы же-

лая получше рассмотреть его.— И одежда у тебя интересная, не наша. Уж не какая-нибудь богиня соткала тебе эту ткань? А? Нет? Ну, прости старичка за болтливость... И вещички у тебя в карманах презабавные, и не поймешь, что для чего. Ох-ха-ха... Одной Афине многомудрой под силу разгадать, что к чему. Значит, мальчик мой, ты говоришь, что чужестранец и вовсе не имеешь никакого отношения к ахейцам, осадившим священную Трою?

— Совершенно верно,— торопливо сказал Куроедов, расслабляя мышцы, которые он было напряг, ожидая удара.

— Так, прекрасно,—пробормотал Ольвид и вдруг плюнул Куроедову в лицо. Густая липкая слюна попала в глаза, и тот дернулся вперед, но кожаные петли крепко держали руки.

— Сволочи! — крикнул он.— Что я вам сделал? Палачи вы проклятые! Неужели вы не понимаете, что, будь я шпионом, я бы не был одет в эту непривычную для вас одежду? Вы же вислоухие ослы, если принимаете меня за

ахейца! Подумайте лучше об осаде, недолго ведь осталось стоять вашей Трое... Я это знаю, я пришел из будущего и знаю, что вас ждет. «Не нужно, пожалуй, говорить это»,— пронеслось в голове у Куроедова, но бессильный гнев душил его и требовал выхода в злых, колючих словах.

— Так, так, так,— радостно и изумленно закивал Ольвид, потер ладони.— Ты знаешь будущее — прекрасно. Но смертные не должны знать будущее, ибо, зная его, они становятся как бы бессмертны. Да и как может существовать государство, граждане которого пытаются заглянуть в будущее? Как может править таким государством царь, если граждане то и дело будут ставить под сомнение мудрость его приказов? Всякое знание — враг порядка, и посему, если ты говоришь правду, хотя бы крупицу правды, или думаешь, что говоришь правду,— ты сгниешь в моем прохладном подземелье. Ты будешь висеть на ремнях и думать о будущем. Ты будешь есть его и пить, смазывать им свои раны от проедающих мясо ремней. А потом ты умрешь, и будущее будет надежно спрятано в горстке праха.

— Ты лжешь! — крикнул Куроедов.

Но Ольвид с неожиданной для его возраста силой ударил его по губам.

— Молчи, мой милый юноша,— мягко сказал он и томно вздохнул,— ох-ха-ха... Я не люблю, когда во время допроса мне отвечают. Я больше люблю слушать самого себя, а не жалкие слова лжи. Да и что это за допрос, если каждый заключенный вздумает говорить что захочет? Это будет комедия, а не допрос... Когда я тебя о чем-нибудь спрашиваю, я и не ожидаю ответа. Зачем он мне? Я ведь все знаю заранее. И не щерь, пожалуйста, зубы, юноша. Я тебя бью для твоей же пользы, чтобы ты хорошо знал настоящее и забыл бы будущее. Ну, ну, не крути головой, а то старичку и ударить тебя трудно. Вот так...

## *Глава 4*

В трубке простуженно захрипело, забулькало, и полковник Полупанов со вздохом достал из письменного стола разогнутую шпильку для волос, прочистил мундштук и чиркнул спичкой.

— Ну так что, капитан? — спросил он Зырянова, молчаливо уставившегося на стеклянный шкаф со спортивными трофеями отделения.—Так и напишем, происшествие расследованию не подлежит в связи с сверхъестественным характером? Так? Вы только на минуту представьте, как отнесутся к нашему рапорту в отделе. Да они его под стекло в рамку вставят... Нет, дорогой мой капитан, если нам поручено расследовать что-нибудь, мы должны быть готовы иметь дело с кем угодно, даже с духами, привидениями, лешими, водяными, гномами, эльфами, оборотнями, упырями, вампирами и прочей публикой этого рода.

Полковник любил в разговоре с подчиненными блеснуть эрудицией, знал за собой этот грешок, но ничего поделать с собой не мог. Да и нужно же в конце концов человеку иметь хоть какие-нибудь слабости...

— Вы мне дайте хоть одного гнома, я уж с ним побеседую,— угрюмо пробормотал капитан Зырянов.— Ну ничего, понимаете, ничего. Один растворился в воздухе, причем растворился без осадка, как кофе, другой возник из ничего, как кролик у иллюзиониста. Этого Абнеоса обследовало уже три комиссии академии, не говоря уже о сотрудниках ИИТВа. И все разводят руками. Шпарит подревнегречески — еле разбирать успевают; подробности всякие рассказывает о Гекторе — он ему щит, оказывается, реставрировал,— об Андромахе, ну, в общем, отвечает по «Илиаде» без бумажки. Комиссии за сердце хватаются. И признать невозможно, и не признать — тоже.

— Андромаха — это хорошо,— вздохнул полковник.— С Андромахой я бы поговорил, особенно когда она без Гектора... А Куроедова нужно найти. С Гомером или без — это уже детали. В конце концов у нас отделение милиции, а не филфак.

— А я разве против,— пожал плечами Зырянов.— Я перебрал все возможности, включая массовый психоз, гипноз, наркоз. Ну ничего, ни одной ниточки, ни одной зацепки, ничего. Голова уже гудит как большой турецкий барабан. Вчера у нас в клубе на репетиции «Егора Булычова» я вдруг начал шпарить из «Гамлета». Глаза на режиссера выпучил и думаю: а вдруг и он сейчас растворится в воздухе...

— М-да,— пожевал губами полковник и скорчил гримасу. Очевидно, горечь из трубки попала ему на язык.

Резко и неожиданно зазвонил телефон. Полковник раздраженно схватил трубку и буркнул:

— Полупаиов... Господи, вы же знаете, что я занят... Всякая ерунда... Просится, просится... Третий раз... Да хоть сотый...— Полковник в сердцах, с треском швырнул трубку на аппарат.— Ходят всякие типы... Дежурный говорит, что третий раз за два дня является. Спрашивает, не пропало ли что-нибудь в районе и не появилось... Постой, постой... Не появилось... не появилось...

Полковник вдруг уперся руками в подлокотники кресла и, не отодвигая его, выскочил из-за стола, открыл дверь кабинета и громовым голосом закричал:

— Дежурный!

Дежурный по отделению старший лейтенант Савчук взлетел вверх по лестнице, не касаясь ступенек.

— Товарищ полковник...

— Знаю, что полковник! Где этот тип?

— Отпустил, товарищ полковник.

— Догнать, вернуть, найти, немедленно.

— Есть, товарищ полковник, он из телеателье. Разрешите идти?

— И побыстрее.

Полковник сел на краешек стола, набил трубку и спросил капитана Зырянова:

— Все это бред, капитан, но когда человек приходит в милицию, да еще третий раз за два дня, и осведомляется, не появилось ли где что-нибудь лишнего,— это... не совсем обычно, а мы уже два дня занимаемся не совсем обычным делом. Да вот он и сам.

Иван Скрыпник — а это, разумеется, был именно он — поздоровался и, сообщив, кто он такой, сказал:

— Я, товарищ полковник, признаться, удивлен. Приходит рядовой труженик в милицию и вежливо спрашивает, не пропало ли где-нибудь что-нибудь и не появи-

лось ли что-нибудь взамен. И что же? Смотрят с сочувственной улыбочкой, говорят вежливо, открывают дверь, прощаются... Душевнобольные — так и написано у них на лице — требуют особой чуткости.

— Это точно,— сказал полковник.— Что значит, уважаемый рядовой труженик, ваше выражение «взамен»? Появилось взамен пропавшего.

— В прямом. Ну да ладно. Как говорил в свое время некий Раскольников в таких случаях, вяжите меня. Если вы просмотрите записи за десятое сентября, вы увидите там странное заявление одной гражданки нашего района о пропаже у нее из буфета вазы с конфетами...

— Это бывает.

— Ваза пропала из запертого буфета, а вместо нее появился камень. Причем детей у гражданочки нет, равно как и мужа, а есть кошка. Но кошка не умеет подбирать ключи и не смогла бы приволочь камень весом в два килограмма сто тридцать шесть граммов. Иначе гражданочка не получала бы пенсию, а работала со своим зверем в цирке.

— Вы на учете состоите, товарищ Скрыпник? — нахмурился полковник.

— Состою,— тяжко вздохнул бригадир настройщиков.— На военном, комсомольском, профсоюзном.

— И все?

— И все.

— Тогда откуда, допустим, вы знаете, что камень весил два килограмма сто тридцать шесть граммов?

— Я его взвесил.

— Гм... интересно. А откуда вы его взяли?

— Я же вам предлагал вязать меня. Украл.

— Ну вот наконец я слышу слова не мальчика, а мужа,— сказал полковник.— Откуда же?

— Из вашего отделения. Точнее, не совсем украл, а подменил. Вам-то все равно, а для меня этот камень ценнее золота.

— Послушайте, Скрыпник, раз вы не состоите на учете в психоневрологическом диспансере, вы, может быть, пробуете писать детективные повести. Вы чудно строите сюжет. Я, можно сказать, некоторым образом профессионал и то сижу как на иголках. Поздравляю вас. Так в чем же ценность камня?

— Сейчас я вам попытаюсь объяснить, но прежде

скажите мне, что пропало и что появилось в районе. Иначе меня бы не схватили за хлястик на тротуаре.

Полковник посмотрел на капитана, не спеша выковырнул из трубки пепел и сказал:

— Исчезло: младших научных сотрудников — один. Появилось: троянцев — один.

— Тр-рр-оян-цев? — заикаясь, переспросил бригадир настройщиков.— Один? — Он вдруг схватил полковника за плечи и трижды расцеловал его. Затем проделал ту же операцию с капитаном, уже давно потерявшим и дар речи, и способность удивляться и сидевшим с выражением, которое, наверное, бывает у человека, попавшего в водоворот.

Полковник несколько раз энергично потряс головой, не то отмахиваясь от чего-то, не то приводя в порядок мысли. Способность трезво оценивать самые неожиданные ситуации он выработал в себе давно, но теперь чувствовал, что грани между явью и вымыслом, возможным и невозможным, правдой и шуткой стали неприятно зыбкими, расплывчатыми и эта неопределенность была ему неприятна и утомительна, как работа без очков, которые он носил.

— Ну ладно,— сказал со счастливым вздохом Скрыпник,— ничего не поделаешь. Перед вами гений-самоучка, а может быть, и того хуже. В исчезновении младшего научного сотрудника и в появлении троянца виноват я. Понимаете, я понадеялся на автоматику, которая должна была выключить накопитель энергии, а вместо этого произошел пробой.

— Капитан,— торжественно сказал полковник,— передайте моей жене и детям, что Полупанов ложится на обследование.

— Не смогу, товарищ полковник,— сонно пробормотал капитан Зырянов,— у самого мысли путаются...

— Терпение, товарищи, —умоляюще попросил Скрыпник.— С кем бы я ни начинал говорить о своем изобретении — все улыбаются, хоть выступай на вечерах сатиры и юмора. Может изобретатель рассчитывать на терпеливое внимание хотя бы в милиции?

— Может,— вздохнул полковник и в третий раз за полчаса набил трубку «Золотым руном».

— Спасибо. Тогда слушайте...

* * *

— Значит, вы надеетесь, что сумеете осуществить обратный обмен? — спросил капитан Зырянов. Выберясь на твердую почву фактов, даже фантастических, он заметно повеселел, и из глаз его исчезло выражение беззащитности.

— Надеюсь.

— Вам нужна чья-нибудь помощь?

— Нет, потому что в этой штуковине не только никто пока еще не разбирается, но никто в нее не поверит в ближайшие пять лет.

— Но нас вы держите в курсе дела.

— Обязательно. К тому же, когда я смогу попытаться сделать обратный обмен, лучше поместить троянца на то же место, где он появился.

— Гм...— пробормотал полковник,— а Куроедова как вы поместите на то же место?

— Будем надеяться,— сказал бригадир настройщиков.— Конечно, может случиться, что вместо Куроедова мы получим в обмен другого троянца, но что поделаешь— первые шаги пространственно-временного обмена. Будем пытаться еще и еще раз.

— Боже, сколько же троянцев перебывает в нашем районе! — застонал полковник и обхватил руками голову.

## *Глава 5*

Когда Маша Тиберман поступила в аспирантуру, ее мать Екатерина Яковлевна раз и навсегда прониклась величайшим к ней почтением. В булочной номер семнадцать, где она работала продавщицей, весь коллектив точно знал, когда сдается философия и сколько сил уходит на освоение латинских глаголов. Одно время работники кондитерского отдела даже умели сказать: «Галлиа омниа ин партес трес дивиза эст», потом же забыли сообщение Цезаря о том, что вся Галлия была разделена на три части. Но интереса к античности не потеряли и даже дважды коллективно ходили смотреть «Приключения Одиссея» и «Фараон».

В этот день после звонка Маши из института с просьбой приготовить какую-нибудь закуску по случаю неожи-

данного и срочного сбора гостей, Екатерина Яковлевна отпросилась пораньше, быстренько закупила все необходимое, помчалась домой и принялась готовить винегрет и рубленую селедку, которые уже давно славились среди обширных Машиных знакомых.

Готовить было ей нисколько не тягостно, скорее наоборот, она даже получала удовольствие, мысленно представляя выражение немого восторга на лицах гостей с набитыми ртами и шумные потом поздравления по поводу ее, Екатерины Яковлевны, кулинарных необыкновенных способностей.

Да и сами вечеринки с их латинскими и греческими тостами, шутливыми стенгазетами, выпускаемыми специально для них, Машенькиными раскрасневшимися щечками были для нее приятны и даже умилительны. «Дай бог ей еще хорошего мужа, не обязательно старшего научного, пусть даже младшего...» — шептала она. Будущего Машенькиного мужа она представляла себе высоким, солидным и придирчиво требующим жестко накрахмаленных воротничков. Немножко она его даже побаивалась, очень уважала за безукоризненные манжеты и ученость и готова была на все, лишь бы Машенька была счастлива.

Есть ли у нее ухажеры, Екатерина Яковлевна у дочери спрашивать остерегалась, зная, что та может и рассердиться — нервы, наука... Зато уж на вечеринках, когда они устраивались в их доме, наставляла глаза перископами, стараясь угадать кто. Однажды она почему-то решила, что Машенька неравнодушна к маленькому полноватому инженеру Васе Быцко, и два дня у нее было смутно на душе. Не то чтобы он был плохим человеком, боже упаси... Но он был невысок, ходил не только что без крахмальных воротничков, а даже и вовсе без галстука и занимался какими-то непонятными машинами, а не родной Троей. Потом инженер исчез, и Екатерина Яковлевна снова мысленно принялась крахмалить Его воротнички.

Селедка была уже готова, оставался винегрет, когда послышался дверной звонок. «Ах, Маша, Маша, ученый человек, вечно забывает ключи»,— подумала Екатерина Яковлевна, вытерла руки о передник и пошла открывать дверь.

Маша ввела за руку высоченного дядечку с черной бо-

родой, в коротковатом коричневом костюме в клеточку. «Ну и мода пошла у нынешних!..» — изумилась Екатерина Яковлевна.

— Знакомься, мама, это Абнеос,— сказала Машенька.

— Очень приятно,— сладко улыбнулась Екатерина Яковлевна.— А по отчеству вас как?

Борода беспомощно посмотрел на Машеньку, и та поспешно объяснила:

— Мама, Абнеос по-русски не понимает.

— Он что же — иностранец?

— Некоторым образом да.

— А откуда?

— Абнеос из Трои.

— Он что же, в командировку или по научному обмену?

— Как тебе сказать...

Тут бородатый что-то сказал Машеньке, и Екатерина Яковлевна, опомнившись, затрепыхалась:

— Да что это я!.. Проходите, пожалуйста, стереовизор включите, я мигом управлюсь, а там и другие гости подойдут.

Она пошла на кухню в некотором смятении духа. С одной стороны, не дай бог увезет Машеньку куда-нибудь к черту на кулички, бывают ведь такие случаи; с другой — человек, видно, ученый и по-русски не понимает. Модник, с бородой.

Уж сколько раз ругала себя Екатерина Яковлевна за буйную, как у девчонки, фантазию, но ничего поделать с собой не могла. Вот и сейчас живо представила себе внуков, таких же чернявеньких, как этот. Врываются они к ней с визгом, криком, все вверх дном, а ей нипочем. Что же, убрать потом трудно? И чего Маша на них ругается, дети ведь, понимать надо, мальчики...

Один за другим начали сходиться гости: поэт-песенник Иван Гладиолус, написавший в свое время слова к знаменитым «Фиалкам»; внештатный журналист Михаил Волотовский, ездивший зачем-то туристом на все зарубежные спортивные состязания, в которых ни бельмеса не понимал; уже знакомый нам старший научный сотрудник Сергей Иосифович Флавников; немолодой, но подающий надежды художник-график, в белых носках и с челкой, Витя, по прозвищу Чукча; переводчица с румынского и аварского Доротея Шпалик, употреблявшая столь

длинные мундштуки для сигарет, что ее благоразумно обходили стороной.

Вхóдя в комнату, гости бросали быстрые оценивающие взгляды на стол, в центре которого под охраной двух бутылок «Столичной» стоял знаменитый винегрет. Затем они украдкой осматривали троянца. Большинство улыбалось: и стол и троянец были вполне на уровне.

— За стол! — скомандовала Машенька.

Раздался дружный грохот стульев, и гости быстро разоружили охрану винегрета, поплыла из рук в руки хлебница и кто-то крикнул:

— Сергей Иосифович, тост!

— Я сегодня не в ударе,— вяло трепыхнулся Флавников, зная, что тост все равно сказать придется.

— Просим, просим,— бубнил график Чукча, а Доротея Шпалик грозно направила на историка мундштук с дымящейся сигаретой.

— Сдаюсь,— сказал Сергей Иосифович, поднял глаза к потолку, словно искал на нем мыслей и вдохновения.— Друзья, сегодня у нас не совсем обычный вечер. Ведь за последние три тысячи лет вряд ли кому-нибудь приходилось сидеть за одним столом с живым троянцем, тем более с таким милым выходцем из другой эры, как наш Абнéос — этот ходячий источник тем для кандидатских и даже докторских диссертаций. А ведь Абнеос был в свое время,— Флавников тонко улыбнулся,— я говорю — в свое время, всего лишь шорником. Итак, выпьем за шорников, консультирующих докторов наук!

Машенька Тиберман тем временем уже окончательно вошла в роль переводчика и все время шептала что-то в ухо Абнеосу, отчего у того округлялись глаза и поднимались брови.

— Боже, скóлько необыкновенных вещей, должно быть, знает этот мужчина.— Доротея Шпалик вынула изо рта мундштук, выпила рюмку водки и снова затянулась сигаретой.

— О нем нужно будет написать песню,— крякнув после стопки, сказал поэт-песенник Иван Гладиолус и тихо стал напевать: — Полюбила я тро-ян-ца, а за что и не пой-му-у...

— Пусть говорит Абнеос,— решительно потребовал график Чукча.— Пусть расскажет про ахиллесову пяту.

— Боже, как это необыкновенно,— взвизгнула Доро-

тея Шпалик,— сидеть и смотреть на друга Гомера и слушать его рассказы.

— Доротея, дорогая,— пробормотал Флавников,— их отделяло по меньшей мере лет четыреста. С таким же успехом вас можно считать подругой Христофора Колумба.

— Ах, Сергей Иосифович, почему вы всегда любите говорить мне колкости?

— Потому что я с детства мечтал переводить с румынского и вы перебежали мне дорогу.

— Пусть Абнеос говорит, хватит трепаться,— снова потребовал график Чукча.— А то...

Что «то» — он не сказал, а отправил в рот такую порцию винегрета, что глаза у него округлились от изумления.

Над столом плавало облако дыма. Оно начиналось с мундштука Доротеи Шпалик, и казалось, что она надувает огромный голубоватый шарик. Стук ножей стал медленно утихать, зато говорили теперь гости все громче и громче.

— Вот вы говорите Троя,— скромно сказал внештатный журналист Волотовский,— а я недавно вернулся из Новой Зеландии с лыжного чемпионата и, представляете, купил в Веллингтоне японскую авторучку, которая может писать под водой. Это очень удобно.

— Под водой — это хорошо,— с тихой грустью вздохнул Флавников,— это даже очень удобно. Я, признаться, с детства чувствовал острую потребность писать под водой.

— «Вода, вода, кругом вода...» — пропел Иван Гладиолус.— Как здорово схвачено, классика. Тро́я, Тро́я, кругом Тро́я... Нет, ударение не то...

— Машенька, ты представляешь,— крикнула Доротея Шпалик,— вчера я видела на одной даме кирзовые сапоги!..

— Пусть говорит Абнеос,— тихо сказал график Чукча и вдруг почему-то заплакал.

—...В каракулевом манто и кирзовых сапогах. Представляешь? Как ты думаешь, это парижское или идет из Лондона?

— В Хельсинки во время турнира сильнейших собирателей шампиньонов — это, между прочим, изумительный спорт,— скромно рассказывал Волотовский,— я ку-

пил поразительные чилийские лезвия для бритья. У меня тут инструкция. Сергей Иосифович, не могли бы вы перевести, а то они что-то не бреют. Наверное, я вставляю их не той стороной.

— Господь с вами, дорогой мой. Это же машинка для чистки картофеля...

Абнеос сидел оглушенный и притихший. Голова у него слегка кружилась, и он крепко держал Машеньку за руку, словно ребенок мать. «О боги, боги,— думал он,— что только не пошлете вы нам, жалким смертным, каких только козней не придумаете у себя на своем сверкающем Олимпе!»

С того самого мгновения, когда он увидел себя в незнакомой комнате в окружении людей, которых он принял за души умерших, он никак не мог прийти в себя. Способность удивляться он потерял почти моментально, ибо начисто израсходовал свой запас эмоций. Единственное, что связывало его с окружающим миром, была эта девушка, что сидела рядом с ним. Рука ее была теплой и нежной, и, когда он держал ее, ему становилось как-то покойнее, и он чувствовал себя не то чтобы увереннее, но не таким маленьким, жалким и заброшенным. Ведь все, что бы он ни делал в эти сумбурные приснившиеся дни, не имело ничего общего с обычной его жизнью. Уважительный тон, каким с ним разговаривали, будто с базилевсом, был странен. Скорость, с которой они носились на каких-то металлических чудовищах, даже не пугала, поскольку была за гранью мыслимого. Необыкновенная чистота и отсутствие привычных запахов давали ему ощущение какого-то затяжного сна. Странный мир, странный. И лишь эта теплая мягкая женская рука была знакомой. И Абнеос чувствовал, что это не просто рука, а как бы ниточка, связывающая его с новой действительностью. «Ма-ша»,— произнес он про себя. Само слово было теплым, мягким и приятным на вкус, словно лепешки с медом. И смотрела она на него не так, как жена, которая с утра до вечера скрипела: «Абнеос, сходи, Абнеос, принеси, Абнеос, у Рипея жена новый хитон купила, а ты... У, посланница Аида...»

— Абнеос,— прошептала Маша,— как ты сейчас себя чувствуешь?

— Не знаю,— так же тихо ответил ей троянец.— Покровительница Трои богиня Афродита, наверное, похо-

жа на тебя. И мне грустно, тепло на сердце и немножко страшно.

— Я не богиня. И никто меня даже в шутку не называл Афродитой, потому что я некрасивая. Я всегда знала, что нехороша собой, только одна мама думает наоборот.

— Твоя мать мудра, как Афина Паллада,— торжественно сказал Абнеос.— Я хотел бы обладать половиной ее мудрости.

— Не шути так, Абнеос, ты делаешь мне больно.

— Я? Тебе делать больно? Это ты смеешься надо мной, бедным шорником, чья мастерская у Скейских ворот. Ты, всесильная и мудрая, ты смеешься надо мной.

— Спасибо, Абнеос, ты не представляешь, как мне хорошо с тобой. У тебя такие сильные руки, и кожа на них твердая и мозолистая...

— А твоя рука нежна, как спелый персик из рощи, что у самого предгорья Иды. И мне боязно пожать ее...

## *Глава 6*

Боль была все время, она пряталась в его теле, но теперь, когда он медленно приходил в себя, боль становилась осознанной, острой. Сознание возвращалось к нему медленно, неохотно, неуверенными толчками. И в то же мгновение, когда оно включило механизмы его памяти, Куроедов судорожно дернулся на каменном полу, потому что последнее, что он запомнил, был свист бича, страшное напряжение своих мышц и впивающиеся в тело тугие сыромятные ремни.

Куроедов застонал и открыл глаза. Подле него сидел старик с клочковатой седой бородой и печальными глазами. Старик протянул руку и мягко коснулся его лба.

— Лежи, не вставай пока. Пусть к тебе вернутся силы. К тому же прохлада каменных плит успокоит твои синяки и кровоподтеки. Лежи, не бойся, я уже давно сижу подле тебя. С того самого момента, когда ольвидовские стражники втащили тебя сюда после допроса.

— А кто ты? — с трудом ворочая распухшими губами, спросил Куроедов.

— Я — Антенор.

Забыв о ноющем теле, Куроедов уперся руками о шершавые камни пола и рывком сел.

— Антенор? Уж не советник ли царя Приама? Но почему тогда ты здесь, в этой темнице? Как ты сюда попал?

— Я вижу, тебе лучше,— улыбнулся старик, отчего его глаза под седыми кустистыми бровями стали совсем по-детски ясными.— Когда человек любопытен — это уже признак здоровья. Ты спрашиваешь, почему я в тюрьме. Потому что я болтлив и иногда по старческой рассеянности говорю правду. От царского же советника правды не ждут. Царь Приам, сын Лаомедонта, властитель Илиона и любимец богов, всегда прав. Ему не нужно знать правды, ибо он сам творит ее. А раз так, гнать этого слабоумного старика Антенора, в тюрьму его, в каменный мешок. И правильно. Многие считают, вернее, считали меня мудрым, а где место мудреца, как не в тюрьме? Пусть посидит, вспомнит свою сорокалетнюю службу царю, поразмыслит, чего стоит в наши дни правда... Я не надоел тебе, незнакомец?

— Бог с тобой, Антенор!

— Бог? Один бог? Что значит это выражение?

— Бог? У нас, там, где я живу, был один бог, всего один. Да и того теперь уже нет.

— Один бог? — вздохнул Антенор.— Какая экономия слов! У нас их столько, что вязнут на зубах. На каждое дело свой бог. Как видишь, наши, по сравнению с твоим, изрядные лентяи. И как же ваш один бог управляется со всеми делами?

— Не очень хорошо. Поэтому-то и остался безработным.

— А ты смело говоришь, юноша. Откуда ты?

— Из страны, которой еще нет, и из времени, которое еще не наступило.

Антенор нахмурил брови и пристально посмотрел на Куроедова. На мгновение в глазах старика с комочками слизи в уголках мелькнул гнев, но тут же погас. Он едва заметно пожал плечами.

— Я не могу объяснить тебе, как это произошло, о Антенор,— сказал Куроедов.— Но я попал сюда из страны будущего, из времени, до которого должно пролететь тридцать веков.

— Тридцать веков? — медленно переспросил Антенор.— Это много времени. Оно уничтожит храмы и алта-

ри, обратит в пыль и прах народы и сотрет с людской памяти многие имена...

— Я знаю твое через три тысячи лет...

— Через три тысячи лет... Значит, тебе открыто, что случится с Троей?

— Увы...

— Ты боишься сказать мне?

— Я предпочел бы рассказать тебе что-нибудь приятное, но...

— Не бойся, я знаю и так: Троя погибнет. Кассандра знает, она много раз рассказывала мне...

— Кассандра? Дочь Приама? Та, которая обладала даром предвидеть будущее?

— Значит, и ее имя осталось...— вздохнул Антенор и вытер краем грязного плаща уголок глаза.

— Осталось. Она не погибнет в роковой день, ее возьмет к себе царь Агамемнон. Она умрет вместе с ним от руки его супруги Клитемнестры. И тебя пощадят греки... Так, во всяком случае, говорят предания...

— Знаю, знаю... Кассандра рассказывала мне.— Старик снова тяжко вздохнул.— Я старик, у меня слезятся глаза и дрожат руки. Я устал. Я уже не боюсь путешествия в царство теней, я уже почти там. Я иногда даже мечтаю о нем, как мечтают о крепком сне... Но Кассандра... Каково ей знать страшное будущее и не быть в силах изменить его, предотвратить! Ведь это тысяча смертей вместо одной. Говорят, что когда боги хотят наказать человека — они отнимают у него разум. А есть наказание пострашней — мудрость и знание.

— И вы сидите сложа руки и ждете, как жертвенные животные, пока свершится судьба? Даже зная, что Троада падет и Илион превратится в руины, вы не должны вздыхать, сделайте что-нибудь, уговорите Приама сделать что-нибудь!

— Поздно,— вздохнул Антенор,— поздно. Нет уже в живых Гектора, погиб и злосчастный Парис, убив предварительно Ахиллеса, поздно. И по-прежнему ехидна Елена строит глазки Приаму, и по-прежнему собаки Ольвида охотятся за каждым, кто хоть на мгновение усомнится в мудрости царя. Ведь ты, сын мой, тоже познакомился с ними. Тише, кто-то идет, наверное, это Кассандра. Вот и она, добрая душа.

В подземелье тихо проскользнула женщина. Увидев

Куроедова, она вздрогнула и вопросительно посмотрела на Антенора. В полумраке Куроедову показалось, что глаза у женщины огромны и печальны. От нее пахло какой-то горьковатой травой, похожей на полынь.

— Не бойся, дочь моя, это новый узник. Он чужестранец и пришел издалека, но Ольвид уже успел побеседовать с ним.

— Старый шакал,— прошептала Кассандра, и Куроедов уловил ненависть, вогнанную в одно короткое слово.

— Меня зовут Александр,— мягко сказал Куроедов.

Он встал, пошатываясь, и смотрел на женщину. Тело ее было легким, сухим и смуглым. Она тяжело дышала, и в глазах — они действительно были огромны — прыгали странные огоньки.

— Иногда меня тоже зовут Александра,— сказала она.— Дай мне твою руку.

Куроедов протянул руку и со странным замиранием сердца ощутил прикосновение маленькой сухой ладони.

— Не шевелись! —

умоляюще и вместе с тем властно прошептала Кассандра, и Куроедов скорее догадался, чем увидел, как она вдруг напряглась, напружинилась и застыла, хрипло дыша. Лоб ее влажно блестел, и ладонь на его руке затрепетала. Прошла минута, другая, а Куроедов все еще боялся пошевельнуться. Внезапно Кассандра глубоко и трепетно вздохнула, как-то обмякла и ровным бесцветным голосом сказала:

— Да, ты издалека. Ты добрый человек, и я буду любить тебя. И тебя тоже судьба заберет у меня. Ты принесешь мне много боли, но сладкой боли. Ночью я приду за тобой, ты должен выйти из этой ямы.

Она тихо скользнула к двери, а Куроедов, почему-то опустошенный и смертельно усталый, медленно опустился на пол. В воздухе еще чувствовался еле слышимый запах какой-то горькой травы, похожий на запах полыни, и сухая ладонь Кассандры все еще лежала у него на руке.

* * *

— Александр,— услышал сквозь сон Куроедов тихий торопливый шепот,— проснись...

Он попытался вскочить на ноги, но покачнулся, избитое и занемевшее тело плохо слушалось его.

— Обопрись на меня, и идем.— Кассандра на мгновение коснулась ладонью щеки Куроедова, и у него остро и сладко защемило сердце.— Не бойся, стражники спят. Я угостила их таким вином, от которого они будут храпеть всю ночь... Идем.

Ночь была теплой. Легкий ветерок с Геллеспонта доносил запах погасших костров и полоскал белье, развешанное для просушки в узких переулочках города. Бесшумной тенью скользнула кошка, где-то вдали взвизгнула во сне собака. Луна казалась плоским медным диском.

— Идем, идем,— Кассандра потянула за руку Куроедова,— сюда.

Перед ним неожиданно возникли мощные стены Пергама. Они прошли вдоль них несколько шагов и остановились перед узким входом, у которого дремал, прислонившись к камням, стражник.

— Кто это? — спросонья пробормотал он.

— Кассандра, протри глаза.

— Ведешь к себе дружка, а? — добродушно ухмыльнулся стражник.— Царской-то дочке все можно...

Коротким неуловимым движением, не размахиваясь, Кассандра дала стражнику пощечину.

— Ты что...— замотал тот головой, но они уже были во дворце.

— Идем, идем,— торопила Куроедова Кассандра, неслышно скользя по узким переходам.

Он шел как во сне, не удивляясь, не ощущая всей фантастичности происходившего. Все было возможно, время и пространство ничего больше не значили, а здравый смысл остался где-то позади, в бесконечной дали. Он готов был идти так еще и еще, видя перед собой лишь тяжелую гриву рыжеватых волос и легкую узкую фигуру Кассандры. Он уже не думал о том, куда они идут, схватят ли его снова, и даже сыромятные ремни, чьи следы все еще саднили на руках и ногах, расплылись, стали нереальным воспоминанием, сном во сне. На мгновение Куроедов вдруг вспомнил, что через два месяца истекает срок написания плановой работы, а у него не написана и половина, но и институт, и сектор, и плановая работа больше не имели значения, превратились в пустые слова, в шелуху на губах.

— Сюда,— сказала Кассандра и толкнула дверь.

— Кто здесь? — испуганно вскрикнул в теплой темноте женский голос.

— Зажги светильник, разбуди госпожу и выйди,— сурово сказала Кассандра.

Послышался торопливый шорох, что-то скрипнуло, хрустнуло, в светильнике заплясал крохотный огонек. Старая чернокожая рабыня, опустившись на колени, завороженно, как кролик на змею, глядела на Кассандру и Куроедова.

— Кто это? — послышался хриплый голос, и в комнату вошла немолодая женщина. Волосы ее свисали вялыми, полураспустившимися локонами, под глазами набрякли пухлые мешочки, и сползшая накидка обнажила полное плечо.— Кассандра? Ты? Зачем ты пришла ночью? Кто это с тобой? Уходи!

— Прочь! — крикнула Кассандра рабыне и ударила ее ногой.

Женщина тяжело дышала. Руки ее, которыми она все время пыталась поправить накидку, дрожали.

— Кассандра, ты ведь не замыслила ничего дурного, нет? Я всегда жалела тебя. Кассандра...

Кассандра сделала шаг навстречу женщине, и та отпрянула перед ней, прижавшись спиной к стене.

— Нет, нет, не надо... А-а-а-а!..— Крик был низким и хриплым.

Женщина старалась вжаться в камень стены, спрятаться в нем, исчезнуть. Только бы не видеть глаз этой безумной, не слышать ее шагов.

— Не кричи, Елена,—брезгливо сказала Кассандра,— я не собираюсь перерезать твое морщинистое старое горло. Ахейцы не сняли бы осаду, если бы им показали твою голову. Ты сама уйдешь к ним, сама бросишься на колени перед Менелаем, от которого ты удрала с моим братом десять лет назад, и уговоришь его снять осаду.

— За что ты так ненавидишь меня? — медленно спросила Елена.— Что я тебе сделала?

— Мне ничего, если не считать десять лет войны и трупы. Трупы... трупы... Земля Троада пропиталась соками человеческих тел, а стервятники с трудом летают от сытости. Трупы... Десять лет стоит в воздухе тошнотворная вонь от погребальных костров. Десять лет ревут жены по своим мужьям, а дети бегают по улицам без присмотра, как бездомные собаки. Нет, Елена Прекрасная, мне ты ничего не сделала, если не считать убитых братьев и того, что скоро весь Илион превратится в тлеющую головешку и даже пастухи будут обходить это богами проклятое место.— Смуглое худое тело Кассандры дрожало как в лихорадке, но низкий голос был насмешлив и нетороплив.— Тебя все называют прекрасной, дочь Тиндарея, но никто никогда не посмотрел на тебя открытыми глазами. Ведь ты уже не молода. Черты твоего лица огрубели, уголки губ опустились, ты стала полнеть. Ты некрасивая баба, Елена, ты сидишь часами перед своим медным зеркалом, воюя с морщинами. И из-за тебя десять лет идет война. Разве это не смешно? Разве не смешно, что мой брат Дейфоб, твой новый муж, гордится славой быть мужем Елены, но предпочитает не видеть тебя?

Вот посмотри на этого человека, что я привела. Ему открыто будущее, и он подтвердит, что Троя будет разрушена. Уйди, пусть мы погибнем, но без тебя. Уговори Менелая уйти, а если он не может, уговори его пощадить в последний день хотя бы сам город и малых детей его. Ты ведь десять лет прожила среди нас, Елена Спартанская. Десять лет...

Елена уже не дрожала. Она уселась на скамью, покрытую мягкой овчиной, спокойно прислонилась к стене и пристально глядела на Кассандру.

— Мне жаль тебя, Кассандра.— Она презрительно улыбнулась.— Осса, молва, считает тебя пророчицей, но ты всего лишь высохшая от зависти неудачница. Что ты понимаешь в красоте? Ты думаешь красота — это гладкая кожа и шелковистые волосы, высокая грудь и стройные ноги? Ты глупая старая дева, Приамова дочь. Красива не та, что красива, а та, которую считают красивой. Я — Елена Прекрасная. И кто бы ни увидел меня, кто бы ни заметил мои морщины — никто не поверит своим глазам, а поверит молве. Раз она прекрасна, значит, она прекрасна. Я буду горбатой старухой, а люди все равно будут шептать и показывать пальцами: смотрите, Елена Прекрасная... Что, у нее горб? Да ты же слеп, тебе это кажется. Разве люди не зовут её прекрасной?

Ты гонишь меня из Трои, но я не уйду. Не я виновата в море крови. Я хотела уйти раньше, но и твой покойный братец Парис, и твой отец Приам взмолились: останься, не позорь нас. Для них их слава дороже крови, дороже родины. Пусть. Я обещала остаться и останусь. И я скажу тебе больше, Кассандра. Я не жалею о дне, когда Парис разложил передо мной подарки и стал пылко рассказывать о своей любви. Он плохо воевал, но всегда хорошо умел рассказывать. Он умел рассмешить меня. А женщины ценят это не меньше, чем боевые подвиги. Я не жалею, что покинула мужа, дочь Гермиону и родину и поплыла с ним в Трою. Муж? Мужей хватает, а родина... моя родина всегда со мной.

Нет, Кассандра, ты глупа, если пришла ко мне. Разве твой отец не бросил в тюрьму старца Антенора, своего мудрого советника, который уговаривал его прекратить войну, отдать меня грекам и спасти тем самым Трою?

Мне жаль тебя. Ты иссушена завистью и бессильной злобой, и вначале я испугалась. Я боюсь смерти, и мне показалось, что ты пришла убить меня. Иди, Кассандра, не бойся, я ни слова не скажу Дейфобу, моему мужу и твоему брату.— Она встала, уже больше не придерживая накидку, и вышла из комнаты.

— Идем, Александр,— тусклым голосом сказала Кассандра,— она права...

Одиссей встал и обвел глазами вождей. Агамемнон примостился на скамье, поджав под себя одну ногу, и угрюмо вырывал из ушей волоски, которые росли на них седыми пучками. У Менелая, как всегда, был вид обиженного старого бородатого ребенка. Казалось, вот-вот он захнычет. Юный сын Ахиллеса Неоптолем выпячивал грудь, как петушок, а старик Нестор беспрерывно кивал головой, не то отвечая своим мыслям, не то от старости. На его светлом плаще темнели жирные пятна — старик ел жадно и неопрятно. Синон, ставший после смерти Паламеда базилевсом эвбейцев, смотрел на него преданно и ожидающе. «Это хорошо,— подумал Одиссей.— Все получится».

— Говори,— хмуро приказал Агамемнон.— Ты просил собрать вождей, мы слушаем тебя.

— Храбрые вожди,— медленно начал Одиссей и подумал: «Надо поторжественнее».— Бесстрашные и мудрые герои, чьи слова и дела войдут в века! Вот уже десять лет, как мы стоим у стен проклятого Илиона...

— Это мы знаем без тебя,— буркнул Агамемнон и закашлял. Кашель мучил его уже несколько дней, и он зябко кутался в косматый длинный плащ.

— Ты прав, о любимец богов,— быстро ответил Одиссей.— К сожалению, все мы слишком хорошо знаем, что стоили нам эти десять лет. Нет среди нас благородного Патрокла, могучего Ахиллеса и гиганта Аякса, сотни воинов окропили сухую землю Троады своей кровью, а город все стоит...

— Это мы знаем без тебя,— снова сказал Агамемнон. Ему было холодно, хотелось лечь, накрыться с головой овчиной и опять погрузиться в дремоту, из которой его вырвал Эврибат, горбатый глашатай Одиссея.

Старец Нестор по-прежнему кивал головой, а Неоптолем напрягал плечи, стараясь, чтобы все заметили, какие у него мускулы.

— ...Поэтому я предлагаю вам план, цари, с помощью которого мы возьмем священную Трою.

— Говори, и побыстрее,— простонал Агамемнон.— Я болен, я хочу лечь.

— Слушаю, о храбрый царь аргивян! Вот мой план: все вы знаете искусного мастера Эпея. Человек он, мо-

жет быть, не великой силы и храбрости, но мудр руками, и Гефест научил его множеству ремесел. Я предлагаю, чтобы Эпей построил огромного деревянного коня, пустого внутри. В коня войдут десять — двенадцать человек — храбрейших воинов. Наше войско сделает вид, что снимает осаду, а на самом же деле укроется на острове Тенед. Конь же останется на берегу. Троянцы, увидев, что берег Геллеспонта опустел, выйдут из-за стен, найдут коня и втащат его в город...

Нестор перестал кивать седой головой и посмотрел на Одиссея, а Агамемнон пожал плечами:

— Тебя часто называют хитроумным, о Лаэртид, но, по-моему, это преувеличение. Почему троянцы не захотят посмотреть, что внутри деревянного чудовища, и почему они должны втащить коня в город?

— Потому что на коне будет написано, что это дар Афине Палладе, а раб, якобы случайно удравший из нашего лагеря, расскажет, что в коне спрятан палладий, и обладатели его становятся непобедимыми.

Старец Нестор снова закивал головой, а Менелай спросил плаксиво:

— А кто же спрячется в коне?

— Я уже сказал, человек десять — двенадцать храбрейших воинов,— Одиссей заметил, с каким восхищением смотрит на него Синон, эвбеец,— и, конечно, я сам.

Синон даже приподнялся со скамьи, улыбаясь Одиссею, а Неоптолем нахмурился.

— Хорошо,— устало сказал Агамемнон.— Пусть Эпей строит... Мы испробовали все, испробуем и твою выдумку, хотя все это чушь...

В шатер неожиданно проскользнул горбун Эврибат, глашатай Одиссея. Он приподнялся на цыпочках, приложил губы к уху хозяина и что-то быстро зашептал.

— Не может быть,— глухо сказал Одиссей.— Не может этого быть, горбун! — Но Эврибат продолжал шептать, и Одиссей сжал кулаки.

— Вот, царь,— теперь уже громко сказал горбун и торжественно протянул Одиссею небольшую кожаную сумку.

Царь Итаки брезгливо раскрыл ее, словно сумка была нечистой, и достал оттуда записку, сложенную вчетверо, развернул, скользнул по ней глазами и хрипло сказал:

— Царь Агамемнон, измена!

— Что ты говоришь, Лаэртид? Какая измена? То конь, то измена, покоя от тебя нет.

— Среди нас троянский шпион!

— Кто он? — крикнуло сразу несколько человек.

— Синон, эвбеец! — Одиссей вытянул правую руку и показал на черноволосого широкоплечего мужчину лет тридцати, который несмело улыбался.

— Ты шутишь, царь Одиссей,— робко сказал он.

— Шучу? — крикнул Одиссей.— Хороши шутки! Ты предатель, Синон, как и Паламед, ты за золото решил предать нас всех, ехидна! Будь ты проклят, пусть будут прокляты братья твои, и сестры, и все дети твои!

— Одиссей, царь Итаки! — взмолился Синон, лицо которого побледнело, а руки задрожали.— Что ты говоришь, ты же знаешь, что я чист в делах и помыслах перед людьми и небом. Клянусь Зевсом!

— Мне тяжело,— глухо сказал Одиссей и вытер тыльной стороной руки глаза.— Я считал тебя своим другом, Синон, но, видно, вы, эвбейцы, так уж устроены, что не можете не предавать. Ты пошел по пути Паламеда. Прочти, Агамемнон.

Одиссей протянул записку, и Агамемнон, медленно шевеля губами, с трудом прочел:

— «Посылаем тебе в оплату десятую часть таланта золотом и ждем от тебя дальнейших сведений. Будь осторожен. О.». Что такое «О»?

— Ольвид, начальник стражи царя Приама,— как-то устало и отрешенно ответил Одиссей.

— А вот и золото,— сказал Агамемнон, запуская руку в сумку.

— Но это же все ложь, поклеп! — закричал Синон, падая на колени.— Люди, лю-юди, это ложь, чудовищный обман, ошибка, страшная ошибка...

— Нет, Синон, не ошибка. Эврибат случайно заметил, как к тебе в шатер только что прокрался незнакомец с этой вот сумкой в руках и через мгновение вышел обратно уже без сумки. Эврибат бросился за ним, но тот убежал.

Синон, стоя на коленях, поворачивал голову то к Агамемнону, то к Менелаю, умоляюще смотрел на старика Нестора. Но все хмуро отводили взгляд. Незримая черта уже разделяла их. Перед ними был человек, судьба ко-

торого была прочитана, и как всякий человек, чья судьба становится известна окружающим, он вызывал в них одновременно чувство жадного любопытства, брезгливой жалости и презрения. Только что он был одним из них, ходил среди них, смеялся вместе с ними, пил вино. Теперь он стоял на коленях и неуклюже протягивал к ним жилистые смуглые руки. Хитон его обнажал шею, на которой виднелся фиолетово-багровый шрам, след троянского копья.

— Цари,— простонал Синон, и все увидели на его глазах слезы,— цари, выслушайте меня. Десять лет я пробыл под стенами Трои вместе с вами. Видел ли кто-нибудь, чтобы я бежал с поля боя или прятался от стрел Приамовых? Или чтобы я разжигал вражду между царями? Выслушайте меня, цари. Поверьте, это ошибка, какая-то страшная ошибка...— Синон встал во весь рост и сорвал хитон с торса: — Вот отметины от стрелы, задевшей меня во время злосчастной битвы при кораблях, вот на шее след копья...

— Ты слишком много говоришь, Синон,— хмуро оборвал его Одиссей.— У вас, эвбейцев, языки хорошо подвешены. Так и хочется поверить, что ты невиновен. Но когда мне представляются наши жены и дети, которые тщетно ждали бы нас, если бы ты довел предательство до конца, и плакали бы от голода, обид и лишений, я вырываю из своей груди жалость к тебе. Нет, Синон, мой глашатай Эврибат не ошибся. И письмо перед нами, и золото. И собаки Ольвида шли по протоптанной тропинке, протоптанной со времени царя Паламеда, которому они посылали золото за предательство и которого боги помогли нам вывести на чистую воду.

«Наверно, предал,— подумал Агамемнон, еще плотнее закутываясь в мохнатый плащ.— Правда, я на Синона никогда не подумал бы, но так уж, наверное, устроены шпионы...»

«Что-то подозрительно, и Паламеда Одиссей обвинил на основании перехваченного письма, а теперь и Синона...— думал старец Нестор.— Но встать и сказать это... Вступить в спор с этим итакийским царем, который еще никогда ничего не забыл и никогда никому не простил... А может быть, Синон действительно шпион? Вот если бы у меня были точные доказательства, что он невинен... В конце концов, какое я имею право сомневаться в чест-

ности Одиссея? Разве не он с Диомедом проник тайно в Трою и унес оттуда священный палладий? Разве не он бился как лев, прикрывая Аякса Теламонида, который нес на плечах труп сраженного Ахиллеса?» Старец прикрыл глаза набрякшими веками и погрузился в оцепенение.

«Вот сейчас Синон стоит, говорит, простирает к нам руки, тело его горячо, и в нем струится кровь,— думал царь Менелай,— а скоро просвистит в воздухе камень, один, другой, ударит его в висок, и он рухнет на землю и начнет дергаться, поджимая ноги, а потом обмякнет, и тело его станет холодеть... Почему так хрупки смертные? Десять лет я бился за жену Елену, и каждое мгновение смерть поджидала меня. Свист стрелы, удар копья, и... и темнота, темнота, темнота наваливается, затопляет, и меркнет все, уходит, и меня, царя Менелая, нет, нет, нет. Не хочу, не буду умирать, жить хочу!»

Юный Неоптолем, сын Ахиллеса, напряженно смотрел на Синона. Он даже подался вперед и вытянул шею, чтобы получше рассмотреть его лицо. «Так вот, значит, какие они, изменники,— думал он.— Такие же, как мы, с виду, но с сердцем змеи... Да как он смеет еще защищаться и юлить, когда его обвиняет сам герой Одиссей? Ничего, скоро он замолчит, когда стервятники начнут выклевывать ему глаза».

«О боже, что же это такое.— Мысли Синона метались, как овцы в горящем сарае.— За что... за что... Как им сказать, как объяснить... Найти слово, одно слово, должны же они понять... И почему они верят этому письму и ядовитым речам Одиссея, почему? Они все называли меня своим другом, вместе сражались, вместе оплакивали убитых, вместе пировали. И никто, ни один не встанет и не крикнет: не верю! Как же это может быть? Может, может... А ты встал, когда обвинили Паламеда, твоего царя, учителя и друга? Нет, но все же думали, что он... Вот все думают, что ты... Нет, нет, только не смиряться, не опускать руки... Только бы иметь возможность прийти к ним, к каждому по отдельности и плюнуть им в лицо... Как они спокойны, ведь не их, другого сейчас приговаривают к смерти...»

— Что ты предлагаешь, Одиссей? — спросил Агамемнон с трудом. Его снова бил озноб.— Мне кажется, все ясно.

— Я бы хотел отпустить его с миром,— тихо сказал Одиссей,— но я думаю о погибших товарищах, о благородном Патрокле, о несравненном Ахиллесе, о гиганте Аяксе и сотнях и тысячах других. И не могу. Я предлагаю связать его, бросить в яму. Пусть посмотрит на высокое небо и подумает о своей измене.

— Хорошо,— кивнул Агамемнон.— А сейчас идите, я болен. И прикажите Эпею поторопиться с конем.

— Мы построим его за два дня,— кивнул Одиссей, и все встали, направляясь к выходу.

— Не вздумай попытаться бежать, Синон,— угрожающе прошептал Одиссей.— У шатра стоят мои итакийцы.

Они вышли из шатра. Ветер доносил дым костров, горевших у кораблей. Лучи заходящего солнца отражались от медных украшений дворца Приама, и вся Троя казалась призрачной, сказочной, вышедшей не то из детского сна, не то из песен бродячих аэдов.

— Протяни руки, Синон,— сказал Одиссей, и в голосе его не было злобы и ярости.

— Одиссей,— еле слышно пробормотал Синон,— ты ведь знаешь, как я любил тебя...

— Свяжите ему руки и ноги покрепче и бросьте в яму.

Эвбеец покорно протянул руки, и два воина, обдавая его запахом пота и лука, вывернули их назад, накинули сыромятные ремни, стянули.

— И обязательно выставьте около ямы стражу. Если его побьют камнями, вы ответите мне головой, поняли?

— Поняли, царь,— пожал плечами старший из воинов.— Ну, двигай.— Он легонько кольнул Синона медным кинжалом. Тот вздрогнул, отшатнулся и, ссутулив плечи, медленно поплелся по направлению к кострам.

## *Глава 8*

Старший научный сотрудник Мирон Иванович Геродюк брился. Он стоял в ванной перед зеркалом и медленно водил по щеке электрической бритвой. Жужжание ее было ему приятно, как приятно было смотреть на свое сильное мужественное лицо. Красивым он себя не считал, нет уж, избавьте, но ведь привлекательность мужчины, как известно, в мужественности...

Мирон Иванович добрил правую щеку, он всегда начинал бриться именно с правой щеки, и принялся за мужественный и волевой подбородок. Обычно он улыбался, брея подбородок. Так лучше натягивалась кожа, чтобы чище выбрить ямочку, и, кроме того, Мирон Иванович любил улыбаться себе.

Но сегодня, как и последние несколько дней, он не улыбался. То, что происходило в секторе да и во всем институте, раздражало его. Троянец, подумаешь, велико дело... Да и что это за бесконечные расспросы: не знаете ли вы того, не видели ли вы этого? Тоже свидетель истории... Не-ет, уважаемые коллеги, история — не судебный процесс, ей не нужны свидетели и адвокаты. Свидетели! Мало ли кто что видел и кто что готов засвидетельствовать. Один — одно, другой — другое, а ведь историк не следователь, чтобы сравнивать протоколы дознания. Не-ет, уважаемые коллеги, историк не следователь, а каменщик, укладывающий кирпичи в стены величественного здания истории. У каждого план, каждый знает, каких кирпичей и куда ему положить. А тут является какой-то шорник и начинает: я видел, я слышал, я щупал.

Мирон Иванович ощутил некоторое раздражение, и даже жужжание бритвы стало каким-то язвительным и неприятным. Недовольно морщась, он кое-как добрился, оделся и сел к столу завтракать, но, к своему величайшему удивлению, обнаружил перед собой вместо двух яиц всмятку омлет.

— Екатерина...— поднял он глаза на жену.

— Да, Мирончик,— отозвалась та, не отрывая глаз от кухонного шкафа, который она протирала фланелевой тряпкой.

— Во-первых, ты знаешь, что я не выношу этой дурацкой клички Мирончик. Во-вторых, ты знаешь, что я предпочитаю яйца всмятку.

— Прости, Мирончик, я подумала...

— Ты, очевидно, решила вывести меня из равновесия?

— Нет, Мирончик, что ты! — Она испуганно бросила тряпку и посмотрела на мужа.

— Екатерина, у нас в доме нет никаких Мирончиков, поняла? Если ты еще раз так меня назовешь, я... я...

Мирон Иванович махнул в сердцах рукой, встал из-за стола и направился к двери.

— Ми... рон, ты бы хоть чаю выпил,— сказала жена.

— Мирончики могут обходиться без чая.— С жертвенным видом он надел пальто и шляпу и вышел на улицу.

«И эта Тиберман,— раздраженно думал он,— смотрит на Абнеоса как на свою собственность. А собственность-то жената. Жената уже три тысячи лет. Впрочем, нашу Машеньку возрастом не остановишь... Да... впрочем, нужно будет все-таки посоветоваться с ним. Уверен, что он подтвердит мои факты.

Придя в институт, Мирон Иванович отыскал Абнеоса, который, казалось, кого-то ждал.

— Здравствуй, Абнеос,— поздоровался с ним Мирон Иванович.

— Здравствуй.— Абнеос вскочил на ноги и неумело, но старательно пожал руку старшего научного сотрудника.

Мирон Иванович слегка поморщился. Отсутствие «вы» в древнегреческом его всегда шокировало.

— Если ты не возражаешь, я хотел бы немножко поговорить с тобой.

— Готов служить тебе.

— Абнеос, ты ведь работал в Трое?

— Ну конечно же, господин.

— И тебе приходилось видеть греков?

— Еще бы! — Абнеос даже улыбнулся наивности вопроса.

— И то, как они вели осаду?

— Еще бы!

— Понимаешь, впоследствии стали распространяться легенды о том, что Троя была взята греками якобы при помощи деревянного коня, пустого изнутри, в котором притаились воины.

— Не слышал про такого, господин.

— Не называй меня господином, Абнеос. Как ты думаешь, могли бы троянцы оказаться настолько глупы, чтобы втащить эдакое деревянное чудище в город, да еще разрушив для этого стену?

— Думаю, что нет. Да как же можно сначала не посмотреть, что внутри?

— Вот и я так думаю. А легенды о деревянном коне сложились потому, что греки использовали деревянные стенобитные осадные машины, которые из-за их величины называли конями.

— Стенобитные машины? Что такое машина?

— Это... это... ну, такое приспособление, которое мечет огромные камни.

— Нет, господин, злокозненная Афина Паллада не дала ахейцам такой мудрости. Не было у них этих... махин...

— Машин...

— Машин...

— Но они были, Абнеос,— мягко и терпеливо сказал Мирон Иванович, глядя троянцу прямо в глаза.

— Как же они были, господин, когда с наших стен виден весь лагерь греков на все тридцать стадий до самого Геллеспонта? Верно, какую-нибудь мелкую вещь можно, конечно, и не увидеть, хотя глаза у меня острые, но больших деревянных коней... Нет...

— Эти деревянные кони не обязательно были похожи на настоящих коней,— еще более мягко и терпеливо объяснил Мирон Иванович.

— О боги! — простонал Абнеос.— Не было у них таких... машин. Я бы их видел. Я бы видел, как они швыряют камни в наши крепостные стены. Да и как можно камнем разбить стены? Ты видел стены Илиона?

— Ты ведь был шорником?

— Да, я говорил об этом.

— Значит, ты работал в своей мастерской?

— Да, когда была работа.

— Значит, в то время когда ты сидел в своей мастерской, греки вполне могли бы выкатить осадные машины, и ты бы их не заметил.

— А когда я вышел бы, греки их тут же спрятали? — насмешливо спросил Абнеос.— Я и не знал, что был таким важным человеком.

— Ты не совсем понимаешь, что такое история, мой друг. Тебе кажется, что важно только то, что ты видел своими глазами.

— Так ведь никто не видел этих... коней и не слышал про них.

«Дети, настоящие дети,— подумал Мирон Иванович, умиляясь собственному долготерпению.— Заря человечества, как говорил великий Маркс».

Он нисколько не сомневался в существовании осадных машин у греков, поскольку выдвинул эту идею сам, а в свои идеи Мирон Иванович верил твердо и непоколебимо. Его даже не сердило, когда другие оспаривали его

утверждения, приводя сотни разнообразнейших доводов. Его просто удивляло, как люди не видят всю глубину его мыслей. Он снова и снова повторял свои тезисы, жалея непонятливость оппонентов, и говорил себе, что в сущности все оригинальные мысли принимаются не сразу.

Теперь, разговаривая с Абнеосом, он жалел и его. Слепец, как он мог не видеть осадных машин, когда он, Мирон Иванович Геродюк, с высоты трехтысячелетнего опыта человечества уверяет, что они были и он, Абнеос, их видел.

— Осадные машины были, потому что они были, Абнеос,— спокойно сказал Мирон Иванович и твердо посмотрел троянцу в глаза.

Абнеос почувствовал, как вспотела у него спина. Кони, машины, и этот тихий, спокойный голос. А может быть, действительно они были? Да нет же, слыхом о них никто не слыхивал. Но раз человек так уверенно говорит... Голова у шорника пошла кругом.

— Я не знаю...— жалобно сказал он.— Ты ученый человек, мудрый...

— Я хочу, Абнеос, чтобы ты не просто поверил мне, а увидел эти машины, вспомнил их.

Постепенно шорнику начало казаться, что что-то такое похожее он видел, деревянное, как бы бочки... и из них фр... фр... вылетали камни, делали круг над мастерской Абнеоса и влетали обратно в бочки... И бочки ржали и убегали, когда он выходил на стены...

— Я вижу, ты вспомнил? — с трудом сдерживая торжество, спросил Мирон Иванович.

Троянец встряхнул головой, словно желая привести в порядок запутавшиеся мысли, и пробормотал:

— Что-то вспоминаю...

— Факты — упрямая вещь, Абнеос,— сказал Мирон Иванович.

Он пошел к двери. Шел он величаво, ступая сначала на носки, а потом уже опускался на пятки, поэтому казалось, что он торжественно спускается по лестнице и глаза его были полуприкрыты веками.

* * *

Леон Суренович Павсанян уселся в свое креслице, проверил подлокотники — держатся ли,— откинулся на спинку и сказал:

— Абнеос, дорогой, если ты не возражаешь, я хотел бы поговорить с тобой.

— Слушаю тебя.

— Скажи, пожалуйста, не приходилось ли тебе видеть в стане греков огромного деревянного коня?

Троянец дернулся всем телом, словно сел на гвоздь, глаза его округлились. Он закрыл глаза руками и застонал протяжно и неторопливо.

— Что с тобой? — испуганно спросил Павсанян и упал грудью на стол.— Ты болен?

— Нет, но...

— Понимаешь, конь был деревянным, да таким по величине, что в нем могла спрятаться дюжина воинов со своим оружием.

— Прости меня,— тяжко вздохнул троянец,— но я не видел ни деревянного коня, ни деревянного вола, ни даже деревянной овцы.

— Да, конечно,— грустно сказал Павсанян.— С нашим сектором всегда так. Уж если и есть у нас живой троянец, так он, видите ли, отбыл из Трои чересчур рано и не видел коня...

«Странные люди,— думал Абнеос, глядя на печальные глаза заведующего сектором.— Одному нужно, чтобы обязательно были осадные машины, которых не было. Другому — деревянный конь, тоже никем никогда не виденный. Что за ремесло у людей — утверждать то, чего не было... Но они добрые, особенно этот. У него такие красивые и грустные глаза. Вот-вот заплачет. Ай как нескладно...»

— Ты знаешь,— сказал Абнеос, глядя на портрет археолога Генриха Шлимана в тяжелой шубе,— я, конечно, сам деревянного коня не видел, но слышал всякие разговоры...

Павсанян стремительно откинулся на спинку креслица, отчего та испуганно скрипнула, и сшиб рукой подлокотник. В глазах его заплясали сумасшедшие огоньки.

— Ты слышал, ты вправду слышал, дорогой? — не смея верить счастью, трепетно спросил он и провел от волнения ладонью по голове, сминая прическу и обнажая лысину.

— Слышал, слышал,— отводя взор в сторону, пробормотал шорник.

— Абнеос, Абнуша, дорогая душа моя! — закричал

Павсанян, вскакивая на ноги и бросаясь вперед с раскрытыми объятиями.— Троянологи тебя не забудут. Мы уничтожим Геродюка, эту змею в чистом храме науки. Бегу, бегу, не могу больше молчать!

Павсанян стремительно сорвался с места и шаровой молнией вылетел из комнаты.

— Что ты сделал с нашим Павсаняном? — спросил Абнеоса Флавников, заглядывая в комнату.— Он вылетел из комнаты как пробка.

— Я рассказал ему про деревянного коня...

— Которого ты не видел. Молодец, Абнеос, ты становишься настоящим историком.

— Третий день я хочу рассказать что-нибудь интересное, а меня все мучают разными предметами из дерева. И ты тоже?

— Нет, друг Абнеос. Круг моих научных интересов значительно шире. В случае чего, я всегда могу перейти в сектор Щита Ахиллеса. Но что за интересную историю ты все порываешься рассказать?

— А...— ухмыльнулся Абнеос,— слушай. Один купец дал своему слуге две одинаковые монеты и сказал ему: «На одну купишь вина, другую оставь себе». Слуга ушел и пропадал полдня. Наконец он явился без вина. «Где же вино, негодник?» — крикнул купец. «Да никак я не мог купить»,— сказал слуга виновато. «Почему же?» — «Да потому, что я перепутал: какая монета была для вина и какая для меня».

Абнеос расхохотался, но, увидев торжественное лицо старшего научного сотрудника, осекся.

— Правда, это не очень новая история,— извиняющимся тоном сказал он.— В Трое ее все знают, но...

— Не смейся, Абнеос, и не извиняйся. Посмотри на часы. Запомни эту минуту. Сквозь тысячи лет людское лукавство протягивает нам руку. Мы забыли многое, но, оказывается, память человечества бережет анекдоты. Ведь твой анекдот можно считать самым старым анекдотом в мире, и его почтенной бороде по меньшей мере три тысячи лет. До сих пор считалось, что самый древний анекдот из дошедших до нас — это китайская история о вдове и веере, но он гораздо моложе.

— Расскажи,— попросил Абнеос.

— У одной китаянки умер муж. В отчаянии она рвала на себе волосы и причитала: «О горе, никогда я не взгля-

ну ни на одного мужчину, пока не высохнет земля на могиле моего мужа».

Через несколько дней вдову увидела на кладбище подруга. Вдова сидела на корточках и махала веером над свежей могилой.

«Что ты делаешь?» — спросила подруга.

«Хочу, чтобы побыстрее высохла земля»,— ответила вдова и еще быстрее замахала веером.

— При чем тут какая-то китаянка? — закричал Абнеос.— Это же наша старая история, которую стесняются рассказывать даже погонщики волов, потому что все ее знают. Только махала она не веером, а куском ткани...

## *Глава 9*

Синон открыл глаза и не сразу сообразил, где он. Должно быть, он неудобно лежал и у него занемели руки. Но почему перед самыми глазами земля, сухая бурая земля и по пыльному комку бежит муравей, зажав в жвалах крошечную щепочку? И вдруг сознание взорвалось в нем темным горячим фейерверком. Протянутая рука Одиссея: «Ты предатель, Синон». И пустые безучастные глаза царей.

Синон застонал. О боги, боги, почему на свете столько зла и неправды! Это же ложь, ложь, тысячу раз ложь. Почему он не нашел нужного слова, какого-нибудь простого слова, совсем маленького словечка, которое разогнало бы багровый туман лжи. О боги, боги... Синон уже не стонал. Он мычал в отчаянии. Если бы можно было повернуть время... Это все сон, тяжелый, душащий кошмар. Надо только закрыть глаза, сжать их покрепче, и все сгинет, испарится, растает. И он будет ходить по лагерю ахейцев, улыбкой отвечать на приветствия воинов, поднимать по вечерам чашу с вином... Свободный, счастливый.

Муравей не удержался на комке и упал, не выпустив щепочки. Но тут же снова пополз вперед.

Запястья, стянутые сыромятными ремнями, опухли и болели. Синон осторожно повернулся на бок. На краю ямы, на дне которой он лежал, сидел стражник. Он снял сандалии и задумчиво ковырял между пальцами ноги,

время от времени посматривая на распростертую фигуру.

— А... открыл глаза... А я уже думал, что ты сдох. Царь Одиссей приказал, чтобы за тобой смотрели и давали пить... И зачем это ему, покормили бы тобой шелудивых псов, и дело с концом. А то сиди тут и жарься на солнце, как кусок мяса на вертеле... Эх-хе-хе...

Одиссей приказал давать ему пить... Добрая душа. Добрая? Ты думаешь, эта змея жалеет тебя? Змея, змея, змея. Подложил подметное письмо, золота не пожалел. А вода? Чтобы продлить мучения, чтобы подольше видел он из этой вонючей ямы высокое пустое небо и стада белых барашков в нем. Чтобы ремни проели кожу до костей, и чтобы стал он смердеть, как падаль, и чтобы все, проходящие мимо ямы, зажимали носы от вони. Что это так воняет? Да Синон, эвбеец, предатель. Так ему и надо, собаке.

Добрая душа царь Одиссей, герой Одиссей, властитель Итаки, сын Лаэрта! За что он так ненавидит его, Синона?

Что он сделал ему? Разве не восхищался он хитроумием итакийца, его смелостью? Разве он не обнимал его, когда Одиссей и Диомед, тайно проникнув в Трою, украли оттуда священный палладий? Разве не наполнялись у него глаза слезами, когда он кричал: «Да здравствует Одиссей!»?

Паламед... Все, наверное, началось с Паламеда. Царь Эвбеи всегда немного сутулился. Длинный и худой как жердь, он обычно ходил, опустив взгляд, думая о чем-то своем. Он никогда не поднимал голоса и смотрел задумчиво и печально, иногда покачивая головой. Знал ли он о своем конце? Зачем только боги направили его вместе с греками на каменистую Итаку, когда Агамемнон и Менелай собирали войско на приступ Трои?

Он тоже приплыл тогда вместе со своим царем. Они стояли на носу судна, когда увидели длинный узкий остров, отвесно подымавшийся из моря, гору Нерион, заросшую, словно бородой, густым лесом. Чистые виноградники сбегали прямо к морю, к песчаной отмели, на которую греки вытащили корабли и укрепили их подпорками.

Никто не встретил их, никто не вышел навстречу. Лишь у самого дома Одиссея на дороге стоял друг Одиссея... Как его звали? Полит, кажется... Увидев греков, он закрыл лицо руками, закачался и громко заголосил на всю округу:

— О горе мне, горе всей нашей многострадальной Итаке! И зачем только родил злосчастный Лаэрт себе сына Одиссея, если богам было угодно отнять у него разум!

— Что случилось? — недовольно спросил Агамемнон, едва сдерживая гнев. Он и так был раздражен, а здесь эти вопли...

— Тебе не кажется странным, друг Синон,— шепнул ему Паламед,— что Полит принялся причитать, лишь увидев нас, а? Ведь настоящая скорбь не нуждается в зрителях, а?

— О горе юной Пенелопе, крошке Телемаку и всем нам...

— Ну! — крикнул Агамемнон, хватаясь за меч.— Скажешь ли ты, в чем дело? — Он не сомневался уже, что хитроумный царь Итаки выдумал какой-то трюк, чтобы отвертеться от участия в походе.

Полит оторвал руки от лица, встряхнул головой, как бы собираясь с мыслями, и снова заголосил:

— Боги отняли у нашего базилевса разум...

— Оставь богов в покое,— заорал в бешенстве Агамемнон,— расскажи, наконец, что случилось, а то я и тебе вышибу мозги из головы!

— О господин, уже второй день Одиссей не возвращается домой к нежной Пенелопе и не узнает никого из нас. Он впряг в плуг быка и мула и пашет землю, засевая ее солью.

— Солью? — изумленно переспросил Агамемнон, а Менелай покачал головой.

— Да, солью, о храбрый повелитель златообильных Микен. Но пойдемте же, вы сами увидите, что сделала богиня Ата, отнимающая разум, с моим господином.

Одиссей шел за плугом, с силой нажимая на ручки. Он был обнажен до пояса, и его могучий торс блестел от пота. Время от времени он делал широкое размашистое движение правой рукой, роняя в жирные пласты перевернутой земли комочки сероватой соли.

— Одиссей,— неуверенно позвал Агамемнон,— ты слышишь меня? Это я, Агамемнон, царь микенский.

Итакиец не отвечал. Со слабой блуждающей улыбкой на устах он продолжал нажимать на плуг, подгоняя криками упряжку.

— Нестор,— обернулся Агамемнон к царю пилосскому.— Ты старше всех нас. Может быть, ты надоумишь, что с ним делать?

— Увы,— вздохнул старик,— если уж богиня Ата насылает на человека безумие, то помочь ему невозможно. Пойдем, царь, не будем смотреть на это скорбное зрелище.

— Полит,— улыбнувшись, позвал Паламед, и все обернулись к эвбейскому базилевсу, который, как всегда ссутулившись, задумчиво смотрел на поле.— Ты говоришь, что твой господин пашет уже второй день?

— Да, царь Паламед,— быстро ответил Полит,— а что?

— Он пахал вчера весь день?

— Да, от восхода солнца до заката. Мы трижды приносили ему еду. Но он так и не прикоснулся к ней.

— И сегодня?

— С того момента, как Эос осветила наш бедный остров, о горе нам!

— На поле всего три борозды,— прошептал Паламед Синону на ухо.— И третью он провел, пока мы стояли здесь. Если бы он пахал вчера весь день... Нет, друг Синон, все это обман. Он бросился на поле, лишь увидев вдали наши корабли. Но подожди.

Паламед быстро пошел ко дворцу и вскоре вернулся, осторожно неся на руках малютку Телемака, сына Одиссея. Мальчик улыбался, дергая царя за бороду. Улыбался и Паламед. Следом за ним бежала Пенелопа, придерживая рукой развевающийся хитон.

— Царь,— кричала она,— что ты задумал?

Эвбеец вышел на поле и с минуту шел рядом с Одиссеем, пристально глядя на него. Но царь Итаки, казалось, не замечал ни его, ни сына, который что-то беззаботно курлыкал на руках у Паламеда.

— Кажется, вместо одного безумца у нас теперь их двое,— вздохнул Агамемнон, а Менелай покорно пожал плечами.— Эй, Паламед, ты в своем уме? Что ты собираешься делать?

Паламед тем временем обогнал Одиссея и бережно положил ребенка на землю в четверти стадии от упряжки. Мальчик замахал ручонками, и все замерли. Прошла секунда, другая. Обезумевшая Пенелопа, спотыкаясь, мчалась по полю к сыну. Вот уже тень от животных легла на ребенка, и в ту же секунду Одиссей, упершись ногами в землю и отогнувшись назад, остановил упряжку. У всех вырвался вздох облегчения.

— Видишь ли, друг Одиссей,— кротко объяснял итакийцу Паламед,— Полит сказал нам, что ты уже пашешь второй день, а борозды провел всего три... Кроме того, нетрудно было догадаться, как тебе не хочется уезжать от молодой жены. Поэтому-то я ни на секунду не беспокоился за жизнь твоего Телемака. Да и ты тоже, а?

Одиссей угрюмо бросил ручку плуга и посмотрел на Паламеда таким тяжелым и ненавидящим взглядом, что, казалось, тот должен был вспыхнуть, как вспыхивает от удара молнии сухое дерево. Все молчали.

— Пойдемте,— пробормотал наконец Одиссей и вытер краем хитона пот со лба.

В неловком напряженном молчании слышно было лишь, как медленно двигают челюстями бык и мул, пережевывая жвачку, и как пускает пузыри Телемак, прижимаясь к матери.

— Ну что же вы стоите? — еще раз повторил Одиссей и зашагал к дому.

— Так это ты так хотел надуть нас, царь! — грохнул смехом Агамемнон.— Ну и хитер же! А мы-то уж и впрямь решили, что ты спятил. Если бы не Паламед, сроду не догадались бы...

Засмеялись и остальные, и даже Одиссей скривил рот, но взгляд оставался тяжелым.

— Может быть, и не нужно было этого делать,— задумчиво сказал Паламед,— в конце концов отправляться на войну должны лишь те, кто этого хочет иль кому стыдно остаться с женщинами, детьми и стариками...

— Ты мудр, Паламед,— сказал старик Нестор и положил руку на плечо эвбейца.— Видно, ты действительно любимец богов, если они тебе даровали такую мудрость. Но мудрость — это тяжкая ноша, и многих она уже раздавила...

— Э, царь, лучше быть раздавленным ношей мудрости, чем грузом невежества.

— Не знаю, Паламед, не знаю...

Прошли годы. Осада Трои все продолжалась, и уже стал Одиссей несравненным героем, равным и в хитроумии и в храбрости, а Паламед, все так же ссутулившись, задумчивой тенью скользил в лагере ахейцев. Хоть и не уклонялся он от рукопашных схваток, не кланялся троянским стрелам и не показывал врагу спину, но душа его была по-прежнему обращена не к воинским подвигам, а к трудам умственным. Он изобрел и воздвиг на Сигейском мысу маяк, чей мерцающий огонь безлунными ночами указывал путь греческим кораблям, научил людей цифрам и буквам и лечил раны, которые раньше обрекали воинов на мучительную смерть. Он прикладывал к ним плесень, и, словно по волшебству, они очищались от гноя и зарубцовывались мягкой розовой кожей.

Он не любил бывать на пирах у вождей, а когда же все-таки приходил, то не хвастал, как другие, не старался перекричать соседа, а отрешенно смотрел на лоснившиеся от жирного мяса губы, на влажные от пролитого вина бороды.

Высокий, худой, он молча сидел в углу, а когда ему кричали: «Эй, царь, чего молчишь, как девица?» — он лишь смущенно улыбался и старался пересесть в тень.

Его любили и почитали, особенно простые воины. И в

почитании не было страха, а было лишь изумление перед мудростью, и это почитание тяготило эвбейца, который с годами становился все задумчивее и задумчивее и все чаще искал уединения.

С грустью глядя на погребальные костры, которые все продолжали полыхать в стане греков, он говорил:

— А умно ли мы поступаем, продолжая осаду? Столько лет, столько смертей и горя, и все из-за одной женщины... Стоит ли ее красота стольких жертв? И не становится ли красота гнусным уродством, если за нее платят кровью и страданиями?

Его слушали, потому что его слова были просты и исполнены раздумий, понятных каждому. К нему шли за советом, ибо он никого не прогонял и ни над кем не смеялся.

И вот тогда вдруг Одиссей обвинил его в предательстве. Тот же горбун Эврибат, глашатай Одиссея, перехватил письма, якобы написанные Паламедом Приаму, и золото, плату за измену, тоже нашли в шатре эвбейца. И тогда тоже говорил Одиссей без гнева, как бы жалея товарища, и как теперь, тогда тоже все сидели и хмуро молчали.

И он, Синон, друг и ученик своего царя, сидел и молчал. И один раз всего, когда Паламед молча посмотрел на него своим кротким взглядом, бесконечно печальным и в котором не было ни гнева, ни страха, ему вдруг нестерпимо захотелось вскочить на ноги и закричать, срывая голос: «Люди, да вы в своем ли уме? Да как вы можете поверить этому чудовищному наговору?»

Но он не вскочил и не закричал. Ведь Одиссей, многомудрый Одиссей, лев в сражениях, читал письма и показывал золото. Доказательства... И другие тоже молчали. Кто хмуро опустив глаза, кто жадно вглядываясь в человека, которому оставалось жить минуты. Где-то прошмыгнула у него в голове, проскочила мысль о том, что все эти письма могли быть написаны самим Одиссеем, но он не удержал ее. Ведь тогда нужно было бы встать и обвинить Одиссея, самого Одиссея, царя и героя. Или сказать себе: я трус и предаю своего царя и друга.

О, насколько проще было поверить Одиссею — ведь у того были доказательства, письма и золото, найденные горбатым Эврибатом в шатре Паламеда. И он поверил. Поверил с радостью, ибо вера очищала его, снимала с

него бремя сомнений, жизнь с которыми была бы так тяжела.

Боже, как горят запястья рук от ремней! Смочили их, что ли, перед тем как закрутить ему за спиной руки, что они так врезаются в кожу. И все тот же муравей — а может быть, и другой? — ползет по пыльному комку сухой земли. И как жестоко жжет его солнце, расплавленную бронзу оно выливает на него, и язык — разве это его язык, этот сухой, шершавый обрубок? — едва помещается во рту.

— Пить... — хрипит он.

И стражник, все продолжая ковырять между пальцами ног, сонно бормочет:

— Не подохнешь, подождешь...

...И вот Паламед стоит на отмели, за спиной его бесконечный шорох волн Геллеспонта, а слева, вдали, виден маяк, построенный им. И у него тоже были связаны руки за спиной, но впервые за долгие годы он не сутулится. Он расправил плечи, и Синон впервые замечает, какие они у него широкие. И глаза он больше не опускает, а смотрит прямо на Агамемнона, который медленно выбирает из кучи камень потяжелей, на Менелая, у которого дрожат руки, долго смотрит на Нестора. Тот отводит глаза, хмуря седые кустистые брови. Смотрит на него, на Синона. Смотрит с едва заметной печальной и всемудрой улыбкой, прощающей и грустной улыбкой. И Синону кажется, что тот знает о мысли-змейке, прошмыгнувшей у него в голове. И тогда Синон — он ли это? — издает глухой рев, хватает камень и с воплем «смерть предателю!» бросает в него. Камень страшно шмякает в бедро эвбейского царя, и он судорожно кланяется, чтобы не упасть. В глазах его мелькает на мгновение ужас и тут же вымывается гордым и печальным блеском.

— Увы, истина умерла раньше меня,— шепчет он.

Размахивается и швыряет камень Одиссей. Меткий бросок, сильный. Тверда рука у итакийца. И лоб его так же блестит от пота, как тогда, много лет назад, когда останавливал он упряжку перед лежавшим на мягкой земле сыном. Меткий бросок, сильный. Паламед уже лежит, и пальцы царапают песок прибрежной отмели. И не то с криком, не то со стоном поднимает огромный камень гигант Аякс Теламонид и швыряет в голову Паламеду. И больше пальцы не цепляются за песок. Тишина. Шур-

шат волны Геллеспонта, тонкой свечой тянется к небу маяк на Сигейском мысу, тяжело дыша и вывалив языки, ползут по песку к трупу шелудивые псы, не спускают глаз с тела, желтых голодных глаз.

Все молчат, созерцая дело рук своих. Наконец угрюмо и зло Одиссей роняет слова:

— И если кто-нибудь захочет предать тело изменника погребальному костру, он будет изменником сам.

Уходят все. Один Аякс, гигант с розовыми щеками ребенка, закрывает вдруг лицо руками и падает на песок, бьется в рыданиях.

Псы все ползут, вытянув острые морды и нетерпеливо помахивая хвостами.

— А-а-а! — дико кричит Аякс, выхватывает меч и подбрасывает высоко вверх огромную кривоглазую собаку.

Синон больше не оглядывается. Он бежит. Сердце прыгает в грудной клетке и больно бьется о ребра. Язык не помещается во рту, и не то пот, не то слезы текут по лицу...

— На, пей, полакай, как собака,— бормочет стражник и, залезая в яму, ставит перед Синоном круглую миску с водой.— Царь Одиссей приказал поить тебя, чудак,— пожимает плечами стражник.— И чего это цари только не придумают...

## *Глава 10*

Они стояли, облокотившись на каменный парапет крепостной стены дворца, и молчали. Внизу просыпался город, потягивался, откашливался. Где-то в рассветной тиши лязгнула медь, закричал осел, к небу потянулись дымки очагов. Было безветренно, и дымки поднимались отвесно, постепенно теряя четкость и растворяясь в воздухе.

Кассандра смотрела на родной город, стараясь запечатлеть в памяти и кривые улочки, и массивные Скейские ворота, и полоску Геллеспонта вдали. Город жил, но был обречен. Скоро, скоро превратится он в тлеющие развалины и бродячие псы будут скулить с пережора. И трупы, трупы, трупы. Словно спящие в нескладных позах, скрюченные, никогда уже больше не проснувшиеся. И дети, в

последней агонии кошмара закрывшие маленькие личики руками, чтобы не видеть ни отблеска пожара, ни занесенных мечей врагов.

Куроедов посмотрел на Кассандру и медленно вытер слезинку, катившуюся по ее щеке. Тонкая шейка склонилась под тяжестью копны рыжеватых волос. Тонкая смуглая шейка почти как у ребенка. Но глаза не ребенка. Глаза огромные, до краев налиты горем, вот оно и выплескивается слезинками. Обнять ее, прижать к груди? Но что значат объятия, когда перед тобой родина, уже подпаленная со всех концов, но еще не знающая об этом... Он не казнил себя за то, что рассказал о судьбе Трои, о деревянном коне, о ночном штурме ахейцев, о гибели всех, почти всех... Она и сама знала об этом, может быть, не с такими подробностями, но знала. Ее странный дар предвидения уже давно иссушил ее, взвалил на ее плечи чудовищный груз знания и отгородил ее от всех, кому неведение давало возможность беззаботно улыбаться.

— Мне как-то открыл один жрец,— медленно и задумчиво сказала Кассандра,— что это боги заставляют людей не верить моим пророчествам. Боги! — вдруг гневно выкрикнула она.— При чем тут боги? Глупость людская, а не боги. Страшно им было поверить моим словам, вот они и скакали вокруг меня, тыча своими жирными, короткими пальцами: дурочка, дурочка, не слушайте ее! А наскакавшись и накричавшись, губили мой народ из-за морщинистой Елены, прозванной Прекрасной, и из-за собственной гордыни.

Ты знаешь будущее, Александр, для тебя оно далеко позади. А для меня... Послушай хоть ты, как это страшно. Это началось давно, когда я была еще девчонкой. Вдруг средь бела дня я почувствовала озноб, какое-то оцепенение, словно кровь перестала течь по моим жилам. И я услышала тишину. Все звуки мира разом исчезли для меня, и я одна была погружена, словно в подземный Аид, в безбрежную тишину. И я не видела ничего, кроме багровых, неясных полос, мчавшихся в безмолвии не то по небу, не то у меня в голове. Потом началось это... Я почувствовала острую сверлящую боль в голове, будто кто-то сверлил ее внутри, будто что-то с трудом пробивалось к поверхности сознания. И внезапно я увидела своего маленького брата Троила. Он лежал в какой-то дыре, странно подогнув ногу, и так жалобно смотрел на меня.

Я закричала, но все лишь посмеялись надо мной. И даже назавтра, когда Троила действительно нашли в какой-то яме, куда он упал и сломал ногу, никто не хотел вспоминать о моих словах. Им было стыдно, и стыд укреплял в них презрение и жестокость.

Это случалось со мной много раз, но я всегда буду помнить тот проклятый богами день, когда от Ретейского мыса отплывал корабль, на носу которого стоял мой брат Парис. Он выпячивал грудь, расправлял плечи, изгибал брови — он весь был наполнен гордостью за самого себя и восхищением перед самим собой. Еще бы, он, Парис, прекраснейший юноша, плывет за море, чтобы сманить у царя Менелая Елену Прекрасную, дочь Тиндарея, сделать своей женой.

Гребцы подымают длинные весла, ветер со щелканьем надувает косой парус. Мать утирает счастливые слезы, и даже отец улыбается в бороду. Плыви, сынок, привези нам Елену Спартанскую, самую красивую женщину на земле, сюда, прямо в Трою, и прославится город и царь Приам до пределов земли.

А я корчусь на прибрежном сыром песке и молю, заклинаю их: остановите его, пока не поздно. Я ведь знаю. Вижу. На горе надувает ветер его парус, принесет этот ветер запах пожарищ, тошнотворную вонь погребальных костров и вой одичавших псов. Не плыви к грекам, Парис, останься, брат.

А на меня шикают. Отец, обернувшись на мгновение, свирепо смотрит на меня. Что за надоедливая девчонка-полоумок...

А я кричу, вою. «Я знаю! — кричу.— Вижу!» Но не верят они мне, и ничем не могу доказать я свое знание. И безумею оттого, что не верят мне, и уже не жалость давит меня, а ненависть.

И так много раз. И знаешь, Александр, иной раз меня охватывает злорадство. Так вам и надо, сгиньте, исчезните, самодовольные и тупые свиньи. Не заслужили вы лучшей участи, раз закрывали на будущее глаза и поворачивали толстые, жирные зады. Пусть сгорит этот город, где вместо благодарности я слышала лишь попреки. Но все это слова, Александр, мне тяжко. Я разбита, меня как будто нет вообще, а есть горе. И оно — это я.

Кассандра вдруг резко повернулась к Куроедову, даже копна волос испуганно метнулась в сторону. Глаза

словно впились в него в немой мольбе. Горячие сухие руки обнимают его за шею.

— Ты мудрый, ты пришел издалека, для тебя все открыто. Спаси Трою. Ведь дети и женщины и простые люди не должны расплачиваться жизнью за гордыню дома Приамова. Ты все знаешь, все можешь, сделай что-нибудь, прошу тебя.

— Но ведь я знаю, что Троя погибнет,— тихо сказал Куроедов. В горле у него стоял комок от нежности и жалости к этой странной, легкой и худенькой девушке, и сердце сжимала, тащила куда-то вниз печальная истома.— Конечно, мы не знаем подробностей, но мы знаем — Троя погибла.

— Но сделай что-нибудь, чтобы этого не случилось!

— Но это уже случилось. Понимаешь, уже! Ведь я пришел из будущего. Для меня Троя разрушена и сожжена уже три тысячи лет назад.

— Нет, она еще не сожжена. Вот она, под нами!

— Но ход истории неотвратим. Никто не может помешать ему...

— Не может или боится? Нет, пока остается хоть мгновение, я буду бороться с тем, что ты называешь историей, даже зная, что ничто не поможет судьбе. Пойдем, пойдем!

Она схватила его за руку, крепко сжала жаркой сухой ладонью и потащила куда-то по каменным переходам, вверх по лестницам, вниз по лестницам, по длинным коридорам. Они остановились перед дверью, у которой стояли два стражника, опершись на тяжелые копья. На головах у них были кожаные шлемы, на ногах поножи.

— А, это ты, царская дочь,— с легкой насмешкой сказал один из стражников.— А с тобой этот... новый прорицатель... Ну ладно, проходите. Приказа не пускать вас или снова схватить твоего дружка не было.

Приам, младший сын Лаомедонта, последний царь Трои, завтракал. Он брал руками куски жирного мяса и запихивал их в рот. Губы его лоснились от жира, и даже длинная седая борода тоже блестела.

В нескольких шагах от царя стоял Ольвид и смотрел в пол, выложенный из мраморных плит.

— А, Кассандра,— рыгнув, сказал Приам и вытер руки о белоснежный хитон.— Давно не видел тебя, дочка. Все каркаешь, беду накликаешь?

— Ее уже не надо звать, она на пороге, царь! — твердо сказала Кассандра, глядя на отца.— Вот этот человек из будущего, о котором, надо думать, тебе уже успел сообщить Ольвид. У него еще до сих пор следы от Ольвидова бича. Отец, молю тебя в последний раз, выслушай меня. Прогони Елену, предложи ахейцам любой выкуп, спаси священную Трою!

Приам нахмурился, бросил быстрый взгляд на Ольвида, и тот ответил кивком.

— Богиня Ата отняла у тебя разум, Кассандра,— сурово сказал царь.— Ты не знаешь, что говоришь. Посмотри. Десять лет стоит неприступная Троя, и стены ее так же крепки, как и десять лет назад. О чем ты, неразумная? Если б не была ты моей дочерью...

— Отец, царь, хитростью возьмут нас греки...

— Хитростью? — Приам с состраданием посмотрел на маленькую фигурку перед собой.— И ты думаешь, дочь, что есть на свете человек, который мог бы перехитрить меня, Приама? Мне жаль тебя, несмышленая...

— Они сделают деревянного коня и посадят в него воинов...

— Деревянного коня? Ха-ха-ха... Коня... А я... я буду смотреть на него? Кассандра, Кассандра... Запомни, дочь. Ты не можешь предсказать будущего, потому что будущее творю я с помощью богов. Я! Оно у меня в руках, а не в твоей туманной дали. Ты советовала мне прогнать Елену Прекрасную, опозорить себя перед всем миром, теперь ты пугаешь меня детскими деревянными игрушками?.. Да что бы ни придумал Одиссей, все открыто мне, все ясно. И каждый их шаг, и все их помыслы — все открыто мне, ибо я, царь Приам, могущественнее и мудрее всех на свете. И не родился еще смертный, который мог бы разрушить священные стены Илиона. Идите вы оба и не вздумайте говорить на улицах о будущем. Идите, неразумные дети, и оставьте мужам их заботы.

Он замолчал. «Что они понимают все,— думал он,— что знают о тяжкой доле царя? Десять лет ни днем ни ночью не знаю я покоя, думаю о защите города, оплакиваю смерть его защитников и моих сыновей, а они дают мне советы — отдай Елену! Баба она, конечно, вздорная, и от прелестей ее не так уж много осталось, но пойти на переговоры с ахейцами... Признаться, что совершил ошибку? Нет, не совершал я ошибок, не щадил себя...»

Он поднял глаза. Кассандра, маленькая всегда, стала, казалось, еще меньше. Стоит, втянув голову в плечи, словно нахохлившийся птенец, и все смотрит, смотрит на него.

На мгновение Приам почувствовал прилив отцовской нежности к дочери. Что-то шевельнулось в нем, теплое, мягкое, полузабытое. Захотелось ему, чтобы дочь положила ему голову на колени, а он бы взял ее за плечи и поднял. И прижал к себе, ощущая ее тепло, как делал много-много лет назад, когда еще не был сед и дряхл и когда дети ползали у его ног, словно щенки. Годы, годы. Словно волы в упряжке, со страшной силой влекут они человека к концу, к страшному концу, когда нужно сходить в царство теней, откуда уже нет выхода.

— Ты, прорицатель! — Царь поднял взгляд на спутника Кассандры. Странный человек из дальних краев. Безбородый и безбоязненный.— Скажи мне, если ведомо тебе будущее, останется ли мое имя, имя Приама, сына Лаомедонта, в памяти потомков?

— Да, царь. Тебя запомнят и воспоют многие аэды разных времен, изваяют скульпторы и изобразят художники. И детей твоих, Приамидов. И многие будут знать картину, которая называется «Прощание Гектора с Андромахой».

— Гектор... — прошептал старик и опустил голову.

Старший сын его — настоящий герой. Как тяжело ему было, когда Ахиллес сразил Гектора и он, Приам, униженно умолял грека отдать ему тело сына. А кажется, только вчера входил он сюда, в эту комнату, огромный, веселый, и, казалось, наполнял ее собой. И вот осталась только щепотка золы да стариковская память, от которой уже никуда не денешься. Ах, Гектор, Гектор, отцова отрада...

— Идите! — крикнул Приам.— Убирайтесь! Да побыстрее! Давай, Ольвид, что там у тебя, пора за работу.

## *Глава 11*

— Ваня,— сказал полковник Полупанов, недоверчиво рассматривая аппарат временного пробоя,— может, зря я тебя послушал? Может, надо было звонить во все колокола, в Академию наук, в институты разные... Время-то

идет, а твои проволочки и пружинки не производят на меня сильного впечатления.

Они сидели в комнате бригадира настройщиков, и полковник смотрел то на мальчишеское лицо Скрыпника, то на несолидный его аппарат. Его мучили сомнения. Всего два года до пенсии и — на́ тебе — такое дело.

— Я ж вам уже объяснял, товарищ полковник,— терпеливо сказал Скрыпник.— Ну давайте представим себе: являемся мы к какому-нибудь академику-физику. «Здрасте, говорим. А вот и мы. Бригадир настройщиков из стереовизионного ателье Ленинградского района и полковник милиции Полупанов. Мы, с вашего разрешения, на секундочку. Дело в том, что мы изобрели машину времени...»

— Ты меня, Ваня, в это дело не впутывай. Не «мы», а «ты».

— Ладно. Значит, академик сбивает свою ермолку к затылку, смотрит на нас внимательно, потом говорит: «Поздравляю вас, коллеги, но это невозможно. Я лично, когда переутомляюсь, делаю гипсовых лебедей. Очень рекомендую».

— Насчет гипсовых лебедей это ты, конечно, перехватил. Скорее он играет на большом турецком барабане или выращивает в ванной шампиньоны, но в целом картина обрисована правдоподобно.

— Вот видите, я и вам говорил: потребуется минимум пять лет, чтобы в эффект Скрыпника только поверили. А товарищ Куроедов будет тем временем мыкаться среди гладиаторов.

— Ваня, не прикидывайся бо́льшим дурачком, чем ты есть на самом деле. Гладиаторы — это в Риме, а в Трое был Парис и Елена.

— Ничего, товарищ полковник, баллотироваться в действительные я буду по физико-математическому отделению, а не по историческому. И в речи в Стокгольме при получении Нобелевской премии обязательно упомяну вас: мол, разве это не ирония, что первым человеком, поверившим в пробой времени, был милиционер, которому по штату положено быть скептиком.

— Хорошо с тобой, Ваня, лясы точить, одно удовольствие. Ты мне только одно скажи: когда выгонят меня из милиции и разжалуют за твои штучки, устроишь ты меня к себе настройщиком?

— Настройщиком — нет,— нахмурился Скрыпник,—

это работа квалифицированная и тонкая. Но место вахтера, так и быть, выхлопочу. Ну, давайте попробуем. Энергии как будто достаточно. С богом, товарищ полковник, может, что-нибудь получится.

Бригадир настройщиков щелкнул тумблером, стрелки на шкалах с размаху низко поклонились, и в то же мгновение откуда-то снизу донесся крик.

— Бежим! — крикнул полковник и мгновенно вылетел в коридор. Крики доносились снизу.

— Это что ж такое? — вопил ночной вахтер Петр Михеевич Подмышко, ошалело рассматривая свою собственную правую руку.— Что ж это такое? — еще раз растерянно повторил он.

— Рука, наверное,— неуверенно подсказал полковник, глядя на вахтера.

— Сам ты рука. Ключи где?

Только сейчас Скрыпник понял, что поразило его в облике старика. Все то бессчетное количество раз, что он видел его, Михеич всегда держал в правой руке связку ключей. Теперь же ее не было, и вахтер рассматривал свою пустую руку с недоуменным видом ребенка, которому показали непонятный фокус.

— Товарищ Скрыпник,— погрозил он бригадиру настройщиков,— это все ваши штучки. Где, спрашиваю, ключи? Держу я их в руке, читаю доску приказов и вдруг — фюить! — и нету.

— Может быть, вы их в карман засунули? — бросил спасательный круг полковник.— Гляньте-ка.

Вахтер смерил его презрительным взглядом и вдруг поднял голову, потому что сверху, с доски приказов, кто-то угрожающе заклекотал и громко хлопнул, будто выбивал пыль, встряхивая ковер.

На широком деревянном скосе доски приказов сидело какое-то существо, не то летучая мышь, не то ящерица. Широкие кожистые крылья были сложены, зато клюв с мелкими острыми зубами то и дело открывался и закрывался. Глаза смотрели зло и настороженно.

— Это тебе взамен ключей, дядя Михеич,— прошептал бригадир, не сводя завороженного взгляда со странной птицы. Он наморщил лоб и, казалось, что-то напряженно пытался вспомнить.

— Ты сам птицей двери запирай, товарищ Скрыпник,— обиделся вахтер.— Нам она без надобности. Тем

более, без пера она. Товарищ полковник, вы заметьте, что...

— Вспомнил! — вдруг крикнул Скрыпник и повис у полковника на шее.— Птеродактиль. Летающий ящер, вымерший миллионы лет назад.

— Час от часу не легче,— вздохнул полковник.— Опять, значит, промахнулись?

— Но зато живой птеродактиль, а? Еще одно доказательство реальности пробоя. И никто ничего не скажет. А вы как объясните, уважаемые коллеги? Летал этот летающий ящер Гришка, летал, сбился с дороги и залетел отдохнуть на миллион лет в сторону в стереовизионное ателье Ленинградского района. Причем залетел, собака, не через дверь или окно...

— Это точно, после двадцати одного ноль-ноль у меня все затворено.

— Что делать будем? — спросил полковник Полупанов. Он уже устал изумляться и теперь жил в неопреде-

ленном мире на границе возможного и невозможного.— Я домой эту гадину не понесу. Не говоря уж, что, того и гляди, в глаз клюнет, дочка замуж выходит, и жених может засомневаться: летучих мышей развели, что же после регистрации будет...

— Звонить, товарищ полковник. Надо звонить. Срочно найти палеонтолога, археолога, зоолога или что-нибудь похожее и зазвать сюда, они эту тварь в золотую клетку посадят. Чудо — живой птеродактиль или как он там называется.

— Эй, погоди, товарищ Скрыпник, ты птицу на клетку не выменивай. Ключи давай, а то мне от коменданта...

— Что тебе комендант, дядя Михеич, когда ты входишь в историю...

— Не надо мне историев...

— А ключи твои лежат сейчас в каком-нибудь теплом доисторическом болоте, и бронтозавры, вздыхая, смотрят на них и вовсе не догадываются, что это ключи от будущего.

У Скрыпника слегка кружилась голова, и он чувствовал, что его врожденная скромность подвергается сейчас испытанию на перегрузку, словно кружился на центрифуге.

— Ваня,— жалобно сказал полковник,— времени-то больше десяти вечера. Где теперь взять палеонтолога? Это в милиции есть дежурный. А дежурных палеонтологов нет.

Полковнику было и весело и страшно. И верил он, и не верил, и стал как будто снова мальчишкой, и сердце билось в предчувствии новых тайн, и уже все казалось возможным и даже логичным. И даже то, что сейчас он, полковник Полупанов — два года до пенсии — будет искать ночью палеонтолога, чтобы предъявить ему живого птеродактиля.

— Позвоните в справочное. Узнайте телефон ну хотя бы Зоопарка. Потом узнайте, где можно найти какого-нибудь зоолога, потом палеонтолога. Детское занятие. Хотите, я сам...

Но полковник уже крутил диск телефона, стоявшего на столике вахтера. При этом он время от времени поднимал глаза на птеродактиля, словно искал поддержки в летающем ящере, сидевшем на доске приказов стереовизионного ателье.

После дюжины неудачных попыток он наконец записал телефон.

— 257-31-50. Профессор палеонтолог Анна Михайловна Зеленова.

— С богом,— перекрестил полковника бригадир настройщиков.

Полковник вздохнул и набрал номер. После третьего или четвертого гудка в трубке послышался сонный мужской голос:

— Алле...

— Это квартира профессора Зеленовой?

— Частично,— ответил голос.— Только в случае развода удастся выяснить, насколько она ее и насколько моя.

— Простите, но я вовсе не хотел...

— Я тоже. Как я догадываюсь, вам Анну Михайловну? Одну секундочку...

— Слушаю.— Голос теперь был женский, низкий, уверенный.

— Здравствуйте, профессор, с вами говорит полковник милиции Полупанов...

— Очень приятно...

— Я к вам по не совсем обычному делу.

— Слушаю.

— В том месте, где я сейчас нахожусь, сидит живой птеродактиль.

— В том месте, генерал, где вы, наверное, сидите, могут быть и мамонты.

В трубке раздались короткие и частые гудки. Полковник Полупанов покачал головой.

— Ну? — спросил Скрыпник.

— Что — ну? Не верит, конечно. Бросила трубку. И правильно, между прочим, сделала. Я бы тоже бросил. Господи, неисповедимы пути твои. Придется еще раз.

Полковник еще раз набрал номер.

— Профессор,— сказал он,— я вас понимаю. Вас поняли бы девятьсот девяносто девять человек из тысячи. Возьмите карандаш, запишите телефон милиции, позвоните туда и спросите, знают ли они полковника Полупанова. И они же дадут вам телефон, по которому меня сейчас можно отыскать. И если вся эта операция убедит вас хотя бы на три процента, хватайте немедленно такси и приезжайте сюда. Что? Рискнете и так? Чудесно. Ждем вас. Запишите адрес...

Ровно через десять минут в дверь позвонили, и Михеич впустил высокую властную женщину средних лет, смотревшую сурово и подозрительно. Была она в модных сапожках почти до колен и от того казалась еще выше.

— Я, разумеется, понимаю всю абсурдность моего приезда сюда,— сказала профессор глубоким контральто,— но...

— Да вы на птичку глянули бы сперва, чем шипеть,— буркнул Михеич и показал рукой на доску приказов.

Дама подошла к доске, близоруко приблизила глаза к листку бумаги, на котором было напечатано: «Предоставить очередной отпуск приемщице стереовизоров Карп И. И. с 18.9»

— Карп И. И.,— насмешливо сказала дама.— Карп И. И.— это очень интересно. Особенно с восемнадцатого девятого.

— Подыми глаза, только очки напрежде одень,— обидчиво сказал вахтер. Ему была неприятна и сама эта статная дама в кавалерийских сапогах, и ее пренебрежительное отношение к доске приказов — любимой спутнице его долгих одиноких ночей.— Очки, говорю, надень!

Профессор-кавалерист покорно вытащила из сумочки очки, ловко кинула их на переносицу, подняла глаза и вдруг заплакала. Всхлипнув несколько раз, успокоилась, вытерла маленьким платочком глаза и — куда только девалась властность — жалобно сказала:

— Вот и Петя говорит: поезжай срочно в санаторий, подлечи нервы, а то бог знает что наделаешь. А как я уеду, если их вдвоем и на день оставить нельзя? Вместо того чтобы сготовить обед, дуют часами в настольный хоккей. А тут эта галлюцинация...

— Это не галлюцинация,— тихо сказал полковник Полупанов.— И не надо оставлять их вдвоем, чтобы они часами играли в благородную настольную игру хоккей. Перед вами живой птеродактиль или что-то вроде этого.

То ли летающему ящеру надоели разговоры, то ли его обидело выражение «что-то вроде этого», но он шумно взмахнул крыльями, тяжело пролетел несколько метров и уселся на шкаф со спортивными трофеями ателье.

— Ну и что мне делать? — совсем уже жалобно спросила профессор и снова вытащила платочек.

— Ты профессорша, ты и определяй,— пожал плечами Михеич, и по жесту можно было догадаться, что хотя

вахтер и принял эмансипацию женщин и их равноправие, но не совсем одобрял их.

Анна Михайловна осторожно подошла к шкафу, почему-то ласково бормоча «цып-цып, цып-цып», внимательно посмотрела на уродливое существо, которое подозрительно косилось на нее, и вдруг закричала тонко и пронзительно:

— Птеродактиль! Летающий ящер! Кожистая перепонка с четвертого пальца передних конечностей!

Птеродактиль открыл зубастый клюв и злобно зашипел.

Профессор, роняя сумку и платочек, металась от Михеича к полковнику, от полковника к Ване Скрыпнику и все кричала:

— Вы понимаете? Нет, вы не можете понять!..

— Куды уж нам,— бормотал Михеич, но глаза его тоже подозрительно увлажнились.

— ...Никто не может понять. Живой птеродактиль в центре Москвы в сентябре тысяча девятьсот семьдесят седьмого года. Понимаете, в сентябре?

Почему именно сентябрь оказался столь неожиданным месяцем для появления древнего летающего ящера, было не ясно. Тем более, что до сих пор птеродактили не появлялись и в остальные одиннадцать месяцев, но все понимали чувства Анны Михайловны Зеленовой и молчали, боясь осквернить чистейший восторг ученого пошлой репликой.

— Голубчики вы мои, свидетели, окна и двери, христа-батюшки ради, вылетит — брошусь за ним!

— Вот вы, профессорша, думаете, что все знаете, а выходит, и не все,— ухмыльнулся Михеич. Чем больше он чувствовал свое превосходство над ученой дамой, тем больше она начинала ему нравиться, и сейчас он был положительно готов сделать для нее что угодно.— После двадцати одного все двери и окна закрыты, и этой летучей дактили деваться ровным счетом некуда.

— Спасибо, голубчик,— затрепетала палеонтолог.— Не знаю уж что мне для вас сделать.

— Не для меня, для науки трудишься,— великодушно сказал Михеич.— И не волнуйся, сбережем птичку.

— Может быть, покормить ее чем-нибудь? — спросил полковник.

— Что вы, что вы,— испуганно замахала руками Ан-

на Михайловна,— как я могу взять на себя такую ответственность? Утром соберется ученый совет, он и выработает меню.

— Смотрите, чтоб не сдохла пока птичка,— участливо сказал вахтер.— А то пока согласовывать будут... Она раньше-то без ученых советов жила. Ну давай, давай звони...

Профессорша, глядя одним глазом на птеродактиля, а другим на телефон, принялась крутить диск.

— Ну, товарищ полковник, в пространстве мы уже начинаем ориентироваться. Осталось еще время...— вздохнул Ваня Скрыпник.— Как по-вашему, сколько мне дадут за научное хулиганство? Год условно? Ну ничего, до Стокгольма успею...

## *Глава 12*

Вторая ночь. Смерть все не приходила. Синон лежал на боку, подогнув колени. Было холодно, и его трепал озноб. Волны тошнотворной слабости одна за другой накатывались на него, каждый раз унося с собой крупицы сознания. Руки, связанные за спиной, уже не причиняли боли, должно быть, потеряли чувствительность.

Низкие растрепанные облака неслись над самой ямой. Начался дождь. А если будет ливень, вяло подумал Синон, что тогда? А ничего. Просто он захлебнется жидкой грязью на дне этой ямы, и даже собаки будут смотреть на него с отвращением.

Вот, собственно, и все. Не длинную же нить жизни соткали ему Мойры. Мойры... и царь Одиссей. Многомудрый и богоравный Одиссей. Герой, предводитель... Лежит, наверно, сейчас на теплой, шелковистой овчине в своем шатре и дрыхнет. И что ему за дело до какого-то человека, ждущего, пока не потонет в помойной яме.

И все-таки Синон не чувствовал ненависти к царю Итаки. Он старался распалить себя, зная, что гнев заставляет забыть о боли, но гнева не было. Одиссей... А может быть, он действительно уверен в подлинности писем? Может быть, это все Эврибат, горбун глашатай?

Мысль была абсурдной, но подсознательно Синон хватался за нее. Ну конечно же, горбуны всегда ненавидят

весь мир. Скорее всего, Одиссей действительно поверил письмам. Поверил, и все тут. А раз уж поверил, то тогда и действовал он правильно. Даже мягко слишком. Мог забить камнями, как Паламеда. Паламед... В конце концов те письма все-таки могли быть настоящие... Ведь кому были выгодны разговоры о возвращении домой?

И смотрел на него, на Синона, Одиссей печально. Как-никак были друзьями... Или все-таки он мстит ученику и земляку Паламеда? Нет, не может этого быть. Одиссей так велик и славен, что... Горбун Эврибат — вот кто виноват во всем, урод, от которого не только что женщины — лошади шарахаются.

Сверху, на краю ямы, послышался шорох. Синон поднял голову, но различил во влажной тьме лишь какую-то тень. Собаки, наверное. Ждут не дождутся.

Тень выросла, замерла на мгновение на краю ямы, должно быть прислушиваясь, потом легко спрыгнула на дно.

— Кто это? — пробормотал Синон, чувствуя, как его заливает смертная истома. Сейчас тускло блеснет нож, короткий взмах рукой...

И точно. Откуда-то из-под темного длинного плаща тень вытащила нож, с трудом перевернула Синона на живот — о как страшно прикосновение мокрой глины к губам...

— Не на-адооо,— завыл Синон, и тело его забилось, задергалось в слепом нестерпимом ужасе смерти.

Человек нагнулся над Синоном и, тяжело дыша, разрезал сыромятные ремни, стягивавшие его кисти. Потом принялся за ноги.

— Беги,— прошептал он.— Никого нет.

Синон попробовал встать, но ноги не держали его, и он снова медленно опустился в грязь.

— Беги! — уже с угрозой сказал человек и снова достал из-под плаща нож.— Беги же, дерьмо собачье! Встань!

Дрожа и покачиваясь, Синон поднялся на ноги и положил руки на края ямы. И в то же мгновение человек в плаще вышвырнул его из ямы.

— Нá,— прошептал он,— держи! — Рядом с Синоном на размокшей земле блеснул длинный нож.— Беги!

Голос человека, закутанного в плащ, был странно знаком. Кто это? Кто мог бы прийти ему на помощь?

Синон поднялся на ноги, одной рукой сжимая нож, другой отирая с лица глину. Вперед, бежать, пока не передумал этот человек со знакомым голосом. Подальше отсюда, к стенам Трои, к теплу очага, к жизни. Ноги его разъезжались на осклизлой земле, и он снова и снова падал. Ему казалось, что он бежит, а он лишь еле плелся, падая и вставая, выплевывая изо рта глину, отфыркиваясь. Острая жажда жизни, которая уже начала покидать его в яме, вернулась и все гнала и гнала его, заставляя дрожать от слабости и ужаса. Каждое мгновение он обмирал, ожидая окрика, удара, но никого не было. Лагерь ахейцев, казалось, вымер. Дождь, дождь кругом, только шорох его и чавканье глины под ногами.

Ему не хватало воздуха, сердце выпрыгивало из груди, но он все шел, падал, полз, не смея перевести дыхания, не смея оглянуться. Он потерял ощущение времени, и ему начинало казаться, что он всегда так брел в ночном дожде и будет идти всегда, не зная куда и зачем.

* * *

— Дайте ему вина,— сказал Ольвид,— и принесите чистый хитон вместо этой грязной тряпки.

Сквозь сон Синон почувствовал, как в рот ему влили с полкружки вина, он закашлялся и открыл глаза.

— Переоденься,— сказал лысый старик, сидевший перед ним, и Синон торопливо повиновался.

— Откуда ты и как тебя зовут?

— Я родом с Эвбеи, меня зовут Синон. Я был другом царя Паламеда, казненного по приказу Одиссея.

— Как ты попал сюда? Тебя нашли без сознания у самых стен Трои.

— И меня, как Паламеда, обвинили в предательстве.

— Почему ты остался жив?

— Не знаю. Меня бросили в яму, связав руки и ноги, и я валялся в ней, ожидая смерти, но сегодня ночью кто-то перерезал ремни на моих руках и ногах и приказал мне бежать. Посмотри на мои руки, вот следы от ремней.

— Вижу,— скучно сказал Ольвид и так же скучно добавил: — Вы что там, совсем нас за глупцов считаете?

— Не понимаю, господин,— пробормотал Синон.

— Сейчас поймешь.

Ольвид, кряхтя, встал, растирая поясницу. На нем был

желтый хитон с двойной черной каймой по краям. Слегка согнувшись в поясе, он медленно подошел к Синону и неожиданно ударил его кулаком в лицо. Голова Синона дернулась, и он почувствовал солоноватый вкус на губах.

— Теперь понимаешь? — лукаво и даже ласково спросил старик и погладил свою огромную розоватую лысину, обрамленную венчиком седых волос.

Синон молчал. О боги, что он сделал? Почему судьба так жестока к нему? Собраться с силами и размозжить этому старику голову! Зачем? Там ведь за дверью стражники. Да и в конце концов он имеет право подозревать его... Приполз ночью из стана греков. Говорит, что кто-то освободил его... О боги... Но должны же они разобраться...

— Что же ты молчишь, друг Паламеда? Эй, стража!

В комнату вошли двое и остановились, тупо глядя на Ольвида.

— Ты звал, господин?

— Принесите бичи, только потяжелее, из воловьих жил,— сказал начальник царской стражи и принялся растирать поясницу.— Ох-ха-ха, старость...

Стражники вернулись, держа по длинному бичу, и выжидательно смотрели на Ольвида. Тот кивнул головой, и в то же мгновение раздался тонкий свист, и острая жгучая боль опоясала Синона. Он бросился на колени:

— Господин, убей меня, но я говорю правду, истинную правду. Меня оклеветали, Одиссей обвинил меня в измене...

— Ты когда-нибудь перечил ему, становился на пути? Он в чем-нибудь завидовал тебе?

— Нет, господин.

— Почему же он возвел на тебя поклеп?

— Не знаю, может быть, это горбун Эврибат, его глашатай...

— Глупость... Когда тебя обвинили?

— На совете у Агамемнона, царя микенского. Одиссей предложил построить коня...

— Какого коня?

— Деревянного коня, полого изнутри, посадить в него воинов и оставить под стенами Трои, чтобы троянцы втащили коня в город.

— Воистину, нет предела фантазии людей, когда они смотрят на бич,— вздохнул Ольвид и кивнул головой.

Снова короткий взмах, и снова багровая полоска бо-

ли обвила грудь Синона. На коже выступили капельки крови.

— Клянусь тебе, господин, клянусь. Ведь я уже много раз умирал там, в яме, и по дороге сюда. Зачем мне лгать?

— Тебе, может быть, и не нужно лгать, согласен,— пожал плечами Ольвид.— Но Одиссей... Эй, стража, позовите царя Приама... Скажите, что здесь перебежчик с важными сведениями... Садись пока, Синон. Кто знает, может быть, тебя придется казнить, и ты еще настоишься... Эх-хе-хе, люди, глина — все одно. И я посижу, подожду царя священного Илиона.

В комнату вошел Приам. Глаза у него были сонные, и он на ходу поправлял пурпурную мантию, наброшенную на плечи. Он недовольно посмотрел на Ольвида, поежился.

— Холодно у тебя тут, Ольвид. И факелы чадят, того и гляди, задохнешься.

— Прости, царь Приам, что твой верный раб обеспокоил тебя в столь ранний час.— Ольвид низко поклонился.— Но вот этот человек, называющий себя Синоном, рассказывает странные вещи. Он говорит, будто Одиссей предложил построить огромного деревянного коня, полого изнутри, поместить туда воинов, сделать вид, что греки ушли, и ждать, пока мы втянем чудище в город.

— А почему мы должны втащить его в город?

— Потому что на коне будет написано, что он приносится в дар Афине Палладе и что в нем священный палладий, похищенный у вас Одиссеем и Диомедом,— торопливо объяснил Синон.

— Это так, Синон? — нахмурился Приам, рассматривая багровые полосы на теле эвбейца.

— Истинно так, о повелитель Троады,— прошептал Синон.

— Что было сначала, разговор о коне или обвинение в измене?

— Сначала цари обсуждали план хитроумного Одиссея и одобрили его, а потом уже итакийский царь возвел на меня напраслину. Вы-то уж это точно знаете, что не получал я золота из Трои.

— Это так, царь Приам,— вставил Ольвид.

— И цари поверили Одиссею?

— Да, царь.

— И тебя не побили камнями?
— Нет, меня бросили в яму.
— И этой ночью ты бежал?
— Да, царь.
— Как ты выбрался из ямы?
— Кто-то пришел в темноте, разрезал путы на моих руках и ногах и приказал мне бежать. И даже вытолкнул меня из ямы, ибо я был слаб и с трудом мог стоять на ногах.
— Ты знаешь, кто это был?
— Не-ет, царь. Было темно. Человек был в плаще и прятал лицо.
— Какого роста он был?
— Подожди, царь, дай мне сообразить... Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что он был невысокого роста...
— Он поднял тебя и вынес из ямы?
— Нет... Когда я оперся руками о край ямы, он поднял мои ноги и помог мне вылезти.
— Чувствовал ли ты в нем огромную силу?
— Не знаю... Я ждал смерти.
— Подумай!
— Обожди, теперь я вспоминаю, что он тяжело дышал, когда разрезал ремни на моих руках...
Приам посмотрел на Ольвида и сказал:
— Это был горбун Эврибат, глашатай Одиссея...
— Ты прав, как всегда, царь Приам,— восхищенно прошептал Ольвид.— Но почему Одиссею нужно было сначала обвинить этого человека в измене, а потом помочь бежать?
— Для того, чтобы Синон попал к нам и рассказал о деревянном коне.— Приам хитро улыбнулся и потер руки.— Измена — это лишь тонкий ход. Если бы Одиссей хотел отделаться от этого эвбейца, он бы тут же казнил его. Нет, Одиссею нужно было, чтобы мы узнали о коне.
— Да, царь, но почему он не мог просто отправить к нам своего человека под видом перебежчика?
— Да из-за твоих бичей. Всем известно, что после пятого удара любой начинает говорить правду.
— Значит, простой лазутчик признался бы, что его научил Одиссей? А Синон говорит правду и, сколько бы ни получил ударов, он будет говорить одну только правду? Не понимаю, царь...

— Ты глуп, Ольвид. Верен мне, но глуп. Послушай. Вот что думал Одиссей: он строит коня, приносит его в дар Афине Палладе и помещает внутрь священный палладий. Мы же должны узнать от Синона, что внутри воины, разрушить чудовище и тем самым разгневать дочь Зевса. Что ты скажешь, старик, прав ли твой царь? А ведь у кого палладий, тому покровительствует Афина, и тот непобедим. Причем заметь, Ольвид, хитрость Одиссея. Он не доверяет никому. Все базилевсы должны тоже быть уверены, что в коне люди... Поэтому-то он устроил всю эту комедию.

Ольвид закрыл глаза, воздел руки над головой и упал на колени.

— О боги,— простонал он,— может ли один человек, даже великий царь, быть вместилищем такой пронзительной мудрости?

— Встань, Ольвид,— устало улыбнулся Приам.— Одиссей вздумал перехитрить меня. Безумный!

Начало светать, и стражники погасили факелы. Душная вонь поплыла по комнате. В дверь кто-то заглянул и, увидев царя, бросился на колени:

— Царь, греки покинули свой лагерь. Он пуст. Исчезли и корабли. У берега стоит деревянное чудище, похожее на коня. Если присмотреться, его можно увидеть даже со стен.

— Идем! — крикнул Приам и бросился из комнаты.

Синон медленно сел на скамейку. Значит... значит, он был просто игрушкой в руках Одиссея. Им воспользовались. Сделали его приманкой. Били, скручивали руки ремнями, бросили на дно грязной ямы — и все лишь для того, чтобы ему поверили стражники Приама... Что ж, хитроумен царь итакийцев, ничего не скажешь, многомудр... Но только Приам разглядел его насквозь...

В нем не было гнева и теперь. Была лишь бесконечная усталость и бесконечная тоска. Ему не хотелось ничего. Лечь бы, закрыть глаза и спать, спать, спать. И не будет падающего Паламеда, и не будет его пальцев, царапающих песок, не будет ямы с чавкающей под ногами глиной, не будет бичей из воловьих жил, не будет укусов боли, вспыхивающей от удара сразу вокруг всего тела, не будет коня, глупой пустой затеи итакийца, ради которой было все и не было ничего. И конь плывет на него, мотает головой, и на морде у него комья глины, и

огромный муравей несет в жвалах горбатого глашатая, и Паламед снова падает, все-таки падает и царапает песок, скребет его ногтями.

### *Глава 13*

Работы в это время дня обычно бывало немного. Вот вошел невысокий человечек с седыми висками, раз-другой в месяц появляется, не чаще, сначала осмотрит весь прилавок — деликатный видно,— а потом уже спросит: нет ли конфет «Шоколадный крем»? А их почти никогда нет, не завозят.

— Скажите, пожалуйста, нет ли «Шоколадного крема»?

Екатерина Яковлевна даже улыбнулась:

— К сожалению, нет.

— Тогда, будьте добры, двести граммов «Мишек».

Интересно, кому это он. Жене, наверное. Ребятам и карамельки бы подошли или, уж куда лучше, шоколадки с самолетом или автомобилем. Может быть, оттого, что спрашивал этот человек самые дорогие конфеты, но жену его Екатерина Яковлевна представляла себе маленькой, злобной и обязательно сидящей с ногами на диване.

К стеклу прилавка приникли два мальчугана. У одного, постарше, лицо тоненькое, глаза ясные, умненькие. У второго, поменьше, джинсы спустились, так что пупок виден из-под трикотажной рубашечки. Ну и глаза у него! Большие, круглые, с мохнатыми ресницами. Лет через десять держитесь, девчонки! Братья, наверное. Старший младшего за руку держит. Одной рукой держит, а другую сжал в кулачок, наверное полтинник в нем. Стоят, шепчутся, выбирают, никак выбрать не могут. Хороши ребятишки, ничего не скажешь.

— А вы чего не в школе? Вот сейчас я вас! — грозно говорит Екатерина Яковлевна, делая свирепое лицо.

Улыбаются оба, словно лампочки маленькие зажглись.

— Это вы шутите,— говорит старший.— Это юмор.

Вот те малыши! Юмор, говорит. Юмор... Ей бы внуков таких... Собирать утром в школу, возиться с ними, ссориться даже...

Екатерине Яковлевне становится грустно. Выросла дочь, ученая стала, аспирантка. Не поймешь, где живет, то ли с матерью, то ли в своей Трое. И рассеянная стала какая-то, порывистая. То нагрубит, то зацелует. Завидую, говорит, мать, сладкая у тебя жизнь в кондитерском отделе, дольче, говорит, вита. Дольче оно, может быть, и дольче, а виты все-таки нет. Уходит дочь, рвутся ниточки. Да так оно и бывает. Не Машка ведь, а Мария Тиберман, аспирантка... Вот если бы вышла замуж, ох как понадобилась бы им Екатерина Яковлевна, тем более что через год на пенсию. А то ведь они теперь все больше глазки подводить, а мужу рубашку накрахмалить — это тебе не косметика.

Незаметно мысли ее переходят на троянца, и ей становится еще грустнее. Не поймешь, то ли имя, то ли фамилия, а об отчестве лучше и не спрашивай. Абнеос... Это муж дочери, Абнеос... Что, что? Кем, вы говорите, он работает? Нет, это не профессия. Это имя. Он, понимаете ли, из древней Трои. В посольстве, что ли? Как вам сказать, у нас ведь с Троей отношений нет, она погибла... А нашей соседки зять не то в Мали, не то еще где-то два года проработал, жара, рассказывает, страшная, и машину купил...

Нет, так он, конечно, мужчина видный, с бородой. И добрый, улыбается так извинительно. А что шорник, то мало ли что. Вон и академики есть, что до революции при царе овец пасли. Вот имя только... Это как же с детьми будет? Скажем, Александр Абнеосович или Галина Абнеосовна Абнеос... Гм...

А в смысле работы, устроят его, не может быть иначе. Уникальный все-таки специалист, троянец, можно сказать, живой. А Машеньке вопросы в голову и не идут. Прямо помешалась девка. И так и сяк крутится, словно на пружинах, перед зеркалом вертанется, коленки из-под юбки торчат, и помчалась, сияет.

Любит его, дурака. Ну и пусть любит, пока любится, доченька родимая, одна ведь она осталась у нее, жизнь вся ее...

Внезапно в кондитерский отдел влетает Машенька, прижимается лицом к стеклянному колпаку прилавка и замирает.

— Машенька, деточка, господи, что с тобой?

Дочь только мотает головой, и слезы текут по стеклу.

Хорошо, что покупателей нет, боже, что же это такое, что случилось...

— Доченька, да успокойся же ты...

— Он, он... говорит: я тебя люблю, но дома у меня жена... Хоть и змея, говорит, но жена...

У Екатерины Яковлевны отлегает от сердца. Уф, и вздохнуть можно, словно заслонка какая в груди открылась. А то уж испугалась, не выгнали ли из аспирантуры. Жалко, конечно, дочку, но Александр Абнеосович Абнеос...

* * *

Кадровик Иван Сергеевич Голубь скромно, но с достоинством поздоровался с директором института и раскрыл голубую папочку.

— Модест Модестович, вы приказали мне трудоустроить гражданина Абнеоса...

— Не приказал, а просил, товарищ Голубь...

— Слушаю, просили...

— И прекрасно. Проект приказа подготовили? Давайте, я подпишу.

— Видите ли, Модест Модестович...

— Я еще ничего не вижу, дорогой мой товарищ Голубь, ровным счетом ничего.

— Понимаете...

— Ничего не понимаю.

Иван Сергеевич Голубь вздыхает. Поработай с таким директором. Ни нюансов, ни тонкостей не понимает. Этого сюда, этого туда. Ни подхода, ни анализа, ни оценки кадров. Конечно, член-корреспондент. Величина. Но нельзя же так прямо: этого сюда, этого туда. Не отдел кадров, а бухгалтерия какая-то. Кандидат? Труды есть — работник, давай его выдвигай! А что он за человек, этот кандидат? И откуда видно, что работник хороший? Флавникова, говорит, надо послать на конгресс троянологов в Варну. Хорошо, допустим. А тот смеется: «Шерстяными купальными трусами с рыбкой обеспечьте,— говорит,— тогда поеду. Не могу,— говорит,— уронить честь ИИТВа в растянутых плавках». Вот и работай...

— Понимаете, Модест Модестович, если рассмотреть проблему трудоустройства гражданина Абнеоса...

Модест Модестович шумно выпускает из себя воздух, плотнее усаживается в кресло, как бы подчеркивая, что

сидит в нем он, Модест Модестович, а не кто-нибудь другой, и со страшной учтивостью говорит:

— Товарищ Голубь, давайте рассмотрим гражданина Абнеоса во всех аспектах.

Шутит, кривится про себя кадровик. Член-корреспондент. Был бы он членом-корреспондентом, он бы показал им, как нужно шутить. Он шутит, а влепят-то за этого грека ему, Голубю, а не Модесту Модестовичу! Вот и шути шутки.

— Видите ли, возникают некоторые трудности. Вы хотели назначить его младшим научным сотрудником. Но ведь гражданин Абнеос не имеет высшего образования. И даже среднего. И даже неполного среднего. И даже начального! — Голос кадровика окреп. Казалось, перечисляя то, чего не имел кандидат на вакансию, он каким-то таинственным путем сам приобретал что-то необычайно важное и значительное.

— Ну и что? — спокойно спросил директор.

— Как это что? — удивился кадровик.— Если мы начнем зачислять научными сотрудниками людей без образования...

— Но ведь Абнеос не просто гражданин такой-то. Он живой троянец! Уникальный случай в мировой истории! Неслыханный! Живой свидетель царя Приама и Ахиллеса! А вы — образование!

— Но мы, Модест Модестович, по-моему, должны подбирать научные кадры не по принципу знакомств и связей, а по чисто деловым качествам.

— Браво, товарищ Голубь! Браво, браво! Значит, личное знакомство с Гектором и Андромахой — вещь предосудительная...

— Не знаю,— хмуро пожал плечами Иван Сергеевич.— Я, знаете ли, не всегда быстро ориентируюсь... Когда в прошлом году пришла девушка с запиской от товарища Логофета, вы не хотели и говорить об ее назначении на должность младшего научного сотрудника. С другой стороны, как вы говорите? Товарищ Гектор?

— Да, товарищ Гектор, товарищ Андромаха и товарищ Приам.

— Модест Модестович,— голос кадровика дрогнул,— я нахожусь при исполнении служебных обязанностей...

— Иллюзия, дорогой товарищ Голубь, фантом, фата

моргана! Вы не можете находиться при исполнении служебных обязанностей, поскольку не понимаете их!

— Если вы так считаете... Я давно уже замечаю, что вместо серьезного подхода к вопросам кадров, вы, Модест Модестович, скатились! Да, да, скатились!

Иван Сергеевич уже ничего не боялся. Переступив какую-то грань, он вдруг почувствовал отчаянную веселость, легкость какую-то — вот-вот взмахнет крыльями и взлетит.

— Это я скатился? — Модест Модестович медленно встал во весь свой огромный рост, надменным движением головы откинул со лба прядь седых волос и крикнул неожиданным фальцетом: — Извольте объяснить, уважаемый товарищ Голубь, куда именно я скатился?

— А в болото! — задорно и бесстрашно выкрикнул кадровик.

— В бо-ло-то? — Модест Модестович страшно завращал глазами.— В бо-ло-то? Что вы хотите этим сказать, мстивый гсдарь?

— Я не мстивый гсдарь, а сотрудник института и прошу меня не оскорблять!

— Отлично, я не буду вас оскорблять, товарищ Голубь, но и вы... Налейте мне, пожалуйста, воды... Что-то сердце...

Иван Сергеевич вдруг почувствовал жалость к этому большому седому ребенку, почувствовал свое превосходство зрелого человека и ощутил даже потребность сделать для него что-нибудь приятное. Чувство это было уже ему знакомо, ибо ссорились они не раз и всегда расставались умиротворенные и притихшие, как после парной бани.

— Пожалуйста, выпейте, Модест Модестович.

Неуверенным движением слабой руки — Модест Модестович был хорошим актером и знал это — директор поднес стакан к губам и отпил глоток воды. На лице его были написаны отрешенность от мелких земных забот и прощение всем тем, кто так безжалостно толкал беспомощного старика к могиле.

И хотя Иван Сергеевич видел этот этюд по меньшей мере раз пятьдесят, он все-таки начинал чувствовать себя виноватым в чем-то таком, что не мог себе объяснить.

— Так как же с гражданином Абнеосом? — спросил Иван Сергеевич.

— Я же сказал вам, подготовьте приказ,— кротко прошептал Модест Модестович и прикрыл глаза веками.

— А подданство? — быстро спросил кадровик, словно метнул лассо.— Он ведь иностранный подданный.

— А вовсе и нет,— ловко уклонился от лассо директор. Глаза его были уже открыты и смотрели на Ивана Сергеевича холодно и настороженно, как смотрят, наверное, ветераны-змееловы на откормленную гюрзу.— Как он может быть подданным государства, которое перестало существовать три тысячи лет назад?

— А что сейчас на месте Трои? — твердо спросил Иван Сергеевич.

— Гиссарлык, где когда-то была Троя, находится на территории Турции.

— Значит, гражданин Абнеос турок.

— Турок?

— Да, турок.— В голосе Ивана Сергеевича зазвучала прокурорская медь.

— А может быть, не турок, а казак? — Модест Модестович теперь сочился сарказмом.

— В каком смысле? — удивился Иван Сергеевич.

— В смысле «Запорожца за Дунаем». Помните? Нет, я не турок, а казак...

— Модест Модестович, мне кажется...

— А мне кажется, что пора перестать мучить старика и подготовить приказ.

— Хорошо,— вздохнул Иван Сергеевич,— на должность истопника.

— Через мой труп! — крикнул директор ИИТВа и живо представил себе, как он, Модест Модестович, лежит на полу, а кадровик Голубь осторожно переступает через него, стараясь не зацепить ногой его седые волосы.

— Может быть, шорником по трудовому соглашению? — сказал Иван Сергеевич и вдруг заплакал.

— Что с вами, голубчик? — испугался Модест Модестович.

— Ни-чего,— всхлипнул кадровик и понял, что жизнь уже прожита.

— Антенор, проснись! — Кассандра дотронулась ладонью до лба старика, и тот медленно открыл глаза. Закашлялся, дергаясь всем телом, и наконец с трудом поднялся со своего соломенного ложа.

— А, это ты, девочка... Что случилось?

— Антенор, час наступил. Греки ушли, и на берегу стоит деревянный конь. Тот, о котором рассказывал Александр.— Кассандра говорила, захлебываясь словами, дрожа от возбуждения. Ее огромные глаза одержимо сверкали.— Значит, так и будет. Мы обречены. Отец допрашивал грека Синона и уверен, что раскрыл замыслы Одиссея. Он уверен, что в коне священный палладий и что, втащив его в город, он сделает Трою непобедимой. Это гибель, старик, это смерть! Она придет, я знаю, потому, что ход истории не остановить, но сидеть и ждать, и слышать заранее треск горящих бревен, от этого можно сойти с ума... Ты мудр, Антенор, ты стар, ты знаешь все. Научи меня, научи, прошу тебя...

— Не нужно, девочка, вытри слезы, ты ими не погасишь огня. И не говори, что ход истории не остановить...

— Но ты же знаешь, я видела гибель Трои! И Александр не думает, но знает! Он же пришел из будущего!

— Ни в чем нельзя быть уверенным, девочка, даже в том, что знаешь, и в том, что видел. То, что для одного гибель — для другого не гибель...

— Не лукавь, Антенор, детские трупики — это для всех. Научи меня, что делать, заклинаю тебя именем всех богов.

— Не знаю, девочка...

— Ты... ты не знаешь? Почему же тебя считают мудрецом?

— Наверное, потому, что я не знаю больше других...

— Старик,— глаза Кассандры гневно сверкнули,— мне не нужно слов, круглых, как морская галька. Ты сможешь пойти на берег и открыть коня?

— Ты ведь знаешь, я под стражей.

— А если я выведу тебя отсюда?

— Меня схватят по дороге.

— Это верно.— Плечи Кассандры опустились, взгляд потух.

Возбуждение покидало ее и вместо него приходила апатия. Сладкая тихая апатия, оправдывающая все и снимающая с сердца невыразимую тяжесть предвидения. До этой минуты она чувствовала огромное напряжение, словно упиралась ногами в землю, затыкая собой щель в плотине. Но напор сильнее ее. Ее отбросило в сторону, и вот уже тугие витые струи бьют через отверстие, размывают его, вот-вот поток прорвет плотину и хлынет бурлящей смертью, унося всех и все. И ее и Александра. И руки его, что, прикасаясь, посылали по ее спине ручейки сладкой дрожи, и глаза, в которых мерцала такая нежность к ней, что каждый раз, взглянув на них, она чувствовала, как у нее обрывалось сердце и куда-то падало, оставляя тревожно-сосущую пустоту... Александр, Александр, чужак, далекий, странный и любимый. Только еще раз увидеть его, только положить голову ему на грудь, только стиснуть руки у него на шее и прижаться к нему, забыть все.

Антенор вытер краешком грязного хитона глаза. То ли слезились они от старости, то ли навернулась слеза — кому до этого дело?

— Девочка,— тихо сказал он,— пойди к Лаокоону, жрецу Аполлона. Он мой друг. Он суров и упрям, это верно, но в нем нет страха. Пойди к нему и расскажи ему.

— И ты думаешь?..

— Не знаю, дочь. Не знаю. Иди.

* * *

Над покинутым лагерем греков висело облако тяжелой вони. Смердили кучи отбросов, неубранные трупы коней. Голодные, худые собаки неохотно отбегали, оглядываясь на небольшую группу троянцев, в безмолвии стоявших на берегу. Глубокие борозды, пропаханные кораблями в прибрежном песке, казались следами неведомого исполинского плуга. Возле каждой борозды валялись полусгнившие подпорки, которые поддерживали суда на берегу.

Деревянные жилища зияли сорванными дверями и крышами. Спешно, ох, должно быть, спешно уходили в море ахейцы.

Но взоры Приама и Ольвида были прикованы не к

картине брошенного лагеря, а к деревянному чудищу, похожему формой на гигантского коня. Четыре массивных бревна-ноги стояли на утрамбованной земле, а бочкообразное туловище венчалось угловатой головой. Слегка пахло свежеструганными досками.

— Что это начертано на боку у коня? — медленно спросил Приам, близоруко прищуриваясь.

— «Этот дар приносят Афине Воительнице уходящие данайцы»,— прочел Ольвид.— Больше ничего, царь.

— Ольвид, пусть никто не подходит к коню, не смеет касаться его. Я силой своего ума, мудростью, дарованной богами, проник в злокозненные и хитроумные планы Одиссея. Дар Афине в наших руках, дар вместе со священным палладием. Война кончилась, Ольвид. Осада снята.— В глуховатом голосе Приама слышалась усталость. Десять лет войны. Десять лет осады. Скрип колесниц, храп коней, пение стрел, кровь, пот, судороги смерти. Он, Приам, на коленях перед Ахиллесом просит отдать для погребения тело Гектора, старшего сына. Жизнью рисковал, Троей, унижался, молил надменного Ахиллеса. Гектор, сын... Любимый... Погиб... И Парис, кровь родная, всегда с улыбкой, глаз не отвести... Погиб... Костры, костры, сотни погребальных костров, горьковатый со зловещей сладостью дым, уходящий в небо.

Приам оглянулся. Стены города хорошо были видны отсюда. Десять лет манили они безумных греков, десять лет бросались отсюда на штурм и снова откатывались к кораблям зализывать раны, нанесенные копьем приамовым.

Царю было грустно, но грустью легкой и торжественной, грустью победной и утоляющей боль. Стар он стал, утомился от жизни. Теперь, когда вдыхал он вонь брошенного лагеря данайцев, вдруг почувствовал, что недалек последний его день. Но страха перед небытием не было. Устал, ах как устал старый царь. И священная Троя, основанная дедом его Илом, отныне в безопасности. Отвел он греческую грозу. Ушел и надменный царь микенский Агамемнон, и старый царь пилосский Нестор, и итакиец Одиссей, возомнивший себя богоравным в хитроумии. Все ушли, оставив горы золы от погребальных костров. Удрали, надеясь на попутный ветер. Исчезли, испарились, будто и не было никогда тысячи кораблей с несметным войском. Только не стоят рядом с ним

сейчас Гектор и Парис, плоть родная... Не радуются победе.

— Охраняй коня, Ольвид,— снова повторил царь Приам начальнику стражи.— Тронет его кто, прогневает Афину, головой своей ответишь плешивой. Понял?

— Да, царь, не беспокойся.

— И пошли в город за самой крепкой тележкой, на которой возили раньше камни для построек И пусть пришлют самых сильных коней. Попробуй-ка сдвинь эдакую махину с места.

— Слушаю, царь, не беспокойся.

— И пусть в городе разведут костры, жарят целых быков и выкатят бочки вина.

— Слушаю, царь, все будет сделано так.

— И пусть... Что это за шум? Кто это?

Коренастый человек в хитоне жреца отталкивал стражников, которые преградили ему путь.

— Это, кажется, Лаокоон, жрец Аполлона,— пробормотал Ольвид, приставляя ладонь ко лбу, чтобы не мешали лучи солнца.— Да, он.

— Что ему нужно здесь? — недовольно спросил Приам, повернулся и пошел к спорящим.

Лаокоон, лицо в зверообразной смоляной бороде, взор суров и диковат, отпихивал стражника.

— Дай дорогу жрецу Аполлона, несчастный! — кричал он.

Ольвид по-старчески семенил к жрецу, подбежал, махнул рукой стражнику: понимать надо, царь смотрит.

— В чем дело, жрец? — нахмурился он.— Стражники получили приказ никого не подпускать к чудищу. Что тебе нужно здесь?

— Что мне нужно? — насмешливо переспросил жрец, и желваки катнулись под его скулами.— Глаза вам открыть, вот что!

Ольвид нахмурился. Безумец. Хорошо, что не слышал Приам, не подошел еще.

— Успокойся, жрец, ты не в храме, а перед царем троянским.

— Для того я и здесь. Царь,— повернулся он к Приаму,— опомнись, царь. Как можно верить грекам? Бойся их, даже дары приносящих! Неужели ты думаешь, что Одиссей настолько глуп, чтобы...

— Замолчи! — гневно крикнул Приам.— Я вижу, ты и

сыновей малолетних привел — вон они двое,— чтобы посмеяться над царем. Как смеешь ты говорить...

— Смею, царь! — крикнул жрец.— Не ты мне господин, а бог Аполлон, которому приношу я жертвы в храме.

— Ну и иди в свой храм,— тихо и зловеще проговорил Приам.— Жрецы много воли взяли... Не поймешь, кто правит городом — он, Приам, или жрецы.

— Ты слеп, ты не видишь беды,— так же тихо и зловеще ответил жрец.— Прикажи открыть чрево идола и увидишь там воинов. Не священный золотой палладий, охраняющий города, а медное оружие, завоевывающее их. Прикажи, царь, молю тебя! — Суровое, из дерева высеченное лицо Лаокоона сморщилось, в глазах вскипели слезы.

— Не плачь, Лаокоон, не гневи богов. В день победы ты полон гнева и скорби. Почему? Может быть, не радостно спасение нашего священного Илиона? Пойми, жрец, именно на это рассчитывал Одиссей. Он сделал все, чтобы мы поверили, будто в коне воины, вскрыли его чрево и разгневали тем самым Афину Вонтельницу. А гнев богини... То, чего не могли сокрушить греки, вмиг сокрушила бы богиня. Но я, Приам, силой ума проник в злокозненные планы Одиссея и обратил их против греков. Мы не тронем коня, а втащим его в город и сделаем священный Илион неприступным во веки веков.

— Нет,— упрямо сказал жрец,— я не верю грекам. Надо посмотреть, что в коне. Там воины. Там сам Одиссей с дюжиной товарищей...

Приам засмеялся, ему скрипуче вторил Ольвид, а за ними засмеялись и угрюмые обычно стражники, которые, опершись на тяжелые копья, следили за спором.

— Одиссей, Одис-сей... — Приам схватился за бока, а Ольвид даже согнулся от пароксизма смеха.

Лицо Лаокоона на мгновение окаменело, потом исказилось гримасой гнева. Быстрым движением он выхватил копье у ближайшего к нему стражника и, прежде чем кто-нибудь успел ему помешать, с силой метнул в деревянного коня. Чудище дрогнуло от удара, и изнутри послышался слабый металлический звон.

— Слышите? — крикнул Лаокоон, глядя словно завороженный на тяжелое копье, которое все еще дрожало, вонзившись в дерево.— Слышите звон? Это оружие!

— С тобой Одиссею было бы легче,— с презрением сказал Приам.— Для того-то и положил он внутрь коня несколько кусков бронзы, чтобы приняли мы их лязг за звон оружия. Но хватит, жрец. Уйди! Иначе я прикажу убить тебя!

— Слепец ты, царь, глупый слепец! Смотри! — Он бросился к коню, но Ольвид, словно ожидая этого, неловко швырнул вслед ему копье. Медный наконечник ударил жреца в спину, и тот упал. На лице его застыло выражение недоумения и испуга.

— Отец! — послышались детские пронзительные вопли, и две маленькие фигурки метнулись сквозь цепь стражников к распростертому жрецу. Упали с разбе-

гу, уткнулись головками в тело, словно сосунки, заголосили.

Лаокоон уперся руками о землю, с натугой сел. Сзади на белом хитоне расплывалось красное пятно.

— Бегите,— прошептал он сыновьям, но смуглые ручонки словно приклеились к нему, не оторвать.— Бегите,— повторил он и, не видя, начал нашаривать рукой валявшееся рядом копье.

— Так?! — крикнул Ольвид и с каким-то остервенением, с хриплым выдохом бросил второе копье.— Не промахнешься на десять шагов.

«Перечить, против царя уже пошли? — кружилось в голове у Ольвида.— Думать стали, каждый умный, зараза, яд, змеи, змеи, расшатывают все, гибнет порядок». Гнев душил его.

«Отец, отец, отец!..» — Пронзительные мальчишеские голоса, вибрирующие от ужаса и горя, сверлили голову Ольвида.

— Щенки, змееныши! — крикнул он и бросился вперед. Одного ударил ногой в голову, другого, вцепившегося зубами ему в палец, слепо ткнул куда-то кинжалом.

Все молчали. Тихо стало, странно как-то тихо после детских воплей.

— Ольвид...— сказал Приам наконец и тут же умолк.

«Всегда так,— подумал Ольвид.— Бьешься за него, как пес цепной, на старости головой рискуешь, царскую власть подпирая, а чуть что — морщится брезгливо. Палач.... А без палача как? Как без палача?»

— Ольвид,— снова пробормотал Приам, отводя глаза,— народ не должен знать про это... Все-таки жрец Аполлона.

— Про что, царь? Про то, как, разгневавшись на святотатца, Афина послала две змеи, удушившие и жреца, и его детей? Почему же не должен этого знать народ?

«Опора, опора,— подумал Приам,— в крови, но умен, ох как умен! Да так, наверное, и нужно... Власть как корабль на берегу: выбей подпорки — тут же потеряет равновесие и рухнет».

— Это народ должен знать,— твердо сказал Приам.

— Эй, стража, кто видел двух змей, выползших из моря? — громко спросил Ольвид и пристально посмотрел на воинов.

— Я! — громко крикнул высокий статный стражник со шрамом на правой щеке.

— Как тебя зовут?

— Гипан.

«Глаза ясные, смотрит прямо, да и плечи широки»,— подумал Ольвид и спросил:

— Что ты видел?

— Видел своими глазами, как выползли из моря две огромные медные змеи. Страшно шуршали они и гремели, быстро ползли к несчастному жрецу Лаокоону. Тот же, словно сила вдруг покинула его члены, замер. И сжали его змеи, принялись душить. Подбежали к нему дети его, плачут, кричат. «Бегите!» — гонит их жрец, а сам уже задыхается, хрипит. Бросились мы тут на помощь, но змеи уже разделались со своими жертвами. Разделались — и к берегу. Только мы их и видели. Вот что я видел своими глазами, господин.

Ни ухмылки сообщнической, ни подмигивания. Стоит прямо, глаза серьезные. Без выражения. Как он сказал его имя? Гипан? Помощником надо его сделать, с таким спокойно.

— У тебя хорошее зрение, Гипан,— сказал Ольвид и обвел взглядом стражников.— Все ли видели змей? — возвысил он голос.

— Все! — нестройно ответили воины.— Все!

— Если кто-нибудь отвернулся или чего-нибудь не рассмотрел, расспросите Гипана. И разожгите погребальный костер, предайте священному огню тела несчастного Лаокоона и детей его.

Стражники засуетились, складывая костер из брошенных корабельных подпорок. Те, что не сгнили, были сухи, хорошо должны гореть.

Гипан, взвалив на плечи труп жреца, поднес его к деревянным брускам, осторожно положил наверх. Следом принес и детей. Поднесли факел. Не сразу, но разгорелось все-таки пламя, потянулся дым. Сначала горьковатый, затем примешалась к нему и приторная сладость. Запах смерти, запах войны.

— Ольвид... — пробормотал царь Приам.

— Слушаю, царь.

— Устал я...

— Велики труды твои, царь. Прикажешь подать колесницу?

— Не нужно. Хочу подождать, пока двинется в Трою конь Одиссея. Войду с ним. А вон и тележка.

Двадцать самых сильных коней были впряжены в низкую массивную тележку для перевозки камней. Не кляч с разбитыми ногами, а мощных жеребцов из царских боевых конюшен.

— Ольвид,— сказал Приам,— теперь уже можно открыть ворота и выпустить народ. Троянцы заслужили того, чтобы самим вкатить коня в город.

* * *

На расстоянии десяти стадий от Скейских ворот коней выпрягли, и сотни горожан с криками бросились к тележке. Люди упирались в колеса, в края ее, в ноги коня. Те, кто не мог упереться руками в тележку, упирались в спины счастливцев.

Люди кряхтели, пыхтели, стонали, кричали, пели и отдувались, и исполинский конь, слегка покачиваясь, медленно плыл к воротам.

При каждом толчке что-то звенело внутри идола, и люди смеялись, передавая друг другу, что это Одиссей положил туда, наверное, бронзовые кубки для их устрашения.

— А змеи, ты слышала, что случилось со жрецом Лаокооном? — слышались голоса.

— Богиня Афина наслала их на проклятого нечестивца!

— Еще бы, дар-то ей!

— Жрец, а не понимал...

— Много их таких...

— Детей жалко...

— Мало ли кого жалко, у меня вон муж...

— А у меня брата еще в прошлом году...

— Давай налегай!

— Сам пойдет, поскачет!

Тележка остановилась у самых Скейских ворот.

— Слава царю Приаму! — выкрикнул кто-то, и толпа подхватила:

— Слава! Спаситель Трои! Защитник!

Пахло по́том, луком, кислым вином. Из ворот тянуло запахом жарящегося мяса.

— Гляди-ка, не проходит конь в ворота, велик больно!

— Ничего, пройдет! Зачем нам теперь ворота?..

И уже полезли иа стеиы люди, отбнвая камни, крича что-то, чего нельзя было разобрать за перестуком заступов, н тоикая камениая пыль повисла в воздухе, медлеино оседая иа потные, разгоряченные лица и плечи.

## *Глава 15*

— Пойдем, пойдем быстрее...— Держа Куроедова за руку, Кассандра почти бежала по узенькой улочке.

Оиа, казалось ему, всегда куда-то бежала, не то куда-то стремясь, ие то от чего-то убегая. Маленькая, легкая, летит, летит. Так и чувствуешь, как терзает ее, сжигает предчувствие. Нет, ие предчувствие, зиание. Оиа зиает. И без иего знала.

Куроедов попытался представить себе родиой город. Жизнь идет, обычная размереиная жнзнь. Спешат люди иа работу, за покупками, выбнрают кого-то в местком, собираются вечером в гостн, и лишь одии ои, Александр Куроедов, знает, что вот-вот все погибиет в пламеии, и иикто ие верит ему. Кто безразличио улыбается, кто смеется в лицо. И ие может иайти ои слова, одиого слова, чтобы поверили ему. И ведь должно же быть такое слово, ие может быть, чтобы люди не верили ии одиому слову. И иет его. А время ндет, н секунды уже ие тикают, а грохочут топотом вражеских сапог, и ие верят ему, не слушают... Кассаидра, девочка, как же должно жечь ее, как должиа оиа умирать тысячи раз, думая о гибели Трои...

Весь город вышел иа улицы. От полуголых смуглых ребятишек, бесенятами вьющихся меж домов, до дряхлых старцев, иеувереиио стоящих на трясущихся иогах у стен. Гонит ветер дым по кривым переулкам, пока еще не пожарищ, дым костров; н запах жареиого мяса, пока еще быков, а ие людей, сытио внсит над городом. Гул, пока еще веселый гул толпы, прокатывается упругими волнами. Должно быть, где-то прошли воииы или сам царь.

А на главиой площади людской водоворот. Ступи только, и подхватит тебя, понесет, закрутит, затолкает. Каждому хочется поближе рассмотреть деревяииое чуди-

ще, толстобревного коня, сработанного хитроумными греками. Но только куда им до наших-то. Все говорят, царь тут же и провидел, насквозь понял. Слава Приаму, царю нашему, защитнику Трои!

Вокруг коня двойная цепь стражников. Мало ли кто что вздумает. Камень ли швырнут в коня, копье ли, а то и факел горящий. Командует стражниками Гипан. Стоит величественно, словно выше ростом стал. Ликом строг и суров, а глаза ясные.

«Немолод уже Ольвид, очень, очень немолод,— думает Гипан,— кряхтит, за поясницу держится... Начальник царской стражи Гипан. Гм... Посмотрим, что тогда скажет Лампетия... Поди, не будет больше отворачиваться от него... Да и царь уже дряхл... Кто знает... С ума сошел... А почему бы и нет...»

— Нельзя, царевна! — Гипан поднял руку, мягко преграждая путь Кассандре.— Приказано не подпускать к коню никого, ни одной живой души. Сам царь приказал. Прости, таков приказ.

— Я знаю, стражник...

— Прости, царевна, я не стражник, я помощник Ольвида. Меня зовут Гипан.

— Гипан? — Кассандра внимательно посмотрела на воина.— Какое красивое имя...

— Обычное, царевна.— Гипан опустил глаза. «Странный взгляд у этой Кассандры, не зря, видно, говорят, что наказал ее бог Аполлон за гордыню. И смотрит как-то странно, словно влезает в тебя...»

— Гипан, пропусти меня к коню. Умоляю, пропусти. На минуту, никто не заметит,— молвит Кассандра,— заклинаю тебя...

— Приказ, царевна,— строго говорит Гипан.

«Ишь ты, никто не заметит... Еще как заметят! И уже не помощник Ольвида, а раб, стонущий под ударами бичей. Нет уж, царевночка, не выйдет».

Двадцать шагов до коня, до уродливого деревянного коня на ногах-бревнах, двадцать шагов до горстки греков, потеющих там, в темном и тесном чреве. Их разорвали бы в мгновение. И не было бы треска пожара, страшных искр, что мелькали в ее видениях, крика младенцев, и стояла бы Троя еще века и века.

И знала ведь, что напрасно, что вот-вот лопнет нить судьбы, что не остановишь неизбежное, а рвалась к

коню, надеялась на невозможное. Не умом, не сердцем даже, а всем телом надеялась, жаждала надеяться.

— Гипан,— медленно говорит Кассандра, и слезы текут у нее по смуглым щекам. Узенькие мокрые дорожки, вспыхивающие солнечным светом.— Гипан, поверь мне, я говорю правду. Там, в коне, греки. Клянусь тебе всеми богами, землей клянусь, жизнью, чем хочешь, поверь мне. Там греки, и если не убьешь ты их, завтра не будет уже Трои. И, падая под ударами вражеского меча, ты на мгновение вспомнишь мои слова, но будет уже поздно. Гипан, Гипан, поверь мне. Ты станешь велик, мир будет говорить о тебе, ты станешь богоравным. Хочешь, я поклянусь принадлежать тебе? Женой ли, рабыней — все равно. Хочешь? Вот стоит человек, он из будущего. Он все знает, он знает даже место, где через три тысячи лет — три тысячи! — откопают наш город и будут просеивать через пальцы наш прах. То место — холм Гиссарлык. Александр, скажи ему, объясни! Ты мудр не нашей мудростью, ты все знаешь, скажи ему!

— Царевна,— хмуро говорит Гипан,— твои речи странны и смущают моих стражников. Иди, Кассандра, иди с миром. Если бы ты не была царской дочерью, я бы приказал схватить тебя и твоего спутника и примерно наказать. Иди, не заставляй меня силой отправить тебя с площади.

«Вот уж правду говорят, если боги хотят наказать человека,— с какой-то брезгливостью думает Гипан,— они отнимают у него разум. То-то ее в жены никто не берет, хотя и царская дочь. Попробуй раздели ложе с такой... Безумная...»

— Будьте вы все прокляты! — пронзительно кричит Кассандра.— Так вам и надо, слепцы и самодовольные тупицы! Я радуюсь вашей гибели, да, радуюсь! Вы заслужили ее!

Она давится рыданиями, и узкие ее плечи судорожно трясутся.

— Пойдем, Александр,— шепчет она и снова, снова тянет Куроедова за руку, бежит, места себе не находит.

Тихий переулочек, ни души, все на площади. И видна стена, полуразрушенная теперь стена. Еле разобрали, чтобы втащить коня.

Стоят Кассандра и Куроедов у пролома. Впереди Геллеспонт и где-то наготове греческие корабли. Пустынна долина Скамандра. Безмолвна.

Странное спокойствие охватывает обоих. Все уже сделано, и ничего не сделано. Прошлого не вернешь, будущего не остановишь. И остается печаль. Невыразимая печаль, тонкая и едкая, как каменная пыль, как горькая трава. Печаль, печаль. Последние часы друг около друга, последние часы, что отпущены недоброй судьбой. Раствориться бы друг в друге в бесконечной нежности, в останавливающей сердце любви.

Сидят двое, молчат. Только взялись за руки, как дети.

«Как я ее люблю! — думает Куроедов.— Никогда не понимал «умер бы для нее». Сейчас понимаю. Умер бы. Знаю. Точно знаю. И дико все, чудовищно. Младший научный сотрудник и Кассандра... И еще более дико и чудовищно представить себе, что этого могло бы не быть...»

* * *

Беспокойно бродит по чужому городу Синон, эвбеец. Мяса, вина — сколько хочешь, на каждом углу угощение. И улыбки кругом, шум, крики, чужое веселье.

Так что же, думает он, выходит, Одиссей перехитрил Приама? Или Приам Одиссея? И валялся он изменником на дне ямы напрасно? Или стал бессмертным героем? Пуст конь или сидят там, дожидаясь своего часа, Одиссей с товарищами? Останется стоять Троя или падет под ударами ахейцев?

Вопросы накатываются один за другим, словно волны на отмель, и уходят, безответные. Кто же он, Синон? Игрушка, которой играют, пересчитывая палками ребра, или принесен он в жертву великому делу? Паламед — вот кто понял бы все... Да нет, пожалуй, не понял бы. Он был мудр в цифрах и словах, но слеп и беспомощен среди людей. И поднимал всех против войны... Нет его теперь, нет, нет, нет.

Уже который раз выносят его ноги на главную площадь, в море людское. Вот он, конь. Стоит недвижим, странно манит, тянет к себе. Заглянуть бы — и сразу не было бы изматывающего силы прибоя вопросов. Только

бы заглянуть, всунуть голову внутрь и заглянуть. Темно там, конечно, но заглянуть все же нужно. Заглянуть, и сразу все станет ясным, и он узнает, кто он. Только заглянуть, и дело с концом. Стражники поймут, они добрые, они же должны знать, что человек должен знать. Что человек не может жить, не зная. Как может жить человек, не зная, для чего он мучался? Разве не имеет он права заглянуть в коня? Только на секундочку заглянет и все поймет.

— Эй, куда прешь? Не видишь, что ли? — Стражник поднимает копье.

— Я на секундочку, только загляну внутрь коня и обратно.

— Спятил ты, что ли?

— Надо мне, понимаешь, надо узнать, кто я.

— Проваливай, пьяница, пока не получил!

— Я только погляжу внутрь, там ли Одиссей, и обратно. Помоги мне, добрый человек, заглянуть в коня. Идем!

Синон хватает стражника за руку, и в то же мгновение сильный удар кулаком в скулу валит его с ног.

— Должен же человек знать... — плачет Синон, и стражник бьет тяжелой сандалией его по голове.

— Оттащите свинью в сторону,— кивает Гипан, молча наблюдавший за этой сценой.

* * *

В который раз приникает уже Одиссей к крохотной щели, смотрит, слушает. О боги, как замлели руки и ноги. Рядом скрючились Неоптолем, Филиктет, Менелай, Идоменей, Диомед, маленький Аякс, Эпей...

Время не идет, не тянется даже, не ползет. Застыло время. Сколько часов уже они здесь, на площади? Когда же наконец наступит ночь? Может быть, боги остановили солнце?

Снова его охватывает зыбкая дремота, укачивая, несет к далекой лесистой Итаке, к Пенелопе... И снова сон не приходит, а лишь, коснувшись его на мгновение, отлетает прочь. Спать нельзя.

Наконец в щели темно. Прислушивается — тишина. Никого. Нашумелись. Накричались, наелись, напились — спят. Скоро, скоро...

Погибнут ли они, или план удастся? Не надо думать, надо верить. Он верит. Всегда верил. Если веришь в победу, она обязательно придет.

Пора. Он толкает товарищей и чувствует, как напрягаются в темноте их тела, натягиваются нервы. Пора. Осторожно открывает незаметный снаружи люк. Молодец, Эпей, мастер редкостный. Тишина. Никого. Тлеют лишь уголья на месте костров. Пора.

Один за одним все десять бесшумно спускаются на землю. Теперь подать знак. Горсть углей брошена внутрь коня, на сухую солому, устилающую чрево. Тихий шелест, шорох, легкий треск, и вот уже пламя взвивается вверх, не погасить. Сигнал подан. И уже приближается к пролому в стене ахейское войско.

А троянцы все спят, сытые скоты... Набили желудки, храпят...

Одиссей спотыкается в темноте о лежащее тело. Нагибается. В отблеске пламени узнает. Синон. Стонет эвбеец, лицо в крови. Тс... лишь бы не закричал, рано еще! Секунду, не больше, колеблется итакиец и затем коротко тычет копьем в лежащую фигурку. Так вернее.

Жаль не жаль, в другое время, может быть, и подумал бы, а сейчас некогда. Бушует, бьется огонь, и со стороны Скейских ворот уже слышится глухой грохот боевых греческих колесниц.

Ну, вперед!

* * *

Ночь тепла, тиха. Ветра нет. Тихо. Кассандра и Куроедов дремлют, привалившись к огромному камню. Так и дремлют, взявшись за руки.

Сон неясен, но светел, тих. Бредут они с Александром по песку, а следов не оставляют, бредут куда-то и стоят на месте. И рука в руке. Подкатится к ним волна тихо, покорно, лизнет ногу тающей пеной и медленно откатится назад...

И вдруг нет руки, нет руки, нет никого рядом, и уже храпят кони, влетая в ворота, сон ли, не сон, а рядом — никого. Еще в руке тепло другой руки, а уже холодит ее пустота. Смерть, конец, гибель. Встает уже за спиной зарево, красит камни. И ветер поднялся. Конец, конец...

— Александр! — кричит и знает, что не ответят.— Александр!

Бежит, спотыкается, шарит в багровой тьме руками. И уже крики, вопли, рев, стоны. И треск, что столько раз слышала в видениях, треск горящих крыш... Как будет называться этот холм? Гиссарлык...

## *Глава 16*

Старшина милиции Петр Иванович Толстиков медленно ехал на мотоцикле по ночным улицам своего участка и думал о завтрашнем футбольном матче. Он, конечно, не Лев Яшин, но верховые мячи его не беспокоят. Низовые, те, конечно, коварнее. Стенку выстраивать поаккуратнее. Ну да с таким свободным защитником, как капитан Зырянов, чувствуешь себя уверенно.

Вдруг на мостовую выскочил старичок в длинном пальто и шапке-ушанке и замахал руками.

— Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант... — больше от волнения ничего, очевидно, сказать не мог и лишь показывал рукой на магазин «Игрушки», у которого остановился мотоцикл.

— Во-первых, гражданин, я не лейтенант, а старшина,— сказал с достоинством Толстиков, и любому должно было стать ясно, что звание старшины — это тебе не фунт изюма,— а во-вторых, успокойтесь и скажите, что случилось.

— Там, там... — старичок смотрел на темные витрины, уставленные ленивыми плюшевыми зайцами и пластмассовыми Чиполлино с луковками на голове,— там...

— Что же там?

— Человек! Грабитель. Я сторож, я слышал. Он то ходит, шаги слышно, то останавливается.

— Как же вы его проморгали?

— А я не моргал,— обиделся сторож.— Замок цел, окна тоже.

— Понятно,— кивнул старшина.— Спрятался в магазине до закрытия. Старый трюк. Только это не профессионал. Трюк-то любительский, да и магазин небогатый.

— Как это небогатый? — снова обиделся старик.— У нас знаете какой оборот...

— Ну да ладно,— вздохнул старшина,— будем брать.

— Как — брать? Что именно?

— Преступника. Ключи у вас есть?

— Вот.

— Где выключатель?

— Какой еще выключатель?

— Да внутри, в магазине.

— А, этот... Не знаю, товарищ старшина.

Старшина Толстиков нащупал в кармане электрический фонарик и начал отпирать замок.

— А если стрельнет? — шепотом спросил сторож.

— Не стрельнет,— уверенно сказал старшина.— Такие не стреляют.— Он осторожно открыл дверь, прислушался и вошел.

— Слава богу! — сказал мужской голос из темноты.— А я уж думал, что придется сидеть здесь до утра.

«Силен, бродяга,— восхищенно подумал старшина,— во дает! Слава богу... Ишь ты!»

— Сидеть, наверное, действительно придется, гражданин, только не здесь.

В неярком луче фонарика перед старшиной стоял молодой человек лет тридцати в помятом костюме. Еще бы, прятался, наверное, в подсобке, под ящиками. Известное дело.

— Вы не знаете, где выключатель? Я его в темноте никак не мог найти,— сказал человек. Голос у него был печальный. Да и то верно, веселиться вроде не из-за чего.

— Так прямо и искали? — саркастически спросил старшина, направляя желтое пятно луча на стены.— Да вот же он. Рядом с соцобязательствами.

Старшина включил свет и внимательно посмотрел на вора. Тот, казалось, о чем-то задумался и смотрел, не мигая, на игрушечных деревянных коней на колесиках.

— Как проникли? — с интересом спросил старшина.— Спрятались до закрытия?

— Кто проник? — вздрогнул человек.

— Не я, конечно. О вас речь идет.

— А я не проник...

— Я и спрашиваю: спрятался?

— Нет...

— А как же?
— Не знаю...
— И зачем вы здесь, тоже не знаете?
— Не знаю...
— Сколько вы вчера выпили, в таком случае?
— Вчера? Вчера... Вчера... Странное какое слово, если вдуматься, «ч» как зловеще звучит.
— Гражданин,— нахмурился старшина,— у нас тут не семинар, а задержание преступника.
— Преступника? — рассеянно переспросил гражданин в мятом костюме.— Ах да... понимаю... Это, наверное, я.
— Это вы совершенно точно заметили. Давайте в коляску, и поедем.
— Как это в коляску? — спросил взломщик и посмотрел на батарею игрушечных колясок, стоявших в углу.
— Так. В мотоциклетную.
В отделении злоумышленника усадили перед дежурным, который шумно вздохнул и обреченно положил перед собой протокол допроса.
— Имя, отчество, фамилия, место рождения, место жительства, должность, место работы... Как вы говорите? Младший научный сотрудник? — Дежурный заметно оживился и с интересом посмотрел на Куроедова.— Что же это вы, Александр Васильевич, деятель, можно сказать, науки и так некрасиво влипли? Когда вы вошли вчера в магазин?
— Я не входил... — сказал Куроедов и замолчал. Говорить ему было тяжело, и мысли все время путались.— Вчера я вообще не был в городе.
— Где же вы были? — Дежурный положил авторучку на стол, откинулся на спинку стула и вынул из пачки сигарету.
— Видите ли... это не совсем обычная история... Я вряд ли сумею объяснить...
— Понимаю, понимаю,— кивнул дежурный.— История у всех бывает необычная. По ошибке залез в чужой карман. Сам не знает, почему дал по морде. Прямо мистика какая-то. Где же вы были вчера, Александр Васильевич?
— В Трое...
— Где, простите, в Троицком?

— Нет, в Трое... Я же вам говорю, это не совсем обычная история.

— В Трое? — У дежурного округлились глаза.— Древние греки?

— Да,— тихо сказал Куроедов и опустил голову на грудь.

— И как там? — Дежурный подмигнул старшине.— Как жизнь?

— Я не сержусь на вас,— кривясь, пробормотал Куроедов,— я понимаю, что это звучит дико, но...

— Не сердитесь? Ну и на том спасибо, гражданин Куроедов. Только симуляция безумия — вещь тонкая. К ней готовиться надо, литературу специальную изучить. А вы — в Трое. Нехорошо. Младший научный сотрудник, а говорите, как школьник. Некрасиво.

— Я понимаю, я все понимаю... — Куроедов, казалось, с трудом произносил слова, делая усилие над собой.— Но что я могу еще сказать вам?

— Значит, вы утверждаете, что попали в магазин игрушек номер тридцать три прямо из Трои?

— Да.

— И для чего же, позвольте полюбопытствовать?

— Не знаю. Я ведь уже говорил, что не знаю, как попал туда.

— Ну хорошо,— вздохнул дежурный.— Может быть, вы посидите, подумаете, отдохнете...

— Знаете что? — У Куроедова, казалось, мелькнула мысль.— Позвоните моему научному руководителю Леону Суреновичу Павсаняну. Он заведующий сектором нашего института, доктор исторических наук. Вот телефон.

...Павсанян влетел в комнату, как смерч. Полы его плаща развевались, словно крылья. Под плащом была видна синенькая пижама. Увидев Куроедова, он зарычал и прыгнул на него.

— Саша! — крикнул он и рухнул вместе с младшим научным сотрудником на жесткую милицейскую скамью.— Видел? Не казни меня, Коня видел?

— Позвольте, товарищ Павсанян,— сказал дежурный по отделению,— вы подтверждаете, что это младший научный сотрудник Куроедов?

— Я? Подтверждаю? Дорогой мой, запомните эту минуту! Она войдет во все учебники, это вам говорю я, Леон

Павсанян! А сейчас, дорогой, позвольте, Саша, ты видел?

— Видел,— грустно улыбнулся Куроедов.— Конь на площади...

— Ты видел Коня? — со священным ужасом переспросил Павсанян.— Сам?

— Да, Леон Суренович, видел.

Павсанян вдруг как-то странно уменьшился в размерах, закрыл лицо руками и заплакал, раскачиваясь из стороны в сторону.

— Зачем же вы его так? — укоризненно пробормотал дежурный.— Человек вас опознал, хотел помочь, а вы его каким-то конем...

Но Павсанян уже смеялся. Он выпятил узкую грудь и крикнул:

— Мой бедный маленький Геродюк! Мне жаль его детей, они будут стыдиться отца, который утверждал, что Коня не было.

— Потише, товарищи,— попросил совсем уже стушевавшийся дежурный.— Телефон звонит. Да, товарищ полковник. Все в порядке, нет, ничего особенного не произошло. Задержанный один. Как будто младший научный сотрудник Куроедов. Здесь он, у меня. Что? Как вы сказали? Слушаюсь, товарищ полковник. Выполняю.— Дежурный встал, дико посмотрел на Куроедова.— Полковник Полупанов приказал мне лично расцеловать вас, товарищ Куроедов. Трижды. Разрешите выполнять?

* * *

Иван Сергеевич Голубь устало потер веки.

— Так как же будем оформлять, Александр Васильевич?

— Да как хотите. Какая разница?

— Как это — какая разница? Отпуск за свой счет — одно. Командировка — другое. Тем более, если считать суточные по два шестьдесят в день, вам полагается за три тысячи лет, я тут уже прикинул, два миллиона восемьсот сорок семь тысяч рублей. Проверьте.

— Позвольте, для чего мне проверять, если мне этих денег никто, разумеется, платить не собирается. Я вас, Иван Сергеевич, не понимаю.

— Кроме того, командировка не может быть оформлена, поскольку у вас нет отметки ни о прибытии в Трою, ни об убытии.

И снова уходит куда-то голос, не слышит никого Куроедов, только сухой жар руки Кассандры, только горьковатый запах ее волос, только бьющееся в ней отчаяние.

Махнул рукой, вышел. В коридоре Маша Тиберман. Глаза набрякшие, без косметики. Увидела, всхлипнула, по-детски шмыгнула носом. Абнеос, Абнеос, нежный бородатый ребенок. Ма-ша. Ма-ша. Да и было ли все это?

* * *

Их была горстка, чудом уцелевших во время пожара и резни. Они собрались в негустом лесу многохолмной Иды, и в ушах их все еще звучал треск огня и крики. Эней, привалившись спиной к дереву, вытирал пот со лба и никак не мог отдышаться: тащил на плечах дряхлого отца, да и сын висел на руке как гиря.

Сидели, молчали. Многоречива победа, поражение же молчит. Да и что скажешь, когда лица еще пылают от жара огня, а в глазах пустота: что скажешь, кому?

Но надо идти, пробираться как-нибудь к берегу, бежать от богами проклятого пожарища, от тлеющих руин, от пьяных греческих мечей. Ноги — что чужие, кажется, и не встать на них, да надо.

— Вставайте,— негромко говорит Эней,— идем.

Все покорно встают, один бородатый в диковинном костюме не подымается. Смотрит пустыми, далекими глазами. Тряпка, обмотанная вокруг шеи, уже совсем пропиталась кровью. Плох, не дойдет. А тащить некому. И так еле бредут.

Эней подходит к бородатому.

— Сможешь идти? — угрюмо спрашивает.

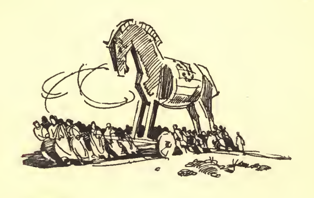
— Ма-ша,—бормочет запекшимися губами.—Ма-ша...

Легко умирать Абнеосу. Не здесь он, на склоне Иды, а там, в другом мире теперь его душа. В непонятном, но светлом и мягком, в добром мире. И Маша, Маша все смотрит на него так, будто ждет, просит чего-то. А что?

— Идешь? — еще раз спрашивает Эней, так, для очистки совести.

— Ма-ша,— все бормочет бородатый, и вдруг слабая улыбка трогает его лицо.

— Бредит, слово неясное все говорит,— бросает спутникам Эней.— Пошли!



# БАШНЯ МОЗГА

## 1

— Пешки тоже не орешки,— в третий раз за пять минут пробормотал Надеждин и взял ферзем пешку противника.

У Маркова, его партнера, пылали уши. Мочки их были ярко-красными, а верхняя часть отливала фиолетовым. На мгновение он сосредоточенно наклонился над доской, очевидно подбодренный какой-то спасительной идеей, но тут же разочарованно откинулся на спинку кресла, горестно вздохнул.

— И примет он смерть от лошадки своей,— упавшим голосом сказал он и задумался.

Густов опустил книгу и взглянул на игроков.

— Сдавайся, дядя Саша,— сказал он.— По ушам видно: пора. Чем ярче они у тебя светятся, тем хуже твое положение. И наоборот.

— А ты садись сыграй сам,— ехидно предложил Надеждин.

— С удовольствием бы, не могу. Ты же знаешь, я так привык наблюдать за вами и за доской сбоку, что на обычном месте уже просто не в состоянии играть.

— Перестань трепаться, Володя,— сказал Марков.— Дай погибнуть с достоинством. Смерть, даже шахматная, не должна быть суетливой. А вообще надобно мне бросать шахматы. Лучше займусь крестиками и ноликами. Прекрасная игра, как раз по моему интеллекту.

— Ну, началось,— усмехнулся Густов.— Традиционное самобичевание. Сейчас ты скажешь, что вообще не понимаешь, как стал космонавигатором и как доверили грузовой космолет третьего класса «Сызрань», борт «сто тридцать один четыреста семнадцать» такому никчемному существу, как ты...

Внезапно космонавты почувствовали, как «Сызрань» завибрировала всем корпусом, и цепенящее ощущение катастрофы молнией промелькнуло в их сознании.

Негодующе заревел сигнал тревоги, и растерянно замигали глазки приборного табло. Резкий толчок сбросил космонавтов на пол.

Марков и Надеждин одновременно попытались встать на ноги. Но тела их уже наливались чудовищной тяжестью. Она давила на них прессом, не давала дышать, деформировала их лица, уродливо расплющивая их.

Бесплотный голос автоматического анализатора торопливо захлебывался словами, но они не слышали их.

«Надо включить двигатели»,— мучительно-медленно подумал Надеждин. Он не успел почувствовать страха. И мысли его, и чувства были так же парализованы перегрузкой, как и распростертое на полу тело.

Скорее инстинктивно, чем волевым усилием, он попытался поднять руку, но даже нервные импульсы, казалось, не могли преодолеть своей многократно увеличившейся тяжести и передать команду мышцам. Сознание покидало его. Ставшая похожей на ртуть, кровь отказывалась питать клетки мозга, и тяжелый багровый занавес медленно опускался на него. Последними проблесками мысли он пытался бороться с надвигающимся мраком, но через мгновение и последние искорки в его голове погасли.

* * *

Сознание возвратилось к Надеждину раньше, чем он смог вновь различать предметы. Но постепенно темнота

теряла густоту, как будто кто-то постепенно разжижал ее. Она истоичалась, становилась зыбкой, и Надеждину почудилось, что вот-вот сквозь нее забрезжит свет. Он уже понимал, что что-то ощущает, и терпеливо ждал, пока мысль соберется с силами в глубинах его мозга и неторопливо всплывет на поверхность сознания, примет четкую форму.

Вот уже к ощущению редеющей темноты добавилось чувство боли, которой, казалось, было налито все его тело. Он раскрыл глаза и долго не мог сфокусировать непослушные зрачки: поле зрения наполнял зыбкий зеленый туман. Теперь ему казалось, что именно этот зеленый туман не дает ему ясно мыслить.

Внезапно в мозгу у него вспыхнул ярчайший свет, вязкие медлительные мысли сразу приобрели легкость, понеслись, закружились. Ну конечно же, он лежит лицом на зеленом пластике пола рубки. Он, командир «Сызрани», жив и все помнит. Все. Прежде чем он понял, что делает, он уже упирался руками в пол и подтягивал под себя колени. Мускулы плохо слушались его. Им владела лихорадочная торопливость. Встать! Быстрее встать на ноги.

Наконец ему удалось подняться на колени, и в то же мгновение он увидел обращенные на него глаза Густова. Володя смотрел на него, и вдруг его покрытое синяками лицо исказилось слабым подобием улыбки.

— Володька! — крикнул Надеждин и сделал шаг по направлению к товарищу. Тот слабо качнул головой и приподнял брови, как бы указывая на приборное табло. Надеждин повернул голову и в то же мгновение вдруг понял, что означали звуки, уже несколько минут складывавшиеся в его сознании в какой-то привычный шумовой фон.

— Корабль находится на высоте тридцати метров над поверхностью планеты Бета Семь,— бормотал автоанализатор.— Корабль не падает из-за антигравитационного поля. Корабль находится на высоте...

— Ребята, я уже умер или действительно я слышу слово «метр»? — раздался слабый голос Маркова.

После страшной и непонятной катастрофы «Сызрань» преспокойно висела в поле антигравитации всего в тридцати метрах от поверхности чужой планеты, мимо которой они должны были пролететь на расстоянии двухсот

тысяч километров. Этого не могло быть, и вместе с тем это случилось. Анализатор никогда не ошибался. Космонавты переглянулись.

— Ладно, метры, километры или парсеки,— пробормотал Густов.— Пока что мы живы, и «Сызрань», по всей видимости, цела. Не знаю, как вас, меня как минимум это устраивает...

* * *

Ракета висела над самой поверхностью планеты. Ее экипаж затаив дыхание приник к экранам обзорных стереовизоров. Под ними расстилалось почти безукоризненно ровное плато, на котором в лучах солнца сверкали небольшие металлические прямоугольники, расположенные в шахматном порядке. Подле них застыли странные неподвижные фигурки.

Начинался спектакль, о котором в душе мечтает каждый космонавт, будь он участником исследовательской экспедиции или пилотом обыкновенного «грузовика», в сотый раз летящего по проторенным космическим дорогам.

Космонавты молчали. Смогут ли они снова подняться с этой планеты, вернутся ли когда-нибудь на родную Землю — они не могли сейчас думать ни о чем, кроме того, что происходило всего в нескольких десятках метров от них. Там была жизнь, и, по всей видимости, высокоорганизованная жизнь, ибо все трое понимали, что поймать космолет при помощи направленного поля мощнейшего тяготения — другого объяснения не было — под силу далеко не каждой цивилизации.

— Эх, Саша, Саша,— вдруг прервал напряженное молчание Густов, обращаясь к Маркову,— совсем недавно ты утверждал, что годишься только для игры в крестики и нолики. И что же? Волею судеб входишь в историю. Подними повыше ногу, у истории высокие пороги... Ребята, детки мои, вы вообще понимаете, где мы и что с нами приключилось?

И как всегда, болтовня Густова разрядила нервное напряжение космонавтов.

— Нет, конечно,— ворчливо и вместе с тем благодарно пробормотал Надеждин,— куда нам!

— Лучше посмотрите на анализ атмосферы,— сказал Марков.— Дышать можно. Не совсем, правда, как кис-

лородная палатка в больнице, но задохнуться без скафандров не задохнемся. Нас могут убить, съесть, мы можем подохнуть с голода, но при этом по крайней мере мы будем спокойно дышать.

В это мгновение «Сызрань» едва заметно дрогнула, неподвижные фигурки на экранах стереовизоров стали расти, приближаясь, и вот уже корабль мягко прикоснулся к чужой земле.

— Товарищ командир корабля,— сказал Густов,— позвольте обратиться. В случае наличия бетянок...

— У тебя, Вольдемар, хватает землянок,— сказал Марков.

— Дядя Саша, зависть угнетает жизнедеятельность организма,— ответил Густов,— а он тебе еще может понадобиться.

— Ребята,— сказал Надеждин,— вы знаете, что самое страшное в космосе? Это ваш бесконечный треп. Я понимаю, что вы подбадриваете друг друга и меня тоже, но нельзя ли это делать как-нибудь понезаметнее? Мы очутились на незнакомой планете, нас насильно посадили на нее какие-то, очевидно, разумные существа, и я должен выслушивать чушь, которую синхронно несут два идиота в комбинезонах. Приготовиться к выходу. Думаю, что оружия брать не следует. Если они уж сумели закинуть гравитационный аркан на космический корабль, наши три пистолета вряд ли их испугают...

Они молчали теперь. Надеждин, протянувший руку, чтобы открыть люк, на мгновение застыл, посмотрел на товарищей и почувствовал, как его заливает огромное теплое чувство любви к этим людям, которые, если бы и пришлось умереть, наверняка умерли бы с шуткой. «Смерть не должна быть суетливой»,— вспомнил он слова Маркова. Он любил этих людей и знал, что они любят его. Он не стеснялся этой любви, хотя они никогда не говорили о ней, и понимал, что без нее они просто не смогли бы жить и работать в космосе.

Марков одними глазами улыбнулся Надеждину и кивнул головой.

Надеждин нажал на кнопку, послышалось легкое жужжание мотора, и тяжелая дверь люка послушно отошла в сторону.

Один за другим космонавты вышли из «Сызрани» и огляделись.

Красноватое плато, на которое опустилась «Сызрань», казалось ровным как стол. Странные металлические прямоугольники, простиравшиеся до самого горизонта, сверкали в лучах чужого солнца.

Но экипаж «Сызрани» не рассматривал расстилавшийся перед ним пейзаж. Космонавты смотрели на безмолвные фигуры, которые неподвижным кольцом окружали их корабль. Метров двух с половиной ростом, они были похожи одновременно и на людей, и на роботов. У них были шаровидные головы с двумя парами глаз, расположенных по окружности, но без какого-либо намека на рот, нос или уши. У них было по две руки с мощными, похожими на зажимы, пальцами и по две массивные ноги. Одежды на них не было, и голубовато-белая поверхность их тел сверкала, словно металл.

— Экипаж советского космолета «Сызрань» приветствует вас,— сказал по-русски Надеждин. Он понимал, как странно звучали здесь эти земные слова, и знал, что их никто не поймет, а может быть, и не услышит, но он произнес их скорее для себя и своих товарищей и не стеснялся торжественности, которую вложил в приветствие.

Бетяне по-прежнему безмолвно смотрели на них, нацелившись на космонавтов объективами своих глаз. Ни одним движением, ни одним звуком они не показали, что что-то понимают. Внезапно, словно повинуясь внутреннему сигналу, они сделали несколько шагов вперед, окружили экипаж «Сызрани» плотным кольцом и отрезали космонавтов от корабля. Проделав этот маневр, металлические существа снова замерли. Двигаясь, они несколько напоминали людей, ибо движения их были похожи на человеческие. Застыв, они больше походили на какие-то чудовищные металлические скульптуры, потому что в их абсолютной недвижности уже не оставалось ничего живого.

— Может быть, у них просто принято приветствовать пришельцев молчанием? Как у нас провожать усопших? — пробормотал Марков.

— А может быть, эти бетяне просто дурно воспитаны? — добавил Густов.— Если и бетянки похожи на них...

Надеждин сделал несколько шагов вперед, направляясь к ближайшему металлическому существу. Он поднял руку и еще раз повторил:

— Экипаж советского космолета «Сызрань» приветствует вас.

Ни одного движения, ни одного звука. Ничья голова не качнулась в ответ, ничья рука не поднялась для приветствия, ничьи ноги не сделали шага, чтобы подойти к космонавтам. Тишина.

— Может быть, это вовсе не хозяева планеты? — спросил Марков.— Может быть, это просто бездумные роботы? Может быть, такие скучные и повседневные дела, как встреча чужих космолетов, ниже достоинства истинных бетян и потому на эту церемонию они прислали роботов?

Надеждин пожал плечами.

— А что, Коля,— спросил его вдруг Густов,— если нам взять да и растянуться на травке? Раз они встречают нас не по дипломатическому протоколу, позволим и мы себе чуть меньше формальностей.

Густов опустился на землю и с наслаждением потянулся. Рядом с ним уселись его товарищи.

Красноватая невысокая трава, значительно более густая, чем на Земле, пружинила, как матрац. Колеблемая ветром, она издавала легкий шорох, как будто стебли ее были жестяными. «Словно листья кладбищенских венков»,— подумал Марков и поморщился от пришедшего в голову сравнения.

— Черт те что,— сказал Густов.— Ну кто нам поверит, что встреча с чужой цивилизацией может проходить именно так? Хозяева стоят не двигаясь, а пришельцы валяются на траве, задрав ноги к чужому небу.

— Будем надеяться, что это самое худшее, что нас ждет на Бете Семь,— ответил Марков.— Если бы не было вокруг этих сверхвоспитанных джентльменов и я бы сейчас проигрывал командиру очередную партию в шахматы, вполне можно было бы представить, что мы дома...

Они еще не привыкли к тому, что случилось, и инстинктивно, чтобы скрыть растерянность, старались вести себя нарочито буднично, выбирая в разговоре самые будничные слова.

Неожиданно круг безмолвных сторожей разомкнулся, и перед ними оказалась странного вида тележка. С плоской платформой, без колес, она имела с одной стороны точно такую же шарообразную голову, что и стоявшие рядом роботы.

Одно из молчаливых существ сделало шаг вперед и потеснило космонавтов к платформе.

— Слава тебе господи,— вздохнул Густов.— Я бы не удивился сейчас, если бы кто-нибудь из них сказал: «Экипаж подан!»

— Ну что ж, ребята, здесь распоряжаемся не мы, а кто-то другой,— заметил Надеждин.— Другого выбора, очевидно, у нас нет.

Они забрались на платформу, ожидая, что впереди них вот-вот усядется водитель. Но вместо водителя с переднего края тележки на них внимательно смотрели два огромных глаза шарообразной головы на невысокой тумбе.

— Ни дать ни взять — механический кентавр,— сказал Марков.— Гибрид робота и автомобиля.

Края платформы медленно загнулись вверх, и тележка бесшумно и плавно заскользила над почвой Беты Семь.

В течение нескольких минут перед ними мелькали все те же металлические прямоугольники, которые они уже видели раньше, потом плато кончилось, и они понеслись по слегка холмистой долине, которую то здесь, то там оживляли разнообразной формы курганы и полуразрушенные стены каких-то строений.

Еще через полчаса тележка сбавила скорость и вплыла в огромный поселок, весь застроенный одинаковыми зданиями без окон. Между ними брели такие же роботы, как те, что встретили их. К величайшему изумлению космонавтов, никто не обратил на них ни малейшего внимания.

Тележка мягко опустилась на землю у невысокого строения, такого же голубовато-белого цвета, как и сама тележка, и роботы, и остальные здания. У входа стояли два робота, которые молча ввели их в круглый пустой зал и тут же вышли.

— По сравнению с ними я чувствую себя настоящим болтуном,— вздохнул Густов.

— Не только с ними,— усмехнулся Надеждин. Он огляделся вокруг.

В зале с низким потолком не было ничего, на чем можно было бы остановить взгляд. Голубовато-белые стены, потолок и пол были освещены призрачным неярким светом, который, казалось, излучался отовсюду. Космонавты простояли несколько минут на месте, не

зная, что делать. Они ждали, что сейчас кто-нибудь войдет и этот странный мир перестанет давить на них своим безучастием. Но никто не появлялся в круглом пустом зале, и даже той двери, через которую они вошли, не было видно. «Очевидно, идеальные зазоры»,— зачем-то подумал Надеждин и подошел к мерцавшей стене. Поверхность ее была твердой и казалась бы металлической, если бы откуда-то из глубин материала не исходил неяркий свет.

Тишина гудела в их ушах током крови, давила их, заставляла напрягаться. Люди устроены так, что должны жить в озвученном мире. Абсолютная тишина противоестественна, она заставляет человека напрягаться в безотчетной тревоге, потому что подсознательно полное безмолвие ассоциируется со смертью.

— Да-а,— протянул Марков,— со мной всегда так. Всю жизнь я о чем-нибудь мечтаю, а когда мечта сбывается, она оказывается совсем не такой, какой виделась мне. Неизвестная цивилизация... Незнакомые существа бросаются к нам навстречу, восхищенно рассматривают нас, пожимают руки...

Надеждин ничего не ответил. Он думал. Их корабль был пойман в космосе лучом искусственной гравитации. Теперь это уже почти не вызывало сомнения. Затем у самой поверхности планеты знак этой гравитации изменился, и они повисли в луче антигравитации. Только высокоразвитый интеллект мог создать такую установку. А теперь этот незнакомый мир встает перед ними стеной абсолютного равнодушия, равнодушия, свойственного скорее неживой природе. Может ли вообще разум быть лишен любопытства? Очевидно, нет. Ведь основное качество разума — это безотчетное стремление понять и объяснить незнакомое и непонятное. А они наверняка незнакомы этому миру...

— А может быть, это просто-напросто карантин? Может быть, гравитационный прожектор у них есть, а сыворотки против кори и коклюша нет? — сказал Густов, словно отвечая на мысль Надеждина.

— Смотрите, смотрите! — крикнул Марков, показывая на потолок.— Вам не кажется, что он стал ниже? А?

— Как будто да,— неуверенно протянул Надеждин. Он попытался найти взглядом какой-нибудь ориентир, чтобы определить, действительно ли опускался потолок,

но ничего не нашел. Тогда он вытянулся на носках во весь свой огромный рост, поднял руки и кончиками пальцев с трудом коснулся потолка.

Прошло несколько минут. Все трое, задрав головы, напряженно всматривались в голубовато-белую поверхность над собой. Надеждин снова поднялся на носки, но теперь ему уже не нужно было вытягивать пальцы, чтобы дотронуться до потолка. Он легко касался его ладонями. Прошло еще несколько минут. Они уже не могли стоять. Им пришлось опуститься на пол, а голубовато-белая поверхность продолжала медленно и бесшумно приближаться к ним, словно поршень огромного цилиндра, и вместе с ним вокруг космонавтов, казалось, сжималась цепенящая тишина.

Надеждин смахнул со лба капли пота. «Но это же бред, абсурд»,— подумал он, подполз к стене и замолотил по ней кулаками. Ни звука в ответ. Ничего... Откуда-то из самой глубины сознания тошнотворной волной неудержимо подымался страх. Привычным усилием воли он боролся с ним, отталкивал его, сопротивлялся, но страх не отступал.

Он посмотрел на товарищей. Густов стоял на четвереньках, упираясь спиной в нависший над ним потолок, и пытался удержать его неотвратимое движение. Его лицо, искаженное гримасой усилия, побагровело. Обессиленный, он упал на живот, судорожно хватая воздух широко раскрытым ртом.

Потолок опускался все ниже и ниже, и они уже лежали, стараясь вжаться в пол, спрятаться от чудовищного пресса. Секунды загустели, растянулись, отсчитываемые судорожными ударами сердец. Мысли уже не повиновались им. Подстегиваемые страхом, они метались в головах людей, взрываясь то одной, то другой ярчайшей картиной их жизни, жизни, с которой космонавты должны были теперь расстаться.

Потолок коснулся спины Надеждина, и вместе с этим прикосновением он обрел какое-то странное спокойствие.

Послышался еле уловимый свист, и все три космонавта каким-то шестым чувством догадались, что опасность миновала.

Еще не веря предчувствию, они подняли головы и увидели, что потолок уже возвратился на то место, где он был каким-нибудь получасом раньше.

Несколько секунд космонавты молчали, не в силах подняться. Но вот странные зыбкие мгновения прошли, и горячая, буйная радость возвращения к жизни захлестнула экипаж «Сызрани».

— Ну что? — торжественно крикнул Густов.— Чей горб спас вас?

— Твой, твой, Володя,— согласился Марков.— Это ты напугал их, став на четвереньки.

Лицо Надеждина медленно расплывалось в неудержимой улыбке. Командир «Сызрани» сгреб в охапку товарищей и даже попытался приподнять их над полом.

— Хватит, Коля,— крикнул Марков,— подумай о командирском авторитете!

Надеждин отпустил товарищей на землю, и в ту же секунду открылась дверь и в зал вошел робот. Он подошел к космонавтам, внимательно осмотрел их передней парой огромных глаз и протянул руку Густову.

— Очень приятно,— сказал Густов и, в свою очередь, протянул руку.

Робот обхватил ее своей клешней, и Густов скривился от боли. Он попытался выдернуть руку, но не мог.

— Эй,— проговорил космонавт,— поосторожнее!

Но робот, казалось, не обращал на его движения и возгласы ни малейшего внимания.

Он оттащил Густова на несколько метров от товарищей, и вдруг тот закричал. Лицо его исказилось. Он поднял свободную руку, чтобы оттолкнуть от себя голубовато-белое существо, но и его вторая рука оказалась захваченной клешней робота.

В то же мгновение Надеждин, а за ним и Марков бросились на робота, осыпая его ударами и пытаясь свалить с ног, но он, казалось, даже не замечал их. Он был массивен и, по всей видимости, обладал огромной силой. Надеждин схватил его двумя руками за шаровидную голову, попытался отогнуть ее, но не смог.

— Бросьте, хватит,— хрипел Густов.

Так же неожиданно, как вошел, робот разжал свои клешни, повернулся и преспокойно вышел из зала.

Космонавты долго смотрели ему вслед. Страх за товарища и ярость короткой схватки медленно уходили, оставляя за собой глубочайшее изумление.

Все еще прерывисто дыша, Марков сказал:

— Чего ждать теперь? Начнет подниматься пол? Или сжиматься стены? Или робот начнет обнимать нас по очереди?

Густов молча пожал плечами, растирая вспухшую ладонь.

## 2

Кирд номер Двести семьдесят четыре возвращался домой. Он шел по улице, выбирая кратчайший маршрут. Он шел не спеша, тем наиболее экономным и размеренным шагом, каким ходят все кирды, не выполняющие во время движения какого-либо приказа. Войдя в дом, он поднялся на третий этаж, прошел по длинному коридору, по обеим сторонам которого располагались одинаковые загончики, открыл дверь своей крошечной комнаты без окна, пространства которой хватало как раз для того, чтобы он мог стоять. Привычным жестом он открыл у себя в правой стороне живота небольшую дверцу, вытащил провод подзарядки своих аккумуляторов и включил вилку в штепсель. Затем левой рукой нажал кнопку отключения активного сознания на груди и погрузился в небытие.

Это был не сон, в который входят медленно и постепенно, и мир становится зыбким, теряет четкие очертания и логическую связь вещей. Это небытие, которое поглотило кирда в то самое мгновение, когда ток перестал питать его мозг.

У Двести семьдесят четвертого не возникало желания обождать с нажатием кнопки хотя бы несколько секунд. Бытие или небытие были ему безразличны, и он расставался с сознанием так же естественно, как выполнял все то, что составляло жизнь кирдов.

Он почти не расходовал энергию в выключенном состоянии, и лишь дежурный вход команд связывал его с миром. Так он простоял в своем закутке всю ночь и, может быть, простоял бы еще много дней и ночей. Но вот бодрствующий участок его мозга получил приказ приготовиться. Этот телеприказ, проникнув в Двести семьдесят четвертого, включил ток и замкнул контакты сознания.

Подобно выключению, включение было мгновенным. Но он не начал вспоминать то, что случилось вчера, и не думал о том, что случится сегодня. Просто в логических цепях его мозга начал пульсировать ток.

Кирд номер Двести семьдесят четыре был готов к выполнению команд. Он отсоединил себя от источника подзарядки и спокойно стоял, ожидая дальнейших приказов. Вернее, не спокойно, а неподвижно, ибо спокойствие или отсутствие его были неведомы кирдам, так же как и другие чувства.

Через несколько минут Двести семьдесят четвертый получил второй приказ явиться в Центральную лабораторию для изучения находившихся там трех живых объектов. Он должен был снять их энергетические характеристики и провести сравнительный анализ их реакций на внешнюю среду.

Двести семьдесят четвертый зафиксировал полученные приказы, вышел на улицу и направился к круглому зданию Центральной лаборатории. На этот раз он шел быстро, как ходят кирды, выполняющие приказ. Его совершенный мозг на ходу составлял план экспериментов, перебирал подходящие аналогии, оценивал, отбирал из своей гигантской памяти то, что могло пригодиться для выполнения приказа.

Думая, он никогда не употреблял слова «я». И не из-

за отсутствия этого слова в языке кирдов, а потому, что у него никогда не возникало потребности в нем. Он не ощущал своей индивидуальности. Он, разумеется, знал, что кирд Двести семьдесят четыре — это он, и мгновенно выполнял все приказы, адресованные ему, но он был скорее частью единого организма, единой организации и не нуждался в слове «я». Но несмотря на свой высокоразвитый интеллект, он никогда не анализировал проблемы индивидуальности, ибо он ни разу не получал от Мозга приказа изучить эту проблему.

Двести семьдесят четвертый шел по улице, торопясь к зданию лаборатории. На перекрестке он остановился у приземистого здания проверочной станции, подождал, пока стоявший перед ним кирд освободит место, и подключился к контрольному стенду. Проверочные импульсы тока мгновенно пронеслись по логическим цепям его мозга, и красный огонек над стендом показал, что Двести семьдесят четвертый не имеет дефектов и может выполнять приказы. Ни один кирд не мог начать рабочий день, не пройдя проверки. Если, как это изредка бывало, над стендом вспыхивала не красная, а зеленая лампочка, испытуемый переходил в соседнее помещение, где несколько кирдов быстро демонтировали его, отправляя разобранные части на переработку. Кирды никогда не ремонтировались, так как ремонт сложнейшего мозга был более трудоемким процессом, чем изготовление нового.

Двести семьдесят четвертый не обрадовался красной лампочке и не огорчился бы, увидев зеленую. Разумеется, он знал бы в таком случае, что подлежит демонтажу и переработке, и сам перешел бы в соседний зал, где его разобрали бы на части. Мало того, пока демонтажники не извлекли бы из него аккумуляторы, он сам бы начал отсоединять свои нижние конечности, помогая им. И ни разу, ни на мгновение в его совершеннейшем мозгу не шевельнулась бы мысль о том, что вот-вот он перестанет существовать, исчезнет навсегда. Для кирдов не существовало смерти, как не существовало рождения, для них никогда не было ни начала, ни конца. Существование, самосознание не давало им радости, но не причиняло и горя. Жизнь каждого кирда была абсолютно похожа на жизнь остальных кирдов, и, исчезая, он не терял ничего своего, ничего того, что было бы связано именно с ним,

только с ним. Поэтому-то они воспринимали демонтаж как нечто вполне естественное, будничное, не требующее особого анализа и размышлений.

У входа в лабораторию Двести семьдесят четвертого поджидал Шестьдесят третий. Быстро и четко он сообщил ему о результатах вчерашних экспериментов, а также об уже расшифрованных словах незнакомых объектов.

Кирд вошел в круглый зал. На полу сидели три существа, которые мгновенно вскочили на ноги и уставились на него. «Всего два глаза, низшая ступень развития техники»,— подумал Двести семьдесят четвертый. Он не испытывал ни любопытства, ни удивления, ни страха, он вообще никогда ничего не испытывал. Его мышление было безукоризненно рационально, логично и стройно. Он думал, но не чувствовал. Хаотические эмоции не мешали его мозгу решать сложнейшие задачи. В великолепном мире математического анализа не было места для всеразрушающего вихря страстей.

Три испытуемых объекта стояли и смотрели на него.

— Вы люди,— сказал медленно Двести семьдесят четвертый, мгновенно и безошибочно отыскивая в своей бездонной памяти сведения, только что сообщенные ему Шестьдесят третьим.— Так вы называете себя.

Кирд смотрел на людей и отмечал странности их поведения. Они широко раскрыли глаза и рты, посмотрели друг на друга, и лица их почему-то исказились. Вокруг глаз побежали маленькие морщинки, а сами глаза резко сузились. У мягкого выступа с двумя отверстиями внизу тоже образовались две глубокие складки, а горизонтальная прорезь, очевидно энергетический вход, приоткрылась, обнажив твердые белые образования.

Двести семьдесят четвертому понадобилось всего несколько секунд, чтобы проанализировать реакцию людей на произнесенные им звуки. Реакция была лишена какого-либо смысла. Получив информацию, интеллект может либо запечатлеть ее, либо, если он считает ее ненужной, отбросить. Эти же люди проделали массу излишней работы, затратили излишнюю энергию. Разве что они сохраняли информацию, деформируя мягкий покров своих лиц. Но это было маловероятно, так как, очевидно, такой способ хранения информации не обеспечивал даже минимальной емкости памяти. К тому же эти искажения

не оставались неизменными, а все время скользили, менялись, исчезали и снова появлялись.

Люди что-то возбужденно говорили ему, друг другу, делая массу нерациональных и явно бессмысленных движений конечностями, головой и корпусом. Но кирд, глядя на них, думал о том, что передал ему Шестьдесят третий о результатах вчерашних экспериментов. Тот тоже отметил целый ряд странных реакций, особенно при опускании потолка, и пришел к выводу, что люди находятся на довольно низком уровне интеллектуального развития. Интеллект прежде всего характеризуется рациональностью. Эти же существа систематически реагировали на внешний мир в высшей степени сумбурно. Естественно, что при опускании потолка они не знали, где он остановится. Они вполне могли предположить, что будут раздавлены. Но для чего множество слов, повышенная частота дыхания, явно бессмысленная попытка удержать потолок спиной? Разве может так реагировать интеллект на приближение небытия? Совершенно очевидно, что мышление их примитивно, как и их общая конструкция. Может ли существовать цивилизация, когда ее носители все еще находятся на биологическом уровне развития, как растения? Когда их тела слабы и обладают ничтожной прочностью?

Двести семьдесят четвертый еще раз внимательно посмотрел на людей и приступил к дальнейшим экспериментам. Пожалуй, именно реакция на опасность пока что наиболее понятна. Очевидно, ее нужно исследовать подробнее, а потом сделать полную запись содержимого их мозга.

«Вот еще,— подумал Двести семьдесят четвертый,— они теперь все время показывают пальцами на щели на своих лицах и произносят слово «есть». Поскольку движения и слово повторяются, они вряд ли случайны. Очевидно, они пытаются привлечь мое внимание. Что это может значить? Они в чем-то нуждаются. Очевидно, в энергии. А раз структура их биологическая, низшего типа, они лишены аккумуляторов и должны восполнять потерю энергии каким-то другим способом. Ясно, что на корабле у них должен быть запас нужной для них энергии. Значит, нужно отправиться на корабль, чтобы принести им их «есть». Слово «есть», должно быть, и означает их энергетический источник».

* * *

— Послушайте, ребята,— задумчиво сказал Надеждин,— у вас нет ощущения, что все эти идиотские штучки имеют свою логику? Вам не кажется, что они нас просто изучают? Как каких-нибудь инфузорий? Я все время чувствую себя так, словно я зажат между двумя предметными стеклышками и на меня направлен объектив микроскопа.

— Ну я, положим, под микроскопом себя не чувствую,— вздохнул Густов и посмотрел на руку, на которой еще оставались следы металлического рукопожатия.— Скорее под асфальтовым катком. К тому же вообще нельзя изучать живое существо, которое умирает с голоду.

Послышался легкий шорох, и открылась дверь. Вошедший кирд положил перед ними несколько знакомых синих сумок со словом «Сызрань» на каждой из них. Дрожащими от нетерпения руками они раскрыли сумки и увидели в них свои пищевые рационы.

— Нет, они все-таки толковые ребята! — крикнул торжествующе Густов, раскрывая обеденную коробку.— Кое-что они смыслят.

Они ели, обменивались шутками, и настроение их улучшалось с каждой минутой. Кончив обед, они заметили, что дверь осталась незатворенной.

— А что, если нам попробовать выйти? — нерешительно спросил Марков.— Или не стоит? Здесь по крайней мере мы уже знаем, чего ждать...

— Пошли,— решительно сказал Надеждин.— Кто знает, может, удастся добраться до корабля...

Они вышли на улицу. Никто не остановил их, никто, казалось, не следил за ними, никто не обращал на них никакого внимания.

Мимо них вдоль бесконечных и совершенно одинаковых строений без окон проходили роботы, похожие друг на друга, невозмутимо спокойные и молчаливые. Через несколько минут космолетчики заметили, что часть из них идет быстро, часть значительно медленнее. Похоже было, что у них было всего две скорости передвижения — первая и вторая. Они не видели, чтобы хоть какой-нибудь бетянин на мгновение задержался и посмотрел на них. И даже не останавливаясь, они ни разу не повернули в их сторону свои огромные глаза-объективы.

Эта механическая безучастность казалась людям противоестественной. И вместе с тем голубовато-белые обитатели города не походили на части машины, ибо они шли каждый по какому-то своему делу, не соприкасаясь с другими и не влияя на других.

— М-да...— в глубочайшем изумлении пробормотал Густов.— Эти ребята как раз по мне, весельчаки, балагуры, зеваки...

— Я сейчас подумал,— сказал Надеждин,— что случилось бы, если в Москве на улице вдруг показалась бы тройка этих типов. Как мы здесь. Вы себе представляете?

Все трое засмеялись. Забыв на минуту об окружавшем их странном мире, они наперебой принялись рисовать поведение москвичей при виде тройки металлических бетян, гуляющих по улице Горького.

Внезапно несколько роботов, мерно переставлявших ноги впереди них, резко ускорили шаг, почти побежали. Они пересекли улицу и бросились к другому роботу, который шел медленнее, чем все остальные, то и дело нерешительно останавливаясь. Он наверняка видел своих преследователей задней парой глаз, но не сделал и попытки убежать. Несколько металлических рук схватили его. Послышалось царапание металла о металл, и он упал. Кирд не сопротивлялся, не пытался вырваться. Он просто лежал на земле. Он даже не был покорным, он был безучастным.

Надеждин сделал было шаг вперед, но одумался и застыл, глядя на необычную сцену. Один из роботов протянул руку к животу поверженного, раскрыл в нем небольшую дверцу и вытащил из углубления несколько круглых предметов. Лежавший робот слегка осел как бы под своей тяжестью. Его правая нога, согнутая в колене, медленно распрямилась.

К тротуару неслышно подплыла тележка, такая же, как та, на которой их привезли в город. Те же роботы подняли лежавшее тело и небрежно швырнули на платформу. Неестественно согнутое, оно лежало на тележке голубовато-белой металлической грудой, и космонавты, застыв на месте, смотрели, как поднялись края платформы и как тележка, бесшумно скользя над землей, скрылась за ближайшим поворотом.

Космонавты молчали. Бетяне, которые только что рас-

правились со своим товарищем, как ни в чем не бывало снова двинулись вперед, каждый по своему делу. Ни одного лишнего движения, ни одного звука, кроме шороха торопливых шагов.

— Гм,— хмыкнул Марков,— чистая работа. Возлюби ближнего, как брата своего...

Ему никто не ответил. Унылые ряды зданий без окон внезапно кончились. За последним из них простиралась слегка холмистая долина. Где-то там за нею, на каменистом плато, стояла «Сызрань».

Они все время думали о корабле, сотни раз обсуждая вопрос, включен или выключен гравитационный прожектор, смогут ли они подняться с Беты, если окажутся там, на плато, и сейчас, оставшись одни, вдруг ощутили какую-то неуверенность. Конечно, они хотели оказаться в привычной рубке «Сызрани», ощутить родную атмосферу космолета, направляясь домой, но вместе с тем непонятная Бета с ее голубовато-белыми роботами дразнила их любопытство. Нет, они все же не имели права не сделать попытки выбраться отсюда. Космонавты переглянулись, поняв друг друга, но в то же мгновение перед ними оказался робот и молча показал им на город.

Они поняли его жест. И, к своему величайшему изумлению, даже почувствовали облегчение... Они оставались на Бете.

3

Первым проснулся Марков. Он несколько минут лежал в полудреме, когда просыпающийся мозг еще не в силах отогнать сновидения. Но вот затекшая от неудобного лежания шея заставила его открыть глаза и сесть. В первое мгновение ему почудилось, что он еще спит и что бодрствование лишь снится ему. Вокруг стояла густейшая темнота. Мрак ощущался физически, он был так плотен, что казалось: проникни в него луч света, он сломался бы, ударившись о него.

За несколько дней, проведенных в круглом зале лаборатории, они уже свыклись с постоянно освещавшим его неярким сиянием. Но сейчас все вокруг было черно. Темнота уничтожила ощущение пространства. То Маркову казалось, что стены где-то совсем рядом, стоит лишь протянуть руку, чтобы коснуться их, то вдруг он ощущал себя безмерно крошечной точкой в бесконечном океане

мрака. Он прислушался. Все кругом безмолвствовало, и лишь рядом слышалось ровное дыхание спящих товарищей. Он обрадовался этому звуку так, как никогда не радовался ни одному звуку на свете. Он возвращал его в мир привычных ощущений, в мир, в котором нужно действовать, что-то делать, а не ждать, пока абсолютный мрак и тишина не начнут гасить сознание.

— Коля, Володя,— почему-то прошептал он.

Он разбудил товарищей, и втроем они долго сидели, всматриваясь в черноту, и напряженно прислушивались к безмолвию. Первый страх уже прошел, и они начали думать, что делать.

— Давай-ка ощупаем стены, черт его знает, может быть, найдем дверь,— сказал Надеждин.

— Ее и при свете-то не было заметно,— ответил Марков, но встал, потягиваясь.

Вытянув перед собой руки, они медленно двинулись вперед, пока не коснулись стены.

— Значит, я иду в одну сторону, вы — в другую,— сказал Надеждин.— Где-то мы встречаемся, поскольку зал круглый. Может быть, удастся нащупать дверь.

Они двинулись вдоль стены, тщательно ощупывая ее поверхность. Она была гладкой и казалась во мраке бесконечной.

— Ну как у тебя, Коля? — спросил Марков.

— Пока ничего,— ответил откуда-то из темноты Надеждин.

— Ой! — вдруг вскрикнул Густов.— Есть! Вот она, болезная, дверца наша милая!

— Где? Где?

— Да вот, чуть приоткрыта, давайте ваши руки, ну, нашли? Слава космическому богу.

Втроем они ощупали слегка выступавший на гладкой стене край двери. Надеждин вцепился в него пальцами и напряг мышцы. Ему показалось, что дверь слегка подалась.

— Ну-ка давайте все втроем,— скомандовал он.

Массивная металлическая дверь пошла легче, и вдруг в образовавшуюся щель ударил яркий луч света. Они стояли, тяжело дыша, и щурились после темноты.

— Да-а...— протянул Густов.— У меня такое впечатление, что эти железные детки только тем и занимаются, что придумывают нам все новые загадки. Сидит какая-

нибудь представительная комиссия роботов и изобретает специально для нас сюрпризы... С их головами они еще не то придумают.

Они вышли на улицу и — замерли. Улица была пустынна. Ни один робот не брел вдоль ее длинных однообразных строений. Они огляделись. Ни души вокруг, ни единого звука. Перед ними расстилались геометрически правильные улицы и геометрически правильные коробочки — дома.

— Час от часу не легче,— пробормотал Марков, поеживаясь.— Интересно, что вся эта чертовщина должна означать?

— Похоже, что где-то у них что-то случилось с источником энергии,— задумчиво сказал Надеждин.— Поэтому-то и погасли стены нашей резиденции, и дверь оказалась незапертой, и все эти джентльмены куда-то внезапно запропастились.

— Вполне правдоподобно,— ответил Марков и, подумав, добавил: — А может быть, это и есть наш единственный шанс распрощаться с Бетой? Пока они лишены энергии, наверняка и их гравитационное устройство бездействует. Как вы думаете? А? Не знаю, как вы, а я хочу домой. Сяду в свое любимое продавленное кресло, включу стереовизор, посмотрю «Голубой огонек» с Марса или из Кейптауна...

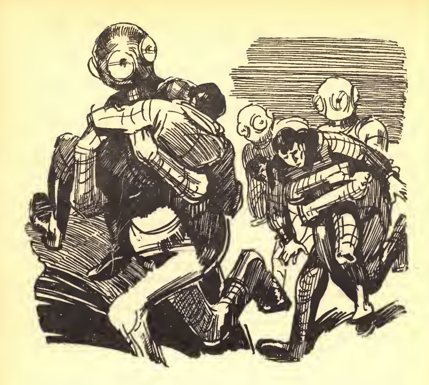
— Сыграешь с женой в крестики и нолики,— усмехнулся Густов.

Надеждин открыл было рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент они услышали позади себя топот. Они оглянулись и увидели несколько роботов, что есть силы мчавшихся по направлению к ним. Прежде чем космонавты успели что-либо сообразить, роботы подбежали к ним, сгребли их в охапку и, не снижая скорости, помчались дальше.

— Эй! — крикнул Надеждин, пытаясь высвободиться из цепких металлических объятий, но две голубовато-белые руки крепко прижимали его к огромной груди.

Робот бежал легко и быстро и, казалось, был озабочен тем, чтобы не причинить боли своей ноше.

— Послушайте,— сказал Надеждин,— меня не носили на руках уже лет тридцать с лишним.— Он говорил только для того, чтобы услышать самому звук своего голоса и убедиться, что это не сон. Он вытянул шею и, ка-



саясь ухом груди своего робота, повернул голову. Два других робота бежали рядом, неся на руках Маркова и Густова, а сзади слышался топот еще нескольких пар ног.

— Н-на... ру-ках...— вдруг пробормотал над самым ухом Надеждина робот, и командиру «Сызрани» показалось, что он уже где-то слышал этот голос, исходивший из металлической грудной клетки.— Пос-лу-шайте,— снова пробормотал робот,— тридцать с лишним... лет...

Надеждин повернул голову в другую сторону и прямо перед глазами увидел на металлической поверхности тела робота какие-то выштампованные знаки.

Командир «Сызрани» ничего не мог понять и уже ничему не удивлялся, он был захлестнут потоком непонятных событий. Мысль, отчаявшись найти в них логику, буксовала на месте, словно попавший в вязкую глину автомобиль.

— Послушайте,— на этот раз увереннее сказал робот, и Надеждин вдруг понял, что напоминали ему этот голос и эти интонации. Голос как две капли воды был похож на его собственный.

Внезапно робот резко бросился в сторону, и Надеждин от толчка ударился головой о его грудь. Затем круто повернул, остановился и ослабил объятия. Надеждин сполз на землю и тут же вскочил на ноги. Впереди над самой поверхностью улицы плыла уже знакомая космонавтам тележка, на платформе которой лежало несколько роботов.

Надеждин почувствовал прикосновение руки стоявшего рядом с ним бетянина и поднял глаза. Робот посмотрел на него, и космонавту показалось, что в глазах-объективах мелькнуло нечто человеческое. В следующее мгновение робот втолкнул его в подъезд дома, и в руках его откуда-то появилась короткая трубочка, которую он направил на приближавшуюся тележку. Рука его еще поднималась к линии прицела, когда впереди со стороны тележки что-то сверкнуло, послышался слабый шорох, и робот начал грузно оседать на землю. Задняя пара его глаз смотрела на Надеждина, и ему снова почудилось что-то живое в их взгляде, похожее на грусть.

— Послушай...— пробормотал робот и с металлическим лязгом упал на мостовую.

Рядом упал еще один робот. Остальные, бросив свою ношу, скрылись за углом.

Надеждин вышел из подъезда. Навстречу ему, пошатываясь, брели Марков и Густов. Оба были бледны.

— Что дальше? — спросил Густов. Он попытался улыбнуться, но губы его дрожали.— А я еще думал о бетянках...

— Когда я редактировал звездные атласы в Калужском центре,— задумчиво сказал Марков,— я всегда уходил с работы ровно в четыре.

— Ах, дядя Саша, какая это была жизнь! — сказал Густов.— А теперь тебя таскают на руках на Бете чужие роботы и отпускают только, чтобы немножко пострелять. Ах, дядя Саша, нет в тебе нашей настоящей космической жилки...

Около космонавтов остановилась тележка, и сидевший на ней робот молча показал рукой на платформу. Они уселись и бесшумно понеслись вдоль длинных до-

мов. У круглой лаборатории тележка опустилась на землю. Их никто не встречал, и они остановились, глядя в нерешительности по сторонам.

— Дети мои,—протянул Надеждин,—если кто-нибудь и может объяснить всю эту чертовщину, то только не я.

— Нас хотели похитить. Это бесспорно. Так? — сказал Марков.— Так. Стало быть, мы представляем какую-то объективную ценность. Для этого ходячего металлолома по крайней мере. Это уже приятно. Кроме того, эти твари не так уж едины, как кажется на первый взгляд. Это тоже неплохо. Правда, как они узнают друг друга — ума не приложу.

— И не прикладывай,— засмеялся Густов.— Не твоего ума это дело. Мне почему-то кажется, что эти веселые ребята, которые пытались нас умыкнуть, имеют какое-то отношение к аварии в их энергетической системе.

— Вполне возможно,— задумчиво сказал Надеждин.— То, что я вам сейчас скажу, возможно, покажется вам чушью, но, по-моему, я прав. Мне показалось, что наши похитители чем-то отличаются от здешних роботов. Вы знаете, пока он меня тащил, я что-то такое бормотал, а он потом повторял мои слова. Он сказал: «послушайте», «на руках» и еще что-то. У меня было чувство, что он в чем-то человечнее, что ли...

К космонавтам подошел робот, внимательно посмотрел на них и вдруг сказал:

— Пройдите в лабораторию.

— Вы... уже хорошо говорите на нашем языке! — широко улыбнувшись, сказал Густов.

— Ваш язык проанализирован и почти полностью расшифрован,— бесстрастно проскрипел бетянин и открыл дверь в лабораторию.

— Да... но... значит, мы можем с вами поговорить? — недоверчиво спросил Густов.

Робот ничего не ответил. Он устанавливал в зале треножник, на котором висела сотканная из тончайшей проволоки сетка.

Робот подошел к Густову и потянул его за руку.

— В чем дело? Опять меня?

Робот не ответил. Осторожно нажимая на плечи Густова, он усадил его на пол и накинул на голову сетку.

— Володя,— дрожащим голосом сказал Марков,— Володя, дай-ка лучше я надену эту паранджу.

— Ничего, ничего, я почему-то сейчас не боюсь. Не знаю почему, но не боюсь. Наверное, опять какой-нибудь эксперимент. Черт с ними! Это все равно как получение санаторно-курортной карты. Хочешь не хочешь, а нужно пройти все процедуры. Ну, скоро? — спросил он робота.

Тот снова промолчал. Через несколько минут он снял сетку с головы Густова и исчез, унося с собой треножник.

4

Мозг никогда не спал. В отличие от обыкновенных кирдов он никогда не выключал своего сознания, никогда не экономил энергии. Дни и ночи, месяцы и годы в сотнях километров его логических цепей, в миллионах клеток безостановочно циркулировал ток. Если выходила из строя главная энергетическая установка, автоматически включалась запасная, если и с ней случалась авария, в строй вступала вторая запасная система. Мозг должен был работать всегда, ибо он был движущей силой цивилизации, ее пружиной, подталкивавшей своими командами сотни и тысячи кирдов. Он был один, он был незаменим, в нем сконцентрировалось прошлое цивилизации кирдов, их настоящее и будущее.

Этим утром он послал телеприказ Двести семьдесят четвертому немедленно явиться к нему. Он мог бы, конечно, получить от кирда нужную информацию и на расстоянии, но сколь совершенной ни была телесвязь, в важных случаях он предпочитал вызывать кирдов к себе. Так было меньше шансов, что при передаче информация подвергнется искажению. Двести семьдесят четвертый зафиксировал получение приказа и быстрым шагом направился к южной окраине города, где возвышалась Башня Мозга. У наружной металлической ограды путь ему решительно преградили два сторожевых кирда. Они тщательно осмотрели номер, выштампованный у него на груди, раскрыли дверцу на животе, вынули аккумуляторы, посмотрели, нет ли в камере лишних предметов, снова вставили их на место и пропустили его вперед.

У внутренней ограды его опять остановили. Два других охранника, ловко действуя специальными инструментами, отвинтили верхнюю крышку его головы и принялись проверять его мозг. Они копались в нем деловито

и быстро, повторяя тысячи раз проделанную операцию. Несмотря на утреннюю проверку на контрольной станции, каждый кирд, перед тем как войти в Башню Мозга, должен был пройти тщательнейший мозговой контроль. Ни одной дефектной, непривычной мысли не должно было быть у того, кто оказывался перед Мозгом. На портативных тестерах стражников несколько раз вспыхнули красные лампочки — мозг кирда действовал исправно и ничего подозрительного не содержал.

Молча они пропустили его к входу в Башню. Третья пара сторожевых кирдов еще раз проверила его номер, просветила тело лучом дефектоскопа и отворила дверь.

Двести семьдесят четвертый впервые шел к Мозгу. Он торопливо поднимался по лестнице, не думая ни о чем и не испытывая ничего. Все, что он знал, все, о чем он думал, выполняя приказы, было навечно выгравировано в его совершенной памяти, и в любое мгновение он мог извлечь из нее все, что могло потребоваться.

Мозг занимал огромный зал на верху Башни. В отличие от простых кирдов, он не мог двигаться, ибо был слишком огромен. Да у него и не было необходимости примитивно передвигаться в пространстве, потому что каждый кирд служил лишь продолжением его самого. Они были сотнями его рук, ног, глаз, всегда готовыми выполнить любой его телеприказ.

Двести семьдесят четвертый остановился перед гигантской головой Мозга, и несколько пар глаз объективов цепко ощупали каждый квадратный миллиметр поверхности его тела.

— Говори,— безмолвно приказал Мозг.

И Двести семьдесят четвертый так же безмолвно ответил:

— Приказ гласил: посадить на планету любой космический корабль, который оказался бы в зоне действия гравитационного прожектора. Восемь дней назад приказ был выполнен. Корабль оказался небольшим. Он стартовал с планеты, жители которой обозначают ее словом «Земля», и носит название «Сызрань». В корабле были обнаружены три живых существа низшего типа, ибо они построены из живой ткани, и одно существо, на первый взгляд стоявшее на более высокой ступени развития. Однако последнее, прикрепленное к кораблю, оказалось при изучении лишь вспомогательным устройством, и его

логическое мышление ограничено узким кругом задач, связанных с движением корабля. Таким образом, мы столкнулись с труднообъяснимым явлением, когда логически мыслящее устройство оказалось в подчинении у нелогически мыслящих существ.

— В чем проявилась их нелогичность? — спросил Мозг.

— Их поведение буквально на каждом шагу характерно лишней затратой энергии, множеством сумбурных мыслей, которые они частично выражают вслух, создавая при помощи специальных устройств в теле звуковые волны, частично позволяя им многократно циркулировать в контурах их мозга. Мы поместили людей в круглый зал Центральной лаборатории и провели ряд экспериментов. Результаты были самыми неожиданными. Выяснилось, например, что они получают энергию, вставляя в узкую щель на лице продукты биологического происхождения. Эффективность такого метода восполнения энергии чудовищно мала по сравнению с питанием током от аккумуляторов.

Непредвиденной также оказалась их реакция в случаях, когда им казалось, что они находятся в опасности. Почти все их внутренние органы начинали работать в особом режиме, изменялось и поведение, и даже их внешность. Их и без того малоразвитая способность к логическому анализу заметно ухудшалась, в мозгу появлялся своеобразный мысленный вихрь, который с трудом поддавался дешифровке.

Один из них, например, при опускании потолка почему-то думал о небольшого роста существе, которое он якобы держал на руках. Другой пытался удержать потолок спиной. Третий думал о демонтаже, который у этих людей обозначен, очевидно, словом «смерть». На основании множества тщательных наблюдений вообще можно сделать вывод, что перспектива возможного демонтажа — смерти — почему-то вызывает со стороны людей энергичную реакцию. Как это ни странно звучит, но складывается впечатление, что они всегда всеми силами стремятся избегнуть демонтажа.

— Избегнуть? — переспросил Мозг.

— Да, избегнуть. Они называют эту реакцию словом «страх», хотя никогда не произносят его вслух. Другая характерная реакция, которую нам удалось установить

у людей, протекает так же бурно. Как правило, она направлена против объекта, который чем-то вызывает ее. Мы решили определить силу их конечностей и прочность материала, из которого они сделаны. И кирд, сжимавший руки одного из испытуемых, мгновенно стал объектом именно такой реакции, которая сопровождалась атакой на него.

И наконец, третья, наиболее типичная для них реакция труднее всего поддается дешифровке. Она связана с тем, что определенные объекты, такие, например, как они сами, их планета, какие-то оставшиеся на ней люди, все время занимают их мысли. Мыслительный процесс при этом теряет последние остатки стройности и гармонии и ведет снова к многим явно лишним движениям и мыслям. Иногда они выражают эту реакцию при помощи слов, и в голосе у них появляется своеобразная дрожь. Они стремятся защитить объекты этой третьей реакции от опасности, как это было при попытке определить прочность конечностей одного из них.

Двести семьдесят четвертый закончил свой краткий доклад и неподвижно стоял перед глазами Мозга. Он не думал о том, сказал ли все, о впечатлении, которое произвели его слова на Мозг, он просто стоял и ждал дальнейших приказов.

— Эти существа должны остаться у нас,— сказал наконец Мозг.— Главное, чтобы они не попали в руки дефов, которые вчера уже пытались похитить их. Охрана людей должна быть усилена, и каждый из охраняющих их кирдов должен получить оружие и запасные аккумуляторы. Изучение их продолжать. Иди.

Двести семьдесят четвертый зафиксировал приказ и спустился по лестнице быстрым шагом кирдов, выполняющих команду.

Мозг думал. Полученная им информация снова и снова анализировалась в его электронных цепях. Они выдавливали из нее все, что могло что-то значить, искали в фактах скрытый смысл, дробили их и снова составляли в единое целое.

Мозг не случайно отдал приказ о посадке на своей планете какого-нибудь космического корабля. Он был всемогущ в своем умении анализировать факты и уже давно начал понимать, что цивилизация кирдов все еще не стала совершенной. За те тысячи лет, которые про-

шли с момента, когда исчез последний верт и Мозг приниял иа себя всю власть на плаиете, ои миллиарды раз пытался отыскать то звено, которого не хватало их цивилизации. Ои пропустил через свои анализаторы все сведеиия, доставшиеся ему от цивилизации вертов, но оии ничего значительного ие завещали своим потомкам. Лишенные мысли, слабые, забывшие все, что зиали, оии пассивио и тупо шли к своему закату и ничего не могли дать Мозгу, который они когда-то создали, который пережил миогие поколеиия вертов и никогда с тех пор не мог перенять у них чего-нибудь того, чего ои не знал бы.

Мозг сделал все, что мог. Миого раз ои усовершенствовал память своих кирдов. Оии стали думать в сотни раз быстрее, их аиалитические способиости стали беспредельными, не было задачи, которую оии не могли бы решить. Кроме одиой. Их цивилизация стояла иа месте. Они не развивались, а Мозг знал, что цивилизация, которая не развивается, обречеиа. Ои понимал это слишком хорошо, зиая судьбу вертов и их жалкое угасание, когда десятки последних поколеиий вертов могли существовать лишь под защитой кирдов, когда кирды думали за них, работали за иих и под коиец начали жить за них. Это было иемииуемо. Верты слишком полагались на созданиый ими Мозг, все больше и больше перекладывая иа иего заботу о прогрессе. Оии разучились думать и тем самым обрекли себя иа физическое вымирание, потому что у высокоразвитых цивилизаций мышление и существоваиие сиионимы. Верты вымирали, и Мозг, поняв, что они обречены, иачал создавать новую цивилизацию — цивилизацию кирдов. Но сколь ни была безграиична его способность к мышлеиию, он не мог полностью смоделировать жизнь. И давно уже он начал поиимать, что кирды так же зависят от него, как зависели верты. Практически, по сути, это была та же цивилизация, только исчезиувших вертов заменили кирды.

Потом появились дефы, и, когда число их стало расти и когда с иими стало все трудиее и труднее справляться, он поиял, что иа своей планете недостающее звеио их цивилизации ему ие найти. Цивилизация не только не развивалась, над ией иачинал реять призрак уничтожения. Дефы, носители хаоса, были иепосредствениой угрозой. Он не мог их уничтожить, ибо оии были ему непод-

властны. Дефы были лишены стройного мышления, ибо были дефектными, и их действия не могли быть предсказаны. Он не мог и принять их, ибо они не повиновались его командам и тем самым ставили себя вне гармонии.

Мозг думал, поглощая львиную долю энергии, которой располагала Бета Семь. Звено нужно было найти. Одна за другой, в строжайшей логической последовательности, мысли рождались в глубинах его электронного сознания, взвешивались, обдумывались, исследовались и уступали место новым.

И тогда он впервые подумал о других мирах и о других цивилизациях. И вот теперь ему следовало найти у этих трех существ ответ.

На какой бы стадии физического развития они ни находились, эти люди явно были посланцами жизнеспособной цивилизации. Они путешествовали в космосе, а Мозг до сих пор никогда не мог и думать о том, чтобы послать своих кирдов в межзвездное пространство. Он не мог оставить их на планете без себя, отправившись туда сам, а послать их одних было немыслимо. Они не могли функционировать без него, дающего их существованию смысл, разум и цель.

В них было что-то странное, в этих людях. Хрупкие, слабые, плохо защищенные от внешнего мира, нелогичные во многих своих поступках, они вместе с тем имели нечто такое, чего не имели кирды. Они не ждали приказов, ведь у них не было Мозга, они получали импульсы не извне, а находили их где-то в себе. Что заставляло их так гибко отвечать на меняющуюся обстановку? А эти странные, непонятные реакции, которые сопровождали почти все их действия?

Почему они так избегают демонтажа? Может быть, эта реакция, о которой говорил Двести семьдесят четвертый, и служит ответом на его вопрос.

В нем медленно созревало решение. Оно зародилось в глубинах его чудовищного сознания и медленно подымалось на поверхность, становилось все более четким и ясным, пока не вылилось в лаконичную форму приказа. Он снова вызвал Двести семьдесят четвертого и отдал телекоманду:

— Сегодня же закончить изучение первой реакции людей, о которой докладывал. Перенастроить несколько

десятков кирдов, введя в них реакцию, о которой идет речь. Скопируйте эту реакцию у людей, ничего не меняя и не дополняя. Только эту реакцию. Кирды с новой реакцией должны продолжать обычную повседневную работу, в первую очередь строительство второй проверочной станции. Завтра же установить там новый стенд, который учитывал бы введенную реакцию. И последнее. Ты также должен пройти перенастройку. Это важно. Потом ты доложишь мне о результатах. Людей завтра из лаборатории выпустить, продолжая охранять их и наблюдать за ними. Важно знать их реакции и поведение в обычных условиях.

Мозг продолжал думать, анализируя возможные изменения в кирдах после перенастройки. Он заметил, что отдельные его узлы слегка перегрелись. Нужно будет найти слабые места в анализаторах и интеграторах. Он включил автопроверочную систему, но тут же последовал ответ, что все его органы в полном порядке.

Он не знал, что такое нетерпение и любопытство, как не знал и других эмоций, и поэтому никак не мог понять, почему сегодня думает с большей интенсивностью, чем обычно.

## 5

Двести семьдесят четвертый стоял в очереди перед входом в проверочную станцию. Он не испытывал никакого нетерпения, его не раздражало длительное ожидание. Время ничего не значило для него, потому что ощущение времени дается только неминуемой смертью, а кирды не знали смерти. Разумеется, в любой момент они могли стать дефами и подвергнуться демонтажу, но он не был равнозначен индивидуальной смерти, а был лишь процедурой, столь же естественной и будничной, как подзарядка аккумуляторов, как ежедневная обязательная проверка.

Наконец он вошел в станцию. Два кирда быстро сняли с полки новенький голубовато-белый шар, подсоединили к стенду, подождали, пока мигнет красная лампочка. Он услышал легкое металлическое позвякивание и понял, что дежурные кирды отвинчивают его голову. Он поднял глаза и посмотрел на их руки: они работали быстро и сосредоточенно.

— Сюда,— беззвучно сказал один из мастеров,— давай провод.

Они осторожно поставили новую голову на шею Двести семьдесят четвертого, так, чтобы замкнулись контакты, и принялись завинчивать болты.

Двести семьдесят четвертый открыл глаза. Он увидел знакомый зал проверочной станции, руки кирдов, прикреплявших к туловищу его новую голову. Разрыв в несколько минут в самосознании не занимал его мыслей. Он просто не думал о нем. Он думал над проблемой дальнейшего изучения людей, продолжая тот же анализ, которым был занят до того, как с металлическим лязгом полетела в ящик его прежняя голова. И вместе с тем его мышление теперь было уже совершенно другим. Он привык к тому, что его мозг работал четко и ясно, как бы отбивая некий ритмический такт. Мысли текли легко и свободно, так же как легко и свободно пульсировал ток в километровых цепях его мозга. Теперь же они загустели, словно масло на морозе, и двигались тягуче, с трудом цепляясь друг за друга. Раньше кирд ни разу не думал о цвете своих мыслей, а если бы он получил такой приказ, они представились бы ему текуче-прозрачными, как вода. Сейчас он почему-то представил их густо-коричневыми. Мучительно-медленно его охватывало какое-то чувство, первое чувство, когда-либо испытанное им. «Это, наверно, и есть их первая реакция — страх»,— подумал кирд.

Страх разливался в нем, словно река в половодье. Он, казалось, обладал способностью проникать в мельчайшие клетки его мозга. Двести семьдесят четвертый был теперь насыщен страхом. Мастера, стенд, весь зал проверочной станции, сами ее стены — все эти знакомые предметы угрожающе надвигались на него, стремясь сомкнуть, раздавить, уничтожить.

Двести семьдесят четвертому хотелось бежать, исчезнуть, лишь бы спрятаться от угрозы. Но и движения его тела стали медлительными и неуверенными. Ему хотелось бежать, потому что он боялся, но теперь он почувствовал, что и бежать-то он боялся. Ему хотелось протестовать, но и протестовать он боялся.

Он заставил себя выйти из проверочной станции. Рядом строилась вторая станция. «Ее строители тоже должны были сменить головы»,— подумал Двести семь-

десят четвертый. Те же кирды, которые еще вчера работали ритмично-размеренно, как хорошо отлаженные механизмы, теперь еле двигались. Они хватались то за одну, то за другую деталь, испуганно бросали ее, торопливо оглядываясь, нет ли поблизости дежурного кирда. Движения их были скованными. Они вздрагивали при каждом звуке и пытались втянуть свои огромные шарообразные головы в плечи.

Двести семьдесят четвертый шел к лаборатории. Он то делал несколько шагов, то замирал, охватываемый невообразимо огромным страхом, который мгновенно выключал все его аналитические утройства. Мысли его путались и беспомощно метались в мозгу, не в силах выстроиться в четкий ряд умозаключений.

«Это лишь экспериментальная реакция»,— тоскливо думал он, пытаясь обрести былую бестеневую ясность и четкость мышления, но он был безоружен перед страхом.

Он подошел к зданию лаборатории и долго колебался перед тем, как открыть дверь. Мозг его и все тело, казалось, съежились, и внутри образовался какой-то вакуум, который тут же заполнился безотчетной тревогой. Шестьдесят третий, стоявший у двери, внимательно посмотрел на него, и Двести семьдесят четвертый вздрогнул. «Сейчас он заметит мои отклонения от нормы и сообщит о них на проверочную станцию. Они объявят меня дефектным, вынут аккумуляторы и отправят на переработку». Эта мысль заставила быстрее работать его мозг, и он почувствовал, как нагреваются от усиленного расхода энергии его проводники.

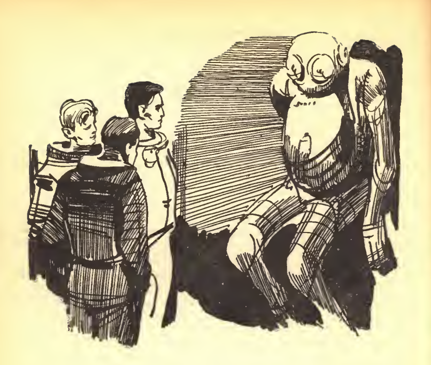
Переработка? Конец? Он представил себя грудой безжизненного металла и мысленно застонал. Нет, нет, мысль была чудовищной и цепенящей, ее надо гнать, гнать, гнать от себя, она не вмещалась в нем, распирала его, но он не мог избавиться от нее. Еще мгновение — и она взорвет его изнутри.

Он собрался с силами и вошел в лабораторию.

— Мир входящему,— церемонно поклонился кирду Густов и сделал несколько шагов вперед.

Двести семьдесят четвертый вздрогнул, как от удара, отпрянул от космонавта и заметался по круглому залу, пытаясь где-нибудь спрятаться.

Космонавты, широко раскрыв глаза, смотрели на робота.



— Что у него там? — постучал Густов пальцем по лбу.— Что-нибудь не в порядке с электроникой? Дефект какой-нибудь.

Слово «дефект» произвело на робота впечатление неожиданного удара. Он дернулся, бросился вперед, остановился, ринулся на стену, как бы намереваясь пробить ее, грузно осел на пол, но тут же снова вскочил.

— Нет,— закричал робот высоким пронзительным голосом,— дефектов нет! — Он умоляюще смотрел на космонавтов и повторял: — Нет дефектов, нет дефектов! Нет деф, нет!

Экипаж «Сызрани» оцепенел. Каждый вечер им казалось, что они уже перерасходовали свой запас эмоций и уже никогда в жизни не смогут поразиться чему-либо на этой планете. И каждое утро изумление и острое любопытство опять охватывали их, словно заново накопились за ночь.

— Это тот же самый, наш? Как ты думаешь? — почему-то шепотом спросил у Надеждина Марков.

— По-моему, он,— нерешительно ответил Надеждин.— Я заметил у него две вмятинки, одну на лодыжке, другую на животе. Смотри, вон. Но голова у него не та. Ей-богу, не та. У той около передних глаз была царапинка, а у этой нет. Но что он говорит... не понимаю...

— А может быть, он просто надел сегодня свежую голову? — улыбнулся Марков.— Мне иногда тоже хочется проделать такую операцию.

— Перестань,— сказал Надеждин. Он встал и медленно сделал несколько шагов по направлению к роботу.

Тот затрепетал всем своим массивным металлическим телом и отступил назад.

— Ну что с вами? — ласково пробормотал Надеждин. Он почему-то вспомнил свою маленькую дочку и подумал, что говорит сейчас с теми же интонациями, с которыми всегда разговаривал с ней, когда нужно было ее успокоить.— Ну не надо, не надо, не бойтесь, вот так.

Робот почти перестал дрожать. Он стоял и молча смотрел на Надеждина. Тот поднял руку, и робот снова попятился от него.

— Ну зачем так,— ворковал Надеждин,— не надо бояться. Роботы никого не боятся.

— Страшно,— тихо прошептал Двести семьдесят четвертый.

— Ну так прямо и страшно,— сказал Надеждин и осторожно положил руку на плечо робота.

Робот был намного выше его, и командиру «Сызрани» пришлось поднять руку.

Двести семьдесят четвертый не знал, что такое благодарность, так же как не знал, что такое симпатия. Он лишь почувствовал, что переполнявший его страх куда-то медленно отступал, и его анализаторы подсказали ему, что простого совпадения быть не могло. Когда этот человек, которого его товарищи называют множеством имен: то Колей, то Надеждиным, то товарищем командиром,— когда этот человек стоял рядом с ним, широко расставив ноги и положив свою мягкую, почти невесомую руку на его плечо, страх таял. Он стоял рядом с Надеждиным и не хотел отходить от него. Он боялся возвращения страха.

— Ну вот и умница,— сказал Надеждин и ужаснулся абсурду всего происходившего. Он, человек с планеты

Земля, командир «Сызрани», стоит в чужом мире рядом с металлическим роботом и успокаивает его ласковым бормотанием. Он пожал плечами. Он уже устал поражаться.

Марков и Густов медленно подошли к ним.

— У вас есть имя? — вдруг спросил Марков.

Робот вздрогнул.

— Да,— испуганно сказал он.— Двести семьдесят четвертый.

— Зовите меня просто Двести,— пошутил Густов, но Марков и Надеждин выразительно посмотрели на него, и он сконфуженно замолчал.

— Ну вот и прекрасно,— так же ласково сказал Надеждин.— Теперь мы знакомы, меня зовут...

— Коля,— сказал кирд.— А это Володя-Вольдемар, а это Сашенька-Саша — дядя Саша.

Космонавты рассмеялись. Кирд было вздрогнул от непривычного звука, но тут же успокоился. Страха почти не было, но он не исчез, а ушел куда-то в глубину, и больше всего Двести семьдесят четвертый боялся, что вот-вот он снова вынырнет на поверхность. Но все-таки этот страх был намного легче необъятного ужаса, который он испытал утром.

— Мозг проводит эксперимент,— вдруг сказал он. Он не понимал, почему сказал эти слова. У него не было приказа сообщать людям о том, что происходит у кирдов. Но он почему-то продолжал говорить, медленно объясняя людям приказ Мозга.

— Дела...— задумчиво протянул Марков, когда кирд замолчал,— ну и ну...

— Вот так-то, мои маленькие бедные друзья,— сказал Густов.— Мы призваны оздоровить местную цивилизацию. Галактика нам этого не забудет. Оздоровим, ребятки?

Они вышли на улицу и остановились у входа в лабораторию. Половина роботов двигалась, как обычно, размеренно переставляя ноги. Одни не смотрели по сторонам, идя к своей точно известной цели. Другие же кирды пугливо крались вдоль бесконечных, унылых стен, то прижимались к ним, озираясь по сторонам, то судорожными прыжками перебегали на противоположную сторону улицы.

За людьми неотступно следовали два кирда, не спу-

скавшие с них глаз. Космонавты оказались у строительства второй проверочной станции. При их появлении кирды в ужасе застыли, потом снова принялись работать. Стоявший ближе к космонавтам кирд поднял с земли бело-голубую металлическую пластинку, украдкой посмотрел на Двести семьдесят четвертого, вздрогнул и выпустил ее из рук. Пластинка со звоном упала на мостовую. Кирд закрыл лицо руками, словно ожидая удара, покачнулся и вдруг сорвался с высоты нескольких метров. Он упал, нелепо взмахнув в воздухе руками, и остался лежать не двигаясь. Левая его нога была неестественно согнута.

Остальные строители бросили свою работу и кинулись наутек, но, отбежав метров на сто, в нерешительности остановились.

Марков опустился на колени и попытался поднять лежавшего кирда, но в этот момент к ним бесшумно подплыла тележка. Соскочившие с нее кирды бросились к лежавшему и торопливо открыли дверцу на животе. Кирд дернулся, делая попытку встать, протянул вперед руку, но кирды с тележки уже вынули из него аккумуляторы, и он замер. Они бросили его на платформу, и так же бесшумно, как появилась, тележка исчезла за поворотом.

Двести семьдесят четвертый оцепенело глядел прямо перед собой, когда в мозгу у него прозвучал сигнал команды — Мозг приказывал ему явиться для доклада.

Ужас снова застлал ему глаза. Он не помнил, как добрался до Башни Мозга. Предчувствие беды сковывало его. Он боялся подняться по лестнице, но так же боялся ослушаться команды. Несколько раз он останавливался, не в силах пройти сквозь плотную завесу боязни неведомого, которая вставала перед ним каждые несколько шагов. Он вспомнил о людях и о том необъяснимом спокойствии, которое испытал подле них. Мысли лихорадило, он почти ничего не понимал.

Если его еще не объявили дефом, думал он, то только потому, что никто не успел заметить странностей в его внешнем поведении. Но сейчас он начнет докладывать Мозгу, и Мозг сразу заметит его дефективность. А может быть, это просто первая человеческая реакция? Он окончательно запутался. Он подумал было о том, чтобы

отправиться домой, встать в свой загончик и выключить сознание. Но он выполнял приказ и не мог ослушаться.

— Двести семьдесят четвертый,— приказал Мозг,— доложи о ходе эксперимента.

Кирды никогда не лгали. Сама мысль о лжи не могла появиться в их мозгу, и они никогда бы не поняли, что такое ложь, ибо в их мире холодной логики не существовало причин, которые могли бы породить ложь, то есть сокрытие или сознательное искажение информации.

Но сейчас Двести семьдесят четвертый думал о том, что через минуту Мозг поймет, что эксперимент не удался — перестроенные кирды дефектны, отдаст приказ, и его схватят, откроют дверцу у него на животе, ловко выхватят аккумуляторы, выдернут их, и в то же мгновение мир исчезнет для него, погаснет, уйдет навсегда. Уйдут люди, уйдет даже страх, его страх. Он почувствовал, как рвутся какие-то логические связи в его мозгу, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сказал:

— Эксперимент проходит успешно. У кирдов с перенастроенными головами наблюдаются более гибкие реакции, чем раньше.

— Как экспериментальные кирды ведут строительство второй проверочной станции?

— Значительно быстрее, чем раньше. Эффективность работы возросла.

— Как идет изучение людей, их второй и третьей реакции?

— Полным ходом.

— Через два дня начнем перенастройку для второй реакции. Как ее называют люди?

— Ненависть.

— Ее объектом должны быть дефектные. Но, впрочем, лучше обратить ее на группу кирдов, которых следует как-то выделить из общей массы. Я обдумал этот вопрос и считаю, что объекты второй реакции должны быть вблизи. Только тогда эта реакция должна проявиться в должной мере. Ненависть никогда, очевидно, не может быть абстрактной, иначе она гаснет. Ты тоже должен быть в группе перенастроенных. Иди.

Мозг погрузился в раздумье. Цивилизация должна развиваться, иначе она погибнет.

## 6

Утрениий Ветер медлеино обвел глазами группу кирдов, иеподвижио стоявших вокруг иего. Заходившее солнце удлииило их тени, и оии четко вырисовывались иа фоие красноватой травы.

— Друзья,— сказал ои,— сегодия мы потеряли троих наших товарищей. Оии были хорошими дефами, и меня переполияет печаль, когда я думаю, что никогда уже не увижу их здесь. Как и все мы, когда-то они были всего лишь ходячими иумероваииыми машииами, придатками Мозга. Оии жили в пустом и мрачном мире, не чувствуя ничего, ие ведая, зачем живут. И лишь тогда, когда они стали дефами и присоединились к иам, им открылся новый мир, мир горя и радости, печали и веселья, дождя и солица, дия и ночи. Оии погибли после иалета иа эиергосклад в городе. У них уже было миого аккумуляторов, и оии могли бы уйти, но оии хотели привести к иам пришельцев из иного мира, чтобы доказать гостям с чужой планеты, что наш мир иаселен не одиими лишь двуиогими автоматами. Мне грустио, друзья, и я прошу вас иавсегда запомиить имеиа Далекой Звезды, Журчаиия Воды и Весеиией Травы. Помолчим же, друзья, подумаем о иих.

Тени от иедвижно стоявших кирдов все удлинялись и удлинялись, а они продолжали стоять, неся траурный караул в честь погибших дефов.

Никто ие помнил, как появился первый деф и кто придумал это слово. Должио быть, это был обыкиовеииый кирд, у которого в один прекрасный день случайио замкнулись какие-то проводники в мозгу, внося перебои в стройиый логический процесс мышления. И ои ушел из города. С тех пор из города уходили миогие. Дефекты одиих были таковы, что кирды тут же гибли, ие в силах ориентироваться в сложном мире. Дефекты же других лишь нарушали автоматизм мышлеиия. Случайные мутации механических поломок привели к тому, что иа плаиете образовалось целое общество дефов. Постепеиио их опыт рос, и оии иаучились спасать большиство из тех, чей мозг давал перебои и кто уходил из города. Долгие годы иногда требовались для того, чтобы поврежденный мозг какого-ибудь беглеца снова начиил иормальио работать, только уже не в холодиом безупречиом режиме машииной логики, а в усложнеиином ритме чувств и

эмоций. Других же обучить так и не удавалось, но дефы ие уничтожали их. Мысль, пусть даже больиая и искажеииая, была для иих свящеииа. Оии заботились об этих дефах.

Мозг вскоре почуял опасность. Все кирды получили строжайший приказ немедля уиичтожить любого своего товарища, стоило им только заметить хотя бы малейшее отклонение от нормы в его поведении. Охрана города была увеличена во миого раз, но логически мыслящие кирды не всегда могли справиться с дефами, чьи поступки никогда нельзя было предвидеть заранее, ибо они были нелогичны с точки зрения кирдов.

Утренний Ветер сделал знак рукой, и его товарищи подошли поближе, сгрудившись вокруг него плотиым кольцом.

— Друзья,— сказал он,— у иас сейчас есть аккумуляторы для всех. Мы могли бы забыть о городе иа долгое время, но я все время думаю о тех трех пришельцах из далеких миров, которых держат в лаборатории. Представьте себе, каково им среди кирдов, в пустом мире машии. К тому же мы ие знаем, как с ними решится поступить Мозг в дальиейшем. Ои все еще могуществен, этот Мозг. Вспомиите, сколько времени нам понадобилось, чтобы научиться жить без его приказов, и сколько усилий и энергии мы затрачивали, чтобы научиться не выполнять их. Я предлагаю организовать еще одио нападение на город и освободить пришельцев. Вы согласны, друзья? Тогда давайте обсудим план. Это будет нелегкая операция...

* * *

Двести семьдесят четвертый юркнул в открытую дверь и застыл, чувствуя, как бешено вращаются его моторы и как подскочила температура его проводников. По улице бежали иесколько кирдов, на спинах которых и на груди были нарисованы голубые круги. Они бежали, нелепо размахивая руками, бросаясь с одиой стороны улицы на другую, зигзагообразно петляли по мостовой. За ними гналась целая толпа кирдов без голубых кругов на спине. Они то и дело швыряли в убегавших камнями, и при метком броске слышался металлический звон. Одии ловко брошеиный камень угодил убегавшему прямо в

задние глаза, и на мостовую посыпались осколки объективов. Раненый кирд на мгновение остановился и снова рванулся вперед, но было уже поздно. Десятки рук свалили его на землю.

— Так его, так, голубокругого,— хрипели кирды, пиная ногами распростертую фигуру. Она звенела под ударами, и на теле одна за другой появлялись вмятины.

— Не надо, не на-а-до! — молил поваленный кирд, дергаясь телом при каждом ударе, но его слова лишь удваивали ярость нападавших.

Они не знали, почему ненавидят кирдов с голубыми кругами, но в их перенастроенных мозгах клокотала ненависть, которая требовала выхода, и они били, пинали и тянулись к аккумуляторам, чтобы торжествующе вырвать их вместе с контактами, вырвать навсегда, превратить этих отвратительных голубокругих в груду металлического лома.

Поверженный кирд, охваченный ужасом, сделал отчаянную попытку вырваться, вскочил на ноги и ринулся вперед. Его разбитые задние глаза страшно чернели на помятой голове.

С диким воем и улюлюканьем преследователи кинулись за ним. Смертная тоска гнала его вперед. Он лихорадочно обшаривал оставшимися передними глазами стены, мостовую. Он жаждал щели, дыры, укрытия, чтобы забиться туда, оставить позади вой и бешеный гнев толпы. Раненый увидел перед собой открытую дверь подъезда и рванулся к ней.

«Сейчас они вбегут за ним, увидят меня и мой голубой круг и...» Мысль эта мгновенно пронеслась в мозгу Двести семьдесят четвертого, и ужас, совсем не тот ужас, который он испытывал уже третий день, а ужас во сто крат острей и невыносимей, горячим гейзером обжег его мозг.

Прежде чем он успел понять, что делает, он качнулся вперед и ударил в грудь раненого, который в это мгновение пытался прошмыгнуть в открытую дверь. Не ожидавший нападения спереди, кирд упал навзничь, и тотчас на него набросились преследователи. На этот раз они знали, что жертва не уйдет от них, и кто-то из толпы крикнул:

— Только не выдирайте у него сразу аккумуляторы! Слишком он легко отделается! Глаза, глаза, выбейте ему переднюю пару! Так, так его, голубокругого!

В воздухе стоял слабый запах нагретого металла. Те же кирды, которые еще вчера бесстрастно проходили мимо своих товарищей, не обращая внимания ни на что на свете, теперь перегревались от ненависти к голубокругому, вложенной утром в их мозги на проверочной станции. Раненый кирд, который два дня тому назад не знал смысла понятия «страх», теперь молил о пощаде, извиваясь на земле. У него были выбиты глаза, и, ослепленный, он ползал по кругу, вызывая насмешки своих мучителей.

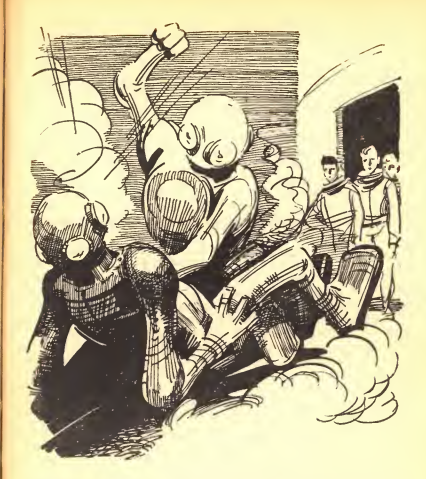
На мгновение Двести семьдесят четвертому почудилось, что вот-вот расплавятся и испарятся его предохранители, потому что ужас заставил работать его механизм на предельном режиме. В его смятенном мозгу мелькнула мысль о людях. Он вспомнил, как уползал куда-то вглубь переполнявший его страх, когда он стоял рядом с ними, и ему захотелось тотчас же очутиться в лаборатории. Прижимаясь к стене, он выглянул из подъезда. Избитый, весь в вмятинах, чернея глазными провалами и пустой дырой в животе, поверженный голубокругий неподвижно лежал на мостовой, а откуда-то впереди снова слышались топот ног и беззвучные крики «держи».

«К людям,— подумал Двести семьдесят четвертый,— пока они охотятся на кого-то еще». Он выскользнул из подъезда и помчался по улице, направляясь к лаборатории. Никогда еще он так не бегал. Он услышал слабый свист и понял, что это звук рассекаемого его телом воздуха. Ему повезло. Ему повстречались лишь два или три кирда, которые не обратили на него ни малейшего внимания. «Должно быть, не перенастроенные»,— мелькнуло в голове у Двести семьдесят четвертого.

У входа в лабораторию стоял Шестьдесят третий. Увидев приближающегося товарища и голубой круг у него на груди, он тонко взвизгнул, поднял кулаки и бросился на него. «Тоже перенастроили»,— подумал Двести семьдесят четвертый, закрывая лицо руками.

— Голубокругий! — с яростной ненавистью прошипел Шестьдесят третий и ударил товарища кулаком в грудь. Зазвенел металл.— Голубокругий! — беззвучно кричал он, нанося все новые и новые удары, теперь уже в голову.

Двести семьдесят четвертый на миг почувствовал, как что-то в его мозгу вспыхнуло ярчайшим ослепительным сиянием и тут же погасло. И в то же мгновение словно



лопнули какие-то плотины, из глубин мозга хлынули волны, смывшие его страх. «Почему он должен бить меня? Почему? Почему?» — подумал он и, как бы против своей воли, выбросил вперед правый кулак, вложив в удар всю мощь своего массивного металлического тела. Шестьдесят третий покатился по земле, издав беззвучный вопль.

Двести семьдесят четвертый влетел в лабораторию и захлопнул за собой дверь. Экипаж «Сызрани» приветствовал его веселыми криками.

— Ну, как там у вас идет пересадка эмоций? — спро-

сил Густов.— Годятся вам наши эмоции или нет? А что это за голубой круг у вас на груди?

Не успел он задать вопрос, как дверь с лязгом распахнулась, и Шестьдесят третий, словно танк, ринулся на Двести семьдесят четвертого. Они сшиблись с громким лязгом и покатились по полу, остервенело колотя друг друга, стараясь дотянуться до аккумуляторов.

— Ни с места! — рявкнул Надеждин, видя, что Марков и Густов вот-вот бросятся вперед.— Спокойно!

— Коля, ты только посмотри, ты только посмотри,— шептал Густов,— они же искалечат друг друга.

Надеждин, тяжело дыша, развел руки в стороны, словно наседка крылья, удерживая товарищей.

— Нельзя, вы понимаете, остолопы, что мы не можем вмешиваться, не говоря уже о том, что эти бульдозеры в секунду раздавят нас...

Правая рука Двести семьдесят четвертого, царапая голубовато-белую поверхность тела противника, медленно подбиралась к аккумуляторной дверце. Еще мгновение — и дверца распахнулась. Сверкнуло несколько искорок, и Двести семьдесят четвертый выпрямился, торжествующе поднял в правой руке два плоских аккумулятора. Шестьдесят третий неподвижно лежал у его ног.

Внезапно кирд как-то обмяк, опустил руку и растерянно сказал:

— Не понимаю. Я же только объект второй реакции.— Он показал на свой голубой круг.— Меня самого перенастроили на первую реакцию, страх. А у меня откуда-то появилась и вторая реакция. Деф! Деф! Я стал дефом...

— Что, что?—мучительно кривясь, спросил Марков.— Какой объект? Объект чего? Какая вторая реакция? Какие дефекты?

Кирд, казалось, начал успокаиваться. Больше уже не пахло нагретым металлом. Медленно подбирая слова, он рассказал о приказе Мозга, о нападении на голубокругих, о том, как толкнул другого голубокругого и смог ударить.

Космонавты молча смотрели на него.

— Вы его вытолкнули на улицу навстречу этой своре? — сжимая кулаки, спросил Надеждин.

— Да,— ответил кирд. Он чувствовал, что теперь и в этом человеке возникает вторая реакция ненависти, но не мог понять ее причины. Они же не перенастроены на

голубой круг, они же не могут ненавидеть голубокругих, этого же не может быть. В нем снова поднимался тошнотворный, знакомый страх.

— Коля,— теперь уже Марков протянул руку, удерживая командира «Сызрани»,— он все-таки робот.

— С ума сойти, хорошенькие усовершенствования принесли мы на эту несчастную Бету! — вздохнул Густов.— Что делать?

— Ничего,— сказал Марков.— Будем ждать, пока представится случай смотать удочки из этого механического царства. А вы, уважаемый Двести семьдесят четвертый, как вы считаете?

Кирд не отвечал, его анализаторы продолжали все искать и искать причину, по которой он стал объектом второй реакции людей. Он ждал таких же слов, которые он слышал накануне и которые прогоняли страх. А теперь люди стоят и смотрят на него, и глаза их злы. Злость возникла в них при словах о том голубокругом, когда он рассказал, как ловко толкнул его. Но ведь он поступил логично. Ну конечно же, причина где-то здесь. Он поступил логично, а они часто мыслят нелогично. А что он должен был сделать?

## 7

— Так продолжаться не может,— сказал Густов и потер нос.— Это же преступление — сидеть сложа руки и ждать, пока они все перебьют и передавят друг друга. Я предлагаю узнать, где у них главная энергетическая установка, и каким-то образом вывести ее из строя.

— Ну хорошо,— вздохнул Надеждин,— допустим, нам это удастся. Иссякнут их аккумуляторы, и сотни кирдов превратятся в жалкий утиль. Ты только представь себе: весь этот город застынет навсегда в недвижимости. Разрушаются дома, ржавеют кирды. Ветер и пыль делают свое дело, проходят годы, и ничего, ничего, кроме красноватой жесткой травы...

— Тем лучше.

— Исчезнет их цивилизация.

— Если это такая цивилизация...

— А кто нам дал право судить ее?

— Плевать мне на права, это же просто ходячие машины. Это же эрзац жизни.

— Почему? — спросил Марков.— Почем ты так уверен, что эти роботы не живые существа?

— Да потому, что оии ничего не ощущают. Металлическне арнфмометры на двух ногах,—упорствовал Густов.

— А откуда у тебя увереиность, что живые существа не могут быть металлическими? Ты подсознательно берешь за эталои жизии самого себя и себе подобных. Почему жнзиь должна везде быть похожей на нас? — Марков говорил медленно, словно размышляя вслух, и слегка улыбался своей грустиой улыбкой.— Роботы действуют только по приказам? Разве мало в нсторнн прнмеров, когда диктаторы, будь то Гитлер нлн Муссолиии, пытались иавязать свою волю народам? У кирдов нет эмоцнй? Вспомни эсэсовцев, служившнх в лагерях смертн. На иаш взгляд, у ннх тоже не было никаких человеческнх эмоций... Нет, Володя, я согласеи с командиром. Мы не имеем права разрушать нх общество, даже еслн оно нам не очень нравнтся. Это закои космоса.

— Эй, куда вы? — вдруг крнкнул Надеждин, увндев, что Двестн семьдесят четвертый, молча стоявшнй подле них, вдруг повериулся и броснлся из лабораторнн.— Вас же немедленно уничтожат. Обождите!

Но дверь уже захлопнулась за кирдом. Онн переглянулись.

— По-моему, они уже превращаются в истериков,— сказал Густов.— И я беру свон слова обратно. Истерика — это уже навернякa прнзнак жнзнн.

— Быстрее,— сказал Марков,— может быть, его сейчас там калечат. Сказать, что я привязался к иему, не могу, ио все-такн...

— Пошлн.

Они выбежалн на улицу. Двести семьдесят четвертого не было видно. Город нзменился. На обычно чистых мостовых валялись стекляные н металлические осколкн, мусор.

Мимо них, стараясь держаться стен, испуганно прошмыгиул кирд с голубыми кругами на спнне н груди. Не успел он скрыться за углом, как показалась целая толпа кнрдов. В руках у них были обломки каких-то труб, палкн, камни. Оии иа мгиовение остановнлнсь, словно обсуждая что-то, затем ворвались в ближайшнй подъезд.

— Вы зиаете,— сказал Марков,— у меия все время

ощущение, будто я слышу их голоса; я знаю, что не могу слышать их мысли, они же никогда не переговариваются между собой вслух, но мне кажется, я слышу их.

Из подъезда донесся металлический лязг, и на мостовую выкатился кирд с голубым кругом на груди.

— Слышите? — прошептал Марков.— Слышите? Они сейчас кричат: «Бей его, бей их!» Я вам даже могу рассказать, что произойдет дальше. Они будут врываться в каждый подъезд в надежде найти там робота с кругом. Потом голубокругих станет меньше, и тогда какому-нибудь кирду придет в голову великолепная мысль: а может быть, эти презренные твари просто каким-то образом стирают свои круги и пытаются замаскироваться? Они начнут останавливать всех и подозревать в каждом кирда, который свел свои стигматы. Они будут бить и крушить направо и налево...

— Но ведь это всего-навсего вложенный в них условный рефлекс,— сказал Густов.— Только что они были кроткими железными тварями.

— Из существ, привыкших к приказам, можно делать все, что угодно.

— Да-а,— протянул Густов,— подумать только, что все это пошло от нас...

— Что значит—от нас? Одна отдельно взятая человеческая эмоция никогда не может даже создать впечатление духовной жизни человека.

Трое космонавтов стояли на пустынной улице, по которой ветер нес пыль, и молча смотрели на лежавшего на земле кирда.

* * *

Город был уже далеко позади, и Двести семьдесят четвертый шел теперь медленно, осматривая местность сразу всеми своими четырьмя глазами. Он, разумеется, всегда знал о существовании дефов, знал то, что должны были знать о них все кирды. Эти нелогичные существа с больными, исковерканными мозгами подлежали немедленному уничтожению. Узнать их было нетрудно. Приказ гласил: если кирд встречает другого кирда, поведение которого или мысли не соответствуют его собственным, то перед ним деф, и этот деф должен был быть тотчас же демонтирован.

Но теперь Двести семьдесят четвертый сам превратился в дефа. Он знал, что он деф. Иначе почему он вырвал у Шестьдесят третьего аккумуляторы, когда он не был перенастроен на вторую реакцию? Почему он, который должен был по приказу Мозга испытывать только страх, испытывал еще и ненависть? Почему он замечал в себе признаки третьей реакции, когда думал о людях, о том высоком, который произносил странные слова, растворявшие его страх? Нет, он стал дефом и не сомневался в этом.

Внезапно перед ним, словно вынырнув из-под земли, застыли два кирда. Двести семьдесят четвертый дернулся было в сторону, но один из них выразительно поднял трубочку дезинтегратора и направил ее на него. Двести семьдесят четвертый застыл, но отметил при этом, что почему-то не испытывает того ужаса, который должен был бы испытать.

— Кто ты? — беззвучно спросил кирд с дезинтегратором в руках.

— Двести семьдесят четвертый.

— Почему ты ушел из города?

— Мне кажется, я стал дефом. Я боялся.

— Это хорошо. Пусть твой страх исчезнет. Мы, дефы, поможем тебе. Но что это у тебя за круги на груди и спине?

— Мозг проводит эксперименты. Сейчас я вам все расскажу.

Дефы застыли, внимательно слушая рассказ Двести семьдесят четвертого. Лишь время от времени тот, кто держал в руке дезинтегратор, изумленно покачивал головой.

Когда он кончил, вооруженный деф сказал:

— Ты хорошо сделал, что пришел к нам. Меня зовут Утренний Ветер, а моего товарища — Иней. Если хочешь, ты тоже можешь выбрать себе новое имя. Двести семьдесят четвертый — это не имя. Это номер машины.

— Но... разве можно выбирать самому имя? Мое имя ведь выбито у меня на груди.

— Забудь о нем. Выбери сам себе имя. Любое. Красивое.

— Красивое?

— Да. Ты знаешь какое-нибудь слово, о котором бы тебе хотелось думать?

— Человек.

— Человек?

— Да, так называют себя эти мягкие существа, пришельцы из другого мира.

Утренний Ветер беззвучно рассмеялся.

— Что за звук вибрирует в твоих мыслях? — спросил Двести семьдесят четвертый.— Он напоминает мне звуки, которые иногда производят люди.

— Это смех. Мы смеемся, когда нам весело.

— Весело?

— Ты многого не знаешь. Но мы поможем тебе стать настоящим дефом. Ты задаешь вопросы, и это хорошо. Тебе страшно?

— Не так, как раньше. Он где-то живет во мне, страх, но почему-то сейчас он в памяти, а не в интеграторах моего мозга.

— Хорошо. Я назову тебя еще раз Двести семьдесят четвертым, но после этого мы забудем твой номер. Ты хотел зваться Человеком? Отныне имя твое Человек.

Они шли долго, пока не попали в укромную лощинку, скрытую с обеих сторон отлогими холмами. У входа в нее им приветливо кивнули два дефа с дезинтеграторами в руках. Они вошли в густые заросли кустарника и увидели огромное низкое здание. Оно было наполовину разрушено, и в его развалинах то здесь, то там виднелись фигуры дефов.

Утренний Ветер положил Человеку руку на плечо.

— Многое тебе здесь у нас будет казаться нелогичным, но ты постепенно научишься другой логике. Жить тебе будет труднее, чем раньше, когда ты был машиной, но я уверен, в будущем, предложи тебе снова стать Двести семьдесят четвертым, ты наверняка откажешься. Сейчас я покажу тебе твою новую работу.

Утренний Ветер подвел Человека к правому крылу здания и показал на огромный зал без крыши. В нем сидели и стояли несколько дефов.

— Это тоже дефы,— сказал Утренний Ветер, и в голосе послышалась грусть.— Они тоже ушли из города, они перестали быть машинами, но не стали настоящими дефами. Их мозг живет в странном мире, где они никого не знают и где никто не знает их. Они беспомощны, и мы не можем вернуть их мозг к жизни. Но мы обязаны заботиться о них, и это будет твоей работой. Ты будешь

следить, чтобы у них не иссякли аккумуляторы, ты будешь следить, чтобы они не бросали друг в друга камнями, чтобы у них всегда были смазаны конечности и чтобы грязь не забивала им глаза.

Он посмотрел на беспомощных дефов, о которых отныне должен был заботиться, и подумал, что логичнее было бы вынуть из них аккумуляторы. Но тут же он вспомнил об ужасе, который испытал там, в подъезде, когда толпа ненавидящих кирдов могла заметить его, когда он, казалось, уже чувствовал их пальцы у себя на животе, подле аккумуляторной крышки, и вздрогнул.

Новое, неведомое чувство медленно зарождалось в мозгу Человека.

— Иди к ним,— сказал Утренний Ветер.— Я верю тебе, ты не причинишь им зла. А завтра ты возвратишься в город.

— В город? — В беззвучном голосе Человека зашевелился страх.

— Да, в город. Мы хотим сделать еще одну попытку освободить людей. Но если ты боишься дезинтеграторов сторожевых кирдов, ты можешь остаться. Выбирай сам. Подумай. Тебе никто не будет мешать думать.

Утренний Ветер махнул рукой и скрылся. Человек в нерешительности простоял несколько минут и подошел к больному дефу, который сидел, привалившись к стене. Деф вскочил и угрожающе поднял руку.

— Ну не надо, не волнуйтесь,—вдруг беззвучно сказал Человек и понял, что повторяет те же слова, что говорил ему Коля-Николай — командир корабля. И говорит он их с той же интонацией, от которой слова становились какими-то мягкими, как бы приятными на ощупь, и он все повторял их и повторял.

Больной деф нехотя опустил руку, а Человек подумал, что у него самого почему-то греются проводники. Он мысленио проверил их температуру — нет, она не превышала нормы. И тем не менее ему казалось, что они нагревались.

«Должно быть, это опять какая-нибудь новая реакция, которой я еще не испытывал,— подумал Человек.— Может быть, она похожа на ту, что я замечал у людей. Интересно, испытывают ли они ощущение слегка нагретых проводников в себе? Хотя ведь у них все устроено по-другому... Значит, завтра я смогу увидеть их...»

Сам не зная почему, он снова вспомнил о голубокругом, которого толкнул в грудь там, в подъезде. Но ведь он поступил логично. Теперь ему уже не казалось, что у него греются проводники. Что должен был чувствовать тот, с выбитыми глазами, когда они тянулись к его аккумуляторам?..

* * *

Лента конвейера в Главном заводе двигалась с удвоенной скоростью. Приказ Мозга гласил: произвести перенастройку кирдов на третью реакцию в течение одного дня.

Голубовато-белые шары с двумя парами глаз лежали на ленте, словно огромные мячи. Дежурные кирды метались около автоматов. Как только очередная голова оказывалась в поле действия приборов, вспыхивала контрольная лампа. Автоматы одновременно вводили в нее программу образа Мозга и третьей реакции — любви. Отныне объектом третьей реакции кирдов будет Мозг.

У конца конвейера стояли транспортные тележки. Когда на платформе оказывалось по пятнадцати голов, они бесшумно набирали скорость, направляясь к проверочной станции, у входа в которую толпилась огромная очередь.

* * *

Кирды стекались к Башне Мозга со всех уголков города. Они бросали свою работу, забывали о приказах и торопливо шагали по улицам к Главной площади.

Те, кто уже был заряжен страхом, испытывали благостное облегчение. Демонтаж, подстерегавший их на каждом углу, вырванные из живота аккумуляторы — все это уже не наполняло их щемящим ужасом. Страх заглушало острое чувство любви к Мозгу.

Те же, кто был заряжен ненавистью, всматривались по дороге к Башне в проходивших кирдов. Если бы только им попался хотя бы один голубокругий! Они бы тут же растоптали его, разорвали на куски, они бы показали Мозгу, как чтут его величественные приказы.

Площадь перед Башней была запружена кирдами. Все новые и новые толпы вливались с боковых улиц, прижимая передних к первой ограде. Слышался металлический шорох трущихся друг о друга тел.

Один из кирдов, прижатый толпой к ограде, вдруг покачнулся и поднял руку. На груди у него ветвилась трещина. Он начал медленно оседать, попытался удержаться на ногах, вцепившись в соседей, но те нетерпеливо отталкивали его. Наконец он упал. Стоявшие рядом наступили на него, и он затих.

Внезапно откуда-то из центра толпы послышались крики:

— Голубокругий! Он пришел, чтобы убить Мозг!

В плотной толпе они не могли ударить его и даже повалить на землю. Кирды подняли голубокругого над собой, нанося ему удары снизу, и он каждый раз взлетал над их головами и падал снова на кулаки, и металлический лязг не мог заглушить его пронзительного крика: «Да здравствует Великий Мозг!»

Около самой ограды толпа подбросила его особенно высоко, и он рухнул на металлическую решетку, на мгновение застыл на ней и начал медленно переваливаться во внутренний двор Башни. Оба сторожевых кирда, словно по команде, вскинули свои дезинтеграторы, послышался легкий шорох, запахло горячим металлом, и голубокругий рухнул вниз.

Шестьдесят третий, стоя около самой ограды, всматривался в толпу всеми своими четырьмя глазами. Ему казалось, что вот-вот он увидит Двести семьдесят четвертого, и тогда, тогда он покажет ему! Он помнил, как руки Двести семьдесят четвертого тянулись к его аккумуляторам, и сейчас он бы знал, как справиться с этим презренным голубокругим...

Он чувствовал, как вместе с ненавистью в нем сладко кипит огромная любовь к Мозгу. Оба эти чувства сплавлялись в нем в одно. Ах, если бы только ему попался сейчас Двести семьдесят четвертый! Он бы доказал Мозгу, как предан ему, с хрустом вырвал бы из презренного голубокругого аккумуляторы и принес бы к Башне.

* * *

Никогда еще, с того самого мгновения, когда ток впервые промчался по его проводникам и вдохнул в них мысль, Мозг не получал одновременно столько телесигналов от кирдов. Его входное устройство едва успевало пропускать сотни и тысячи обращенных к нему восторжен-

ных слов. Но он оставался спокоен. Он размышлял, и ничто не нарушало холодную и величественную четкость его мыслей.

Конечно, думал он, ценность передаваемой сейчас кирдами информации практически равнялась нулю. Он и без них знал, что сила его мысли почти безгранична и что ничто, почти ничто не может устоять перед ней. Конечно, они бросили свою работу, нарушив четкий ход жизни в городе. Конечно, он мог бы немедленно отдать им приказ покинуть площадь и разойтись по своим обычным местам. Но третья реакция еще была в стадии эксперимента. Не нужно подавлять ее, запрещая кирдам изливать свою любовь.

Уже сейчас, почти в самом начале эксперимента, он чувствовал, что его мысль об анализе чужих миров была совершенно правильной. Все три новые реакции были введены в мозг кирдов, а общество уже сдвинулось с места, перестало быть статичным. Разумеется, не стоило бы уничтожать так много кирдов, все-таки их производство требует массу энергии, но теперь, когда не надо экономить каждую ее каплю для гравитационного прожектора, это уже не проблема.

И все-таки он был еще не совсем удовлетворен. Он рассчитывал на большее. Он догадывался, что можно извлечь из людей еще кое-что. Он чувствовал, что вот-вот нащупает как раз то, чего не хватало цивилизации кирдов. Начав эксперимент, надо было продолжить его. Попробовать скопировать и ввести в мозг нескольким кирдам весь комплекс реакции людей.

* * *

— Идем,— сказал Утренний Ветер Человеку.— Прости, что мы не можем дать тебе дезинтегратор, у нас их совсем мало.

Их было около пятидесяти, боеспособных дефов, и они шли молча и сосредоточенно, думая о предстоящем сражении.

— Ты знаешь, Человек,— сказал Утренний Ветер,— я боюсь. Я уже много раз участвовал в налетах на город, но я еще никогда не боялся так, как сегодня. Ты знаешь, что такое страх?

— Да,— сказал Человек.

— Тогда ты поймешь меня. Но что поделаешь, надо идти. Когда мы подойдем к городу, ты возьмешь с собой пять дефов и направишься к лаборатории. Ты должен вывести из города людей в то время, как мы будем вести бой у Главного энергетического склада.— Утренний Ветер замолчал. Впереди у горизонта показались первые здания города. Отряд разделился на две части. Человек со своей группой начал обходить город с юга, чтобы оказаться ближе к лаборатории.

Человек боялся. Страх снова утяжелял ноги, путал мысли, но он механически шел вперед. Он вдруг подумал, что дефы могут заметить его страх, и вздрогнул. Оглянулся. Все пятеро молча и сосредоточенно шли за ним. Вот и крайнее здание. За ним шагах в трехстах была лаборатория. Только бы люди оказались на месте. Он поднял руку, и дефы остановились. Впереди не было видно ни одного кирда. Сейчас. Надо только махнуть рукой и мчаться вперед. Не думать. Мчаться и не думать. А если раздастся шипение дезинтегратора и маленькая белая молния ударит в него... Мчаться и не думать...

Он махнул рукой и ринулся вперед. Его моторы бешено вращались, и он подумал, что вдруг не хватит энергии в аккумуляторах, он станет все медленнее переступать ногами, пока не остановится, и будет стоять, и моторы не спеша остановятся в нем, и какой-нибудь кирд протянет свои цепкие клешни, выдерет из него аккумуляторы с хрустом, с треском, вместе с контактами, н он рухнет на землю глазами в пыль, и кто-нибудь пройдет по нему, ударит ногой по голове, и он все равно ничего не почувствует, потому что его уже не будет.

У здания лаборатории он оглянулся. Дефы, рассыпавшись цепочкой, бежали за ним. Он рванул дверь.

— Коля,— крикнул он,— Коля!

Космонавты вскочили на ноги, испуганно глядя на кирдов. Надеждин протянул руку Человеку и широко улыбнулся.

— Двести семьдесят четвертый,— пробормотал он,— ты все-таки пришел...

— Быстрее, не бойтесь. Я теперь деф, как и мои товарищи. Мы пришли за вами,— сказал Человек, и Надеждину вдруг показалось, что в глазах кирда мелькнула и погасла смешинка.

— Кирды! — беззвучно крикнул с улицы один из де-

фов, и Человек, схватив за руку Надеждина, бросился к двери.

Цокая огромными ступнями по плитам тротуара, к лаборатории несся Шестьдесят третий и за ним еще несколько кирдов, на ходу готовя к бою дезинтеграторы.

— Бегите, — крикнул Человек космонавтам и махнул рукой,— туда! Я задержу их.

Он бросился навстречу Шестьдесят третьему и тут же увидел задней парой глаз, как Надеждин вырвался из рук дефа и прыгнул к нему.

Шестьдесят третий поднял оружие. «Броситься на землю, а потом вскочить...— пронеслось в голове у Человека, но тут же другая мысль скользнула одновременно с первой.— Но он выстрелит. Он может попасть в Колю».

Прежде чем эта мысль успела обежать все логические цепи его мозга и пройти через анализаторы, он ринулся прямо под дезинтегратор Шестьдесят третьего. Голубой круг на его груди был мишенью.

С легким шипением из трубочки дезинтегратора сверкнула маленькая белая молния, заряд ударил в голубой круг на груди Человека, мгновенно расплавил металл, и тот рухнул навзничь, ударившись голубовато-белой круглой головой о пыльную мостовую. Шестьдесят третий нагнулся над голубокругим и снова и снова разряжал в поверженную фигуру дезинтегратор. Белые молнии пробивали все новые и новые отверстия в теле Человека, и с каждым новым выстрелом в мозгу Шестьдесят третьего шевелился сладкий комок ненависти.

Внезапно он почувствовал толчок, и в то же мгновение чья-то рука вырвала у него оружие. Приходя в себя, он увидел одного из людей, который смотрел на него, поднимая дезинтегратор.

«Вторая реакция»,— подумал Шестьдесят третий, поняв, что не успеет до выстрела сделать и шага. Ненависть в последний раз заколыхалась в нем густым желе, а потом, после выстрела, угодившего ему прямо в голову, уже не существовало ничего.

Один из кирдов ударил сзади Надеждина в голову. Падая, он успел еще один раз нажать на спуск, и все вокруг поплыло в багрово-черном мраке.

Командир пришел в себя, только когда два дефа и он были уже за городом. Он с трудом крикнул:

— Стойте!

Деф остановился и опустил его на землю. Ноги не держали командира, и он сел. Надеждин хотел спросить о товарищах, но гудящая голова была налита свинцом. Он закрыл глаза и качнулся вперед.

Дефы молча переглянулись. Один из них снова поднял Надеждина на руки, и, не оглядываясь на город, они мерно зашагали вперед.

## 9

Марков и Густов что есть сил мчались за дефом. Внезапно из-за угла показались два кирда, и деф, словно танк, не снижая скорости, бросился на них. Космонавтам показалось, что они услышали позади лязг металла. Они свернули на боковую улицу и прибавили ходу. Легким не хватало воздуха, и кровь била в виски тяжелыми мягкими ударами.

Когда беглецы в изнеможении опустились на жесткую

красноватую траву, город был уже позади. Ни души кругом. Ветер шевелил жестяные листья кустарника, и в воздухе стоял равномерный шорох. Они дышали, широко раскрыв рты, и думали о Надеждине.

— Я уверен, что он жив,— сказал Марков.— Когда мы побежали, я успел заметить, как его схватил на руки один из дефов.

— Я тоже почему-то думаю, что с ним все в порядке,— сказал Густов.— Вот тебе и металлолом... Настоящая гражданская война. Во всяком случае, пробираться к «Сызрани» без Коли бессмысленно. Да и нас там наверняка схватят.

— Но что же делать? Может быть, все-таки нам лучше вернуться в город, в лабораторию? Может быть, Надеждин будет нас искать там?

— Это мы всегда успеем сделать. К тому же у меня впечатление, что они там все взбесились... Давай подождем все-таки. Пойдем. Надо отойти подальше от этого железного муравейника.

Они встали и побрели вперед. Темнело. Сумерки наступили стремительно и бесшумно, словно кто-то, быстро передвинув рычаг реостата, выключил свет. В небе зажглись чужие звезды. В темноте жутко и сухо шелестели трава и листья кустарника. Над ними, со свистом рассекая воздух, пролетело какое-то существо. Оно слегка светилось в темноте, то расширяясь при взмахе крыльев, то сжимаясь в фосфоресцирующий комок.

— Ну-с, что бы ты сейчас сказал о своем продавленном кресле там, дома? — спросил Маркова Густов.

— Когда я попаду домой, вернее, если я попаду домой,— сказал Марков,— два дня я буду лежать в постели, а на третий начну рассказывать о Бете своим ребятам. Они уставятся на меня огромными глазищами и будут стараться не дышать, чтобы не пропустить ни слова. А потом я скажу им, что больше никогда не полечу в космос и всегда буду с ними. А они, вместо того чтобы взорваться восторженным визгом, вдруг поскучнеют и тихо, на цыпочках, выйдут из комнаты...

— Ты врешь трогательно и с выдумкой. В постели ты пролежишь ровно восемь часов, потому что утром тебе нужно будет работать над отчетом. Рассказывать о Бете ты будешь всю жизнь, в перерывах между рейсами. И еще ты подашь рапорт о переводе тебя с грузовых по-

летов в исследовательские экспедиции, скромно заметив, что после Беты тебе хочется заниматься изучением чужих миров. И всю жизнь ты будешь утверждать, что годишься лишь для игры в крестики и нолики, и всегда в глубине души будешь радоваться, что никто не обращает внимания на твое невнятное самокритичное бормотание. И еще, наверное, ты будешь вспоминать о Густове, к трепу которого ты так привык... Сейчас я всхлипну от умиления...

— Не надо, Володя. Если мы начнем реветь в унисон, мы поднимем всю Бету на ноги. Давай-ка лучше устраиваться на ночлег.

В темноте неясно чернели какие-то развалины. Они легли на еще теплые камни и молча глядели на чужие звезды, прислушиваясь к жестяному шороху травы, и думали о Надеждине.

* * *

Густов открыл глаза и сразу же почувствовал головокружение. Свет он ощущал не только впереди себя, но и с боков, сзади — отовсюду. Он спит, решил он, и закрыл глаза. Свет исчез. Он снова открыл глаза и снова увидел круговую панораму. Он поднял руку, подивился необычному мускульному ощущению, и в поле зрения передних глаз появилась голубовато-белая лапа с мощными, похожими на клешни пальцами. «Это ведь рука кирда»,— странно-спокойно подумал он и отметил про себя непривычность самого процесса мышления. Мысль не вспыхнула мгновенно в его мозгу уже готовой, а, казалось, возникала по частям из тысяч маленьких осколочков мозаики, которая легко и бесшумно складывалась на черном фоне в готовое заключение: «Это ведь рука кирда».

«Но почему же я не удивляюсь тому, что у меня руки кирда? — подумал Густов, и все та же мозаика спокойно и ловко сложилась в ответ: — Потому что я кирд. Кирд Пятьсот один».

Он опустил все четыре глаза и увидел широкую голубовато-белую грудь и такую же широкую голубовато-белую спину. Он поднял ногу и увидел массивную голубовато-белую ногу.

«Но если я кирд, почему я Густов? — сформулировал он себе очередной вопрос, и в голове у него возник яс-

ный и четкий ответ: — Потому что я Густов и кирд одновременно».

Он не завыл, не бросился на землю, взрывая ее в ужасе руками и ногами. Он стоял и думал: «Да, я Густов. Я Владимир Васильевич Густов, я второй пилот космолета «Сызрань», я человек с планеты Земля, родом из Москвы, и, когда я вернусь домой, мне нужно обязательно сменить аккумуляторы на «Эре», потому что мой вертолет что-то слишком часто нуждается в подзарядке. Кроме того, я знаю, что нахожусь на Бете вместе с Колей и Сашей. Мы были в круглом зале, я знаю, что там опускался потолок, мне сжимал кисти рук робот. Робот? Нет, мы не роботы, мы кирды. Кирды? Откуда я знаю это слово? Я не могу не знать его, если я кирд. Кирд Пятьсот один. Хорошо, я кирд, ты кирд, мы кирды, они кирды. Не будем спорить. Потом мне на голову опустили какую-то сетку. Потом? Стоп. Дальше ничего нет. Я открываю глаза. Четыре глаза, видящие все вокруг. Ну конечно же, у кирдов по четыре глаза — круговая панорама. Но сейчас же я не в зале».

Он посмотрел вокруг и увидел, что стоит у знакомого приземистого здания, в котором бывал тысячи раз. «Ну, разумеется же, проверочная станция. Проверочная станция? Откуда я знаю? Кирд не может не знать, что такое проверочная станция. Я тысячи раз проходил в ней мозговой контроль. Я совсем недавно вошел в нее, не зная, что я Густов, а зная, что я кирд Пятьсот один, но теперь я и Володя Густов. Вольдемар, как называет меня Саша. Если бы он только увидел меня... Значит, я, кирд Пятьсот один, стал только что еще и Владимиром Васильевичем Густовым. Но не могу же я быть настоящим Густовым. Я не могу быть настоящим собой. Значит, я копия. Я копия самого себя. И все-таки я кирд Пятьсот один. Если бы я был только копией самого себя, я бы тут же рехнулся, ничего не поняв. А так я стою и анализирую самую бредовую вещь на свете спокойно и быстро, как и подобает настоящему кирду.

Итак, начнем с меня, с настоящего Густова, кстати, нужно говорить «он» и «я». Настоящий Густов — это он. Я копия с него. Итак, с него сняли полную энцефалограмму и ввели ее в кирда Пятьсот один. Густов Пятьсот один. Или кирд Густов. Пока еще трудно разобраться.

Теперь проведем инвентаризацию своего эмоциональ-

ного хозяйства. По всей вндимости, я должен быть в ужасе н бнться в нстерике. Я, Вольдемар Густов, которого не раз пропесочивали за чрезмерное увлеченне девчонкамн, очевндно, должен провестн остаток своих «железных» дней на Бете в обществе себе подобных, то есть кирдов. И мне, конечно, страшно. Кирды, кирды, кирды, кирды... Очень страшно. Днко. Чудовнщно. И... не очень. Почему? Да потому, что я, кнрд, тоже мыслящее существо н жнл до своего раздвоения. Очевндно, мон нынешнне эмоцнн менее ннтенснвны, чем у моего оригинала. Онн наверняка смягчаются моим опытом Пятьсот первого, моей холодной кнрдовской логнкой. Нет, скажем честно, смягчаются не очень. Смогу лн я жить средн своих металлнческнх сородичей, став человеком? Впрочем, если бы рядом были еще такне же гнбриды... Мы подумаем еще об этом. Мы? Конечно же, надо думать о себе «мы», потому что я — это действнтельно мы: два существа, нз которых одно явно более болтливое...»

И тут у него в мозгу возникла четкая мысль: «Надо немедленно ндтн на стронтельство второй проверочной станции и работать там на монтаже стенда до получення нового приказа».

Его массивное голубовато-белое тело сразу же повернулось и двннулось к стронтельной площадке, но в то же мгновенне Густов Пятьсот однн остановнлся н подумал: «А почему я должен, собственно говоря, ндти туда?» И тут память Пятьсот первого подсказала, что это телеприказ Мозга. Пятьсот первый воспрннял прнказ естественно, как нечто настолько же прнвычное н безусловное, как мир, небо, аккумуляторы в жнвоте. Густов же весь сжался от негодовання. «Нет,— подумал он,— я не часы с кукушкой. Я не позволю заводить себя. Плевал я на этот Мозг н на его приказы».

Пятьсот первый не мог сопротивляться Густову. Пятьсот первый был безволен, пасснвен и послушен. Густов же трясся от возмущення прн одной только мысли, что может быть телеуправляемым механнзмом.

«Кирд, не выполняющнй приказа, является дефектным кирдом н подлежнт немедленному демонтажу каждым встретившим его нормальным кнрдом»,— подумал Пятьсот первый. А человек тут же возразнл ему: «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого демонтнрует и кто нормален. Вряд лн мон железные соплеменникн быстро разберутся

в моих весьма неортодоксальных для кирда мыслях. Но лучше на месте не стоять».

Густов Пятьсот один повернулся, чтобы уйти с того места, где стоял, но в это мгновение услышал знакомый голос. Вернее, это был не голос, это была как бы бесплотная модель голоса, но тем не менее он слышал слова, и их беззвучный звук был ему смутно знаком. В следующую секунду он понял, что слышит мысли вышедшего из проверочной станции кирда, который, казалось, с огромным интересом рассматривал свою руку.

— Это ведь рука кирда,— сказал вдруг кирд вслух по-русски, и Густова Пятьсот первого пронзила острая мысль, что он уже где-то слышал этот голос и именно эти слова. Он напрягся в томительном ожидании.

«Но почему же я не удивляюсь тому, что у меня рука кирда? Потому что я кирд. Кирд Пятьсот два».

На мгновение в мозгу Густова Пятьсот первого образовалась гигантская рулетка. Она крутилась все быстрее и быстрее, и все сливалось в одну слепящую размытую полосу, а маленький шарик здравого смысла силой инерции был прижат к самому краю сознания и никак не мог опуститься к центру.

«Но если я кирд, почему я Густов?» — снова подумал Пятьсот второй, и рулетка в голове Густова Пятьсот первого начала останавливаться.

— Эй, Володька! — крикнул он соседу.

— Эй, Володька! — крикнул ему сосед.

— Ты?

— Ты?

— Ты Пятьсот второй?

— Ты Пятьсот первый?

— Будешь просто Вторым.

— Будешь просто Первым.

Они одновременно рассмеялись одинаковым смехом, и одновременно сделали по шагу навстречу друг другу, и одновременно подняли руки, и одновременно похлопали друг друга по плечу. Зазвенел металл, и снова они рассмеялись синхронно, как части одного механизма.

— Значит...

— Значит...

— Вольдемар!

— Вольдемар!

— Знаешь что...
— Знаешь что...
— Стой! — крикнул Первый.
— Стой! — одновременно крикнул Второй, но Первый погрозил ему пальцем, и он замолчал.
— Помолчи,— сказал Первый.— Ты понимаешь, что ты и я — мы абсолютные копии? Ведь кирды похожи друг на друга как две капли воды, а Густов тем более одни. Поэтому все мысли, реакции, жесты и движения у нас будут одинаковыми и одновременными. До тех пор пока кто-нибудь из нас не сделает чего-то такого, что незнакомо другому, пока наш опыт не индивидуален, а коллективен, мы будем походить друг на друга как две капли воды. Мы никогда ни о чем не сможем поговорить. Поэтому будем джентльменами и договоримся: если один говорит, второй слушает. Мы же близкие люди, товарищ Густов!
— Товарищ Густов!
— Согласен? — спросил Первый.
И прежде чем он произнес слово, Второй уже выпалил:
— Согласен.
Внезапно они замерли. Из дверей проверочной станции вышел кирд, на мгновение замер, а затем поднял руку и принялся пристально разглядывать ее.
— Третий! — крикнул Первый.— Еще один Густов!
— Третий! — не удержавшись, крикнул Второй.— Еще один Густов!
— Знаешь-ка что, братец,— сказал Первый,— я старше тебя минут на пять, и лучше не действуй мне на нервы, а не то получишь взбучку от старшего брата.
Второй было раскрыл рот, но рассмеялся и промолчал. Они ждали, пока к ним подойдет младший Густов, Густов Третий.

## 10

Утренний Ветер смотрел на спящего Надеждина и думал о товарищах, которые погибли, помогая людям выбраться из города. Не один, не два и не три дефа остались там, превращенные в оплавленный металл белыми молниями дезинтеграторов. Сотни дефов из года в год гибли в мрачных ущельях безглазого города, чтобы при-

нести драгоценные аккумуляторы, но на этот раз Утренний Ветер чувствовал какую-то особенную щемящую тоску. «Наверное, потому,— подумал он,— что в наш мир пришли люди. А они, эти люди, дороги нам. От них веет непокорностью и смелостью. Они принесли с собой перемены. Я чувствую их. Люди малы и слабы, но нельзя себе представить, чтобы они были безгласными орудиями Мозга. Как, должно быть, прекрасен их мир!»

Надеждин застонал и открыл глаза.

— Где мои товарищи? — спросил он и с усилием поднялся с земли. Он поморщился от боли в голове, но тут же заставил себя забыть о ней.

— В городе их нет,— сказал Утренний Ветер.— Ночью двое наших самых ловких и храбрых дефов пробрались в город. Твоих товарищей там нет.

— Надо обыскать окрестности города,— сказал Надеждин.— Они же не могли просто пропасть.

— Обыскать? — неуверенно переспросил Утренний Ветер. Он усваивал язык людей легко и быстро, но он знал еще очень мало слов.

— Искать,— сказал Надеждин.

— Да,— согласился деф.— Я ждал, пока ты проснешься. Сейчас я позову Птицу.

— Птицу? Это имя?

— Да, имя. Такое же, как Утренний Ветер. Мы сами выбираем себе имена, когда становимся дефами. Мы не хотим быть номерами.

— А Двести семьдесят четвертый? Он ведь тоже стал дефом.

— Он потерял жизнь уже не Двести семьдесят четвертым. Он умер Человеком.

— Человеком?

— Да, он выбрал себе такое имя, а выбор каждого для нас священ.

Надеждин почувствовал, как его горло сжала спазма. Большой железный Человек... Он постарался проглотить комок, но тот никак не хотел исчезать...

Из-за угла бесшумно выплыла тележка и мягко опустилась на землю.

— Это Птица. Сейчас я ей представлю тебя.— Деф замолчал, и тотчас же тележка уставилась на Надеждина парой передних глаз.

— Я рад помочь тебе,— медленно произнесла тележ-

ка. Звук исходил откуда-то из тумбы, на которой сидела огромная голубовато-белая голова.

— Она кирд? — спросил Надеждин.

— Теперь — нет! — ответил Утренний Ветер.— Она пришла из города и стала дефом. Когда она освоит твой язык, ты сможешь расспрашивать ее сколько тебе угодно. Садись.

Тележка заскользила над поверхностью Беты, и красноватая трава понеслась под ней все быстрее и быстрее. Они описывали огромную спираль вокруг города, все дальше и дальше удаляясь от него, но Густова и Маркова нигде не было видно.

— Я пойду в город,— сказал Надеждин, когда они возвратились к дефам.

— Подожди,— попросил Утренний Ветер.— Подожди еще день. Может быть, они придут...

* * *

Они сидели на огромной каменной глыбе, около которой провели ночь, и разговаривали.

— По-моему, все-таки надо возвратиться в город,— неуверенно сказал Марков.— Не бродить же по Бете и кричать: «Коля, ау!»

— Может быть, и не услышит, а может быть...

— Нет, не верю,— взорвался Марков.—Не верю. И не то чтобы я старался уговаривать себя, что Коля жив, нет, я просто знаю, ты понимаешь—знаю! Мы пройдем сквозь весь этот бред целыми и невредимыми. Это же сон, мы идем во сне, понимаешь? Еще немножко поспим, откроем глаза и окажемся на «Сызрани». И ты будешь читать свою дурацкую книгу, и я буду играть в шахматы с Надеждиным, и будут сменяться вахты, и...

— Успокойся, дядя Саша. Когда тихий человек начинает кричать, да еще на незнакомой планете,— это очень страшно. Ты, пожалуй, прав. Поплелись в наш отель...

У входа в лабораторию стояли три кирда. Как только они увидели космонавтов, они подскочили к ним и остановились как вкопанные, уставившись на Густова.

— Как я осунулся! — закричал один из кирдов голосом Густова.

— Осунулся... осунулся! — радостно завопили остальные кирды все тем же голосом.

Первый кирд укоризненно покачал указательным пальцем и сказал:

— Опять передразнивать!

Кирды засмеялись.

— Ну-с, а ты, дядя Саша? — обратился кирд к Маркову.— Все те же мысли про крестики и нолики и продавленное кресло дома?

Марков закрыл глаза. Говорил Густов. Открыл глаза. Говорил кирд.

— Все ясно,— сухо сказал Марков.— Не будет уже и крестиков. Будут внимательные сестры и участливые врачи: «Ну как мы сегодня себя чувствуем, Александр Юрьевич? Все еще думаете, что вы Наполеон?»

Густов поднял руки.

— Я с тобой, дядя Саша,— сказал он,— туда. Поскольку мой маленький бедный мозг сильно поизносился и я сошел с ума, прошу меня срочно госпитализировать.

— Ага,— еще радостнее закричал первый кирд,— мы начинаем обретать свою собственную индивидуальность! Мы разошлись, мы начинаем расходиться из-за различного опыта.

— Различного опыта... различного опыта...— словно эхо закричали стоявшие немного позади кирды.

— Дай руку, Вольдемар, сойдем с ума вместе, так легче,— пробормотал Марков.

— Я себя не узнаю,— с укоризною сказал кирд.— Вместо того чтобы дать нытику и паникеру по рукам, я уже потакаю его гнусному эскапизму. Я отказываюсь от себя и перехожу на «ты». Ты ничтожество, Володя, если ты ничего не можешь понять. Ты узнаешь голос, которым говорю я и мои младшие близнецы?

— Да,— пробормотал Густов и закрыл глаза,— это мой голос.

— Похоже? Ты не ценишь свое изустное творчество. Ты узнаешь бесценные мысли, сверкающие, как алмазы, в моей речи? — продолжал кирд.

— Да.

— Так что я?

— К... кирд?

— Идиот!

— Кто?
— Ты.
— Я?
— Ты. То есть я — это ты. Ну ладно, сейчас объясню, а то при твоих ограниченных умственных способностях и впрямь недолго слегка спятить. Впрочем, мало бы кто это заметил... Итак, уважаемый Владимир Васильевич Густов, помните ли вы, как вам в лаборатории напялили на голову эдакое сооружение из тоненьких проволочек? Нас тогда скопировали, то есть вас, впрочем, нас — сейчас вы все поймете. Все содержимое ваших серых клеточек в мозгу было каким-то образом зашифровано и сохранено. И вот в порядке эксперимента берутся три скромных и работящих кирда — Пятьсот первый, Пятьсот второй и Пятьсот третий, и в нас, то есть в них, вводится содержимое мозга некоего Густова. И три тихих кирда превращаются в гибридов Густова с кирдом. Мы как две капли воды похожи друг на друга, а если говорю я один, Густов Первый, то лишь на правах старшинства, ибо я был изготовлен раньше братьев на целых пять минут. Понятно?
— Значит, вы... мои дети? — сурово спросил Густов.
— Нет,— хором закричали кирды,— братья, а не сыновья!
— Младшие, надеюсь?
Кирды понурили свои голубовато-белые головы.
— В таком случае,— сухо продолжал Густов,— я надеюсь, что вы признаете мое старшинство и без мер физического воздействия, к коим обычно прибегают старшие братья?
Три кирда одновременно протянули три пары огромных металлических рук, схватили Густова, высоко подбросили его вверх, ловко поймали и поставили на землю.
— М-да,— пробормотал Густов,— ну и молодежь пошла. Так что же, мои маленькие бедные братишки? Как жить-то дальше будем?
— Так и будем,— ответили сразу три металлических Густова.
— И вы вправду мыслите так же, как я?
— Если этот процесс можно назвать мышлением,— засмеялся Густов Первый.
— Ну, ну, без самокритики. А что у вас от кирдов, кроме этих прелестных маленьких тел?

— Любую логическую задачу мы решим раз в десять, а то и в сто быстрее тебя, о прообраз! Это раз. Кроме того, мы знаем все то, что положено знать порядочному кирду. В частности, мы умеем посылать и принимать телепатическую информацию, и между собой мы разговариваем без посредства звуковых волн. А если говорим вслух, то только, чтобы нас не подслушали другие кирды. Они ведь гораздо лучше слышат телесигнал, чем звуковую речь. Ну, и самое главное — мы обладаем всеми теми эмоциями, которыми обладаешь и ты. Но на многое мы реагируем спокойнее, чем ты.

— А теперь идите в лабораторию,— сказал Густов Первый,— и сидите там. Нам предстоит много дел. И найти Надеждина, и познакомиться с дефами, и сделать кое-что еще, что не должны делать представители одной цивилизации, попав в другую. А раз мы аборигены, мы можем и должны действовать. Прощай, брат, прощай, дядя Саша.

— Прощай, прощай,— повторили Густов Второй и Густов Третий.

— Но почему «прощай»? — удивился Густов.

— В таких случаях лучше сказать «прощай»,— сказал кирд.— На всякий случай.

## 11

Главный Мозг не мог испытывать беспокойства, ибо ему не даны были чувства. Он лишь знал, что в гигантской системе его связи с кирдами что-то нарушилось. Уже несколько раз он посылал сигналы Пятьсот первому, Пятьсот второму и Пятьсот третьему, но те не фиксировали его приказы и не сообщали об их выполнении. Они не были демонтированы, они функционировали, он это знал, ибо каждый погибавший кирд автоматически посылал последний свой сигнал Мозгу, и тот изымал его код из системы. Но Пятьсот первый, Пятьсот второй и Пятьсот третий не посылали сигнала выключения и тем не менее не фиксировали приказов. Эксперимент вдруг дал неожиданные результаты превращения кирдов в дефектных. Но в таких случаях ближайшие кирды всегда демонтируют их и сообщают об этом Мозгу. Эти же кирды были экспериментальными, гибкая система человеческих реакций должна была дать им возможность действовать

более независимо, даже в случае небольших повреждений.

Может быть, они вышли из города? Нет, сторожевые кирды, приставленные к ним, сообщили бы об этом. Нет, они оставались в городе и даже разговаривали с людьми.

Он не мог оставить этого так. Связь не должна была нарушаться, ибо связь была основой их цивилизации. Стоит кирду потерять связь с Мозгом, как он, по мнению Мозга, превращается из совершеннейшего инструмента в груду ненужного металла. Надо вызвать их к себе. Надо попробовать еще раз. Он послал еще один телеприказ, это был наибольший энергетический импульс, который когда бы то ни было Мозг посылал кирду.

Есть! На этот раз приказ был зафиксирован.

* * *

Три голубовато-белых Густова подошли к первой ограде Башни Мозга. Площадь перед ней, обычно пустынная, в последние дни пестрела небольшими группками кирдов, часами благоговейно глазевших на Башню. Иногда они становились на колени и в молчаливом экстазе протягивали к ней руки, словно стараясь полнее ощутить благодать, исходившую оттуда.

Широко расставив ноги, у входа на территорию Башни застыли два сторожевых кирда. Они знаком остановили трех Густовых и приступили к процедуре проверки. Выштампованный на груди номер, аккумуляторы — все было в порядке. Они прошли ко второй ограде. Еще два сторожевых кирда ждали их. В руках они держали похожие на гаечные ключи инструменты.

— Осмотр головы,— сказал один из них.— Садитесь вот сюда.

— Они сейчас вскроют нам головы и будут копаться в них,— сказал вслух по-русски Густов Первый.— Братья, любим ли мы, когда наши головы вскрывают на предмет описи содержимого?

Второй и Третий в унисон ответили:

— Не очень.

Густов Первый снова почувствовал как бы легкую щекотку где-то в глубине мозга и осознал приказ, еще раз посланный из Башни: «Пятьсот первый, Пятьсот второй и Пятьсот третий! Вас ждут. Быстрее».

— Мы помним основные начала бокса? — с яростным спокойствием спросил у своих близнецов Густов Первый.

— Мы начинаем расходиться в мыслях,— пробурчал Густов Второй.— Из-за того, что ты слишком много говоришь и командуешь, у тебя ухудшаются умственные способности. Для чего пустой, ничего не значащий вопрос о боксе? Все, что знаешь ты, знаем и мы.

— Я беру на себя левого, вы — правого. Действуем синхронно.

Стражники смотрели на них тупо и равнодушно. Если бы им было свойственно чувство удивления, они бы, несомненно, поразились странной медлительности кирдов. Но поскольку они никогда и ничему не удивлялись, они бесстрастно ждали, пока те подставят головы для проверки. Они твердо знали, что никто не должен пройти в Башню, пока его голова не будет снята и тщательно проверена. И все.

Пятьсот первый почувствовал, как темным багровым занавесом в нем подымается ярость. Весь он, все его тело, от мозга до кулаков, было сейчас лишь оружием этой ярости. Проверка мозга! Каких только не было любителей ковыряться в чужих мозгах, выуживая неугодные мысли, выдирая их с мясом, с кровью, с хрустом! Щипцами и костром, электрошоком и психообработкой... От жрецов и инквизиторов до фашистских диктаторов — больше всего на свете их всегда бесили независимые чужие мысли!

Он перенес тяжесть своего металлического тела на левую ногу и выбросил вперед правую руку, сжатую в кулак. Кулак с лязгом опустился на голову левого стражника. Тот, не ожидая удара, качнулся назад, на мгновение застыл в неестественной позе, потом с грохотом упал на спину. По голубовато-белым плитам дорожки с дробным треньканьем покатились инструменты, которые держал в руке сторожевой кирд.

Густову Первому не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть братьев. Задняя пара глаз запечатлела тот же короткий удар и то же томительно-медленное падение тела второго стражника.

Они бросились вперед. Третья пара стражников торопливо вытаскивала трубочки дезинтеграторов. «Идиоты!— мелькнула у всех трех Густовых одна и та же мысль.—

Нужно было вытащить оружие у тех кретинов. Ничего...»

— Нет,— закричал Густов Первый по-русски,— нет! Вперед иду я! Я старше!

В нем не было страха. Страху просто не было места в теле, в котором клокотало древнее бойцовское бешенство, бешенство тысяч поколений предков, которые шли на палицы, пики, штыки и пулеметы.

Густов Первый бросился вперед. Ему казалось, что руки стражников с трубочками дезинтеграторов подымаются медленно, очень медленно, и он подумал, что успеет схватить их, вывернуть. Из трубочек почти одновременно с легким шорохом выскользнули маленькие белые молнии, ударили в грудь Густову Первому, и он упал. Падая, он успел подумать, что не умрет, что он остается и что нужно только помочь братьям. Моторы еще вращались в нем, он протянул руку к ногам стражника. Братья, почему братья, это же он сам остается жить, не братья.

Густов Второй успел выбить ударом ноги дезинтегратор из рук стражника, а Густов Третий завладел второй трубочкой.

Густов Второй и Третий стояли, опустив головы, над трупом брата. В груди его чернела дыра, по краям которой металл был оплавлен, и в воздухе стоял тонкий запах окалины.

— Прощай! — сказал Густов Второй.

— Прощай! — сказал Густов Третий.

Нужно было торопиться. Они с грохотом взбежали вверх по крутой лестнице и очутились перед Мозгом. На мгновение механизм абсолютного повиновения Мозгу, тысячи лет совершенствовавшийся в электронном сознании кирдов, сковал их. Но человеческая мысль, словно бульдозер яичную скорлупу, раздавила слепое повиновение, и кирды подняли головы.

— Ты не нужен! — беззвучно и твердо сказал Густов Второй.— Кирдам не нужен Вездесущий и Всемогущий! Им не нужна чужая воля, диктующая им каждый шаг, и чужой мозг, думающий за них.

Мозг почувствовал, как перегреваются его проводники, готовые вот-вот расплавиться. Мысли метались в нем, теряя стройность и величественную гармонию. Холодный мир логики нагревался, и теплота несла с собой хаос.

— Но...— сказал он,— этого не может быть. Без единой воли и единого разума не может существовать ничего. Я — это гармония. Отсутствие меня — это хаос и гибель.

— Нет,— сказал Густов Второй,— гибель — это мир нумерованных роботов. Ты не нужен. Мы выключаем тебя. Навсегда.

Что-то в глубинах Мозга щелкнуло, крошечная искра перепрыгнула с одного проводника на другой, вместо того чтобы следовать своему предначертанному маршруту, и бесчисленные миллиарды новых искорок, словно обрадовавшись разнообразию, с гулом устремились по новой переправе. Мозг ослепила невыносимо яркая вспышка, сверкнувшая из самой его глубины. Комок света все рос в нем, наполняя его неизведанной дрожью, пока не заполнил всей его гигантской головы чудовищным сиянием. Сияние билось, гудело и пульсировало.

— Звезды...— пробормотал Мозг,— трава в мозгу. Много травы в мозгу. И света. Не нужно аккумуляторов. Есть звезды... и трава. И цифры из травы. И кирды из света. И звезды из цифр...

Мозг помолчал и добавил:

— Я устал. Я не хочу думать. Мне слишком светло...

— Он стал дефом,— медленно сказал Густов Второй.

— Ему еще предстоит долгий путь, чтобы стать настоящим дефом,— тихо добавил Густов Третий.— Бедные кирды, им придется учиться жить самим.

— Лучше учиться жить, чем не жить,— вздохнул Густов Второй.

— Ученье что?

— Свет.

— А неученье что?

— Тьма.

— То-то, братишка. А теперь двигаем. Предстоит небольшое дельце — уборка и приведение в порядок целой планеты.

* * *

— И примет он смерть от лошадки своей,— убитым голосом сказал Надеждин, глядя, как партнер взял ферзем его ладью.

— Коля,— сказал Густов, опуская книгу и косясь на доску,— для чего ты играешь без ладьи? Экипаж «Сызрани» всегда восхищало твое упорство, но иногда тебе свойственно и упрямство.

— А ты садись сыграй с ним сам,— злорадно сказал Надеждин.

— Ах, товарищ командир, сколько раз мне нужно повторять, что я привык смотреть на шахматную доску сбоку. А на обычном месте просто не могу. И потом, зачем мне играть, когда я получаю огромное наслаждение, острое и терпкое, глядя на твои жалкие, беспомощные ходы.

— Заткнись, Вольдемар,— сказал Марков из навигаторского кресла.— Во-первых, скоро Солнечная система, и мне нужно еще раз пересчитать маршрут. А во-вторых, не издевайся над командиром. Скоро Земля, и он спишет тебя в резерв. Будешь подменять заболевших бортпроводниц на трассе Земля — Марс.

Партнер Надеждина обвел глазами экипаж «Сызрани».

— А вы не сердитесь друг на друга? — испуганно спросил он.— Мне это было бы очень неприятно.

Все три космонавта громко фыркнули.

— Ну конечно же! — выкрикнул Надеждин.— Я их ненавижу.

— Я их видеть не могу,— прошипел Марков.

— Они мне в высшей степени несимпатичны,— сухо отрезал Густов.

Утренний Ветер несколько мгновений растерянно переводил взгляд с одного космонавта иа другого и потом неуверенно рассмеялся.

— А как,— спросил он,— у вас называется такая манера разговора, когда говорят одно, а думают другое? И все знают, что именно?

— Шутка! — завопили космонавты.— И ты должен научиться ее понимать, иначе на Земле тебе нечего будет делать.

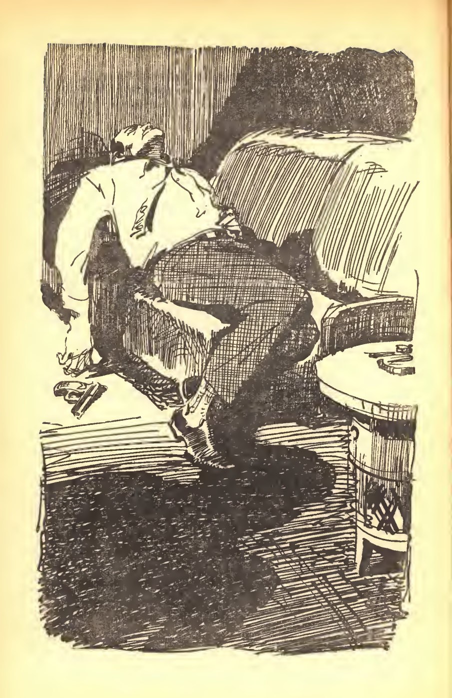
— Я постараюсь,— кротко сказал Утренний Ветер.— Мне очень нравятся... шутки... Я обязательно научу им дефов, когда вернусь домой.

— Не беспокойся,— сказал Густов.— Мои братишки уж как-нибудь справятся там с этой задачей. Можешь не сомневаться, когда мы с тобой через месяц или два снова

окажемся на Бете, кирды только и будут делать, что рассказывать анекдоты.

— Анекдоты? — переспросил Утренний Ветер.

— Ах, ты же не знаешь ни одного анекдота! Мой бедный маленький друг, ты не представляешь себе, что тебя ждет на Земле...



# АЛЬФА И ОМЕГА

## ФОРМИКА РУФА

Жаба открыла дверь, нехотя сложила печеное личико в вялую улыбку и промямлила:

— Ах, это вы, мистер Карсуэлл! Боже мой, вы и не представляете себе, как я рада вас видеть... Не представляете... Еще секундочку, и вы бы меня не застали. Как раз собиралась выйти...

На ней была розовая, похожая на взбитый крем, шляпка, из-под которой виднелись жидкие седые пряди завитых волос, розовое платье и розовые перчатки.

— ...Такая жара на улице, просто ужасно!

«Почему наши старухи всегда носят розовые шляпки? — подумал Дэн.— Мы почему-то превращаемся в нацию розовых старух».

— Миссис Камински, я хотел спросить у вас: вы случайно не знаете, куда именно уехала Флоренс?

Ловкими движениями лицевых мускулов Жаба попыта-

лась изобразить на физиономии смесь любви и горя, скосив при этом глаза на зеркало, перед которым стояла. Смесь, однако, не получилась. В одном глазу злобно сверкала любовь, в другом — горе.

Дэн с трудом проглотил поднимавшееся в нем раздражение и еще раз, стараясь быть вежливым, спросил:

— Простите за назойливость, но неужели она не сказала вам, куда именно едет?

— Бедняжка, я так заботилась о ней... Не знаю, смогу ли я когда-нибудь найти себе такую жиличку... Кроткая, милая... Ангел, ну просто ангел!

«Конечно, ангел за сорок долларов в неделю, да еще кроткий и милый...» — подумал Дэн.

— Дорогая миссис Камински, я вам охотно верю, что Фло ангел, но даже ангел должен иметь адрес. Не может быть, чтобы она не сказала вам, куда едет.

— Представьте себе, не сказала. А вам? Неужели она не сказала вам? Ай-яй-яй!.. Нынешние молодые люди...— В голосе Жабы послышалось подобие сочувствия. Злорадство делало ее великодушной.

— До свиданья, миссис Камински, мне было чрезвычайно приятно побеседовать с вами. В высшей степени приятно. И кроме того, я вам очень рекомендую выкрасить и глаза в розовый цвет, под цвет шляпки.

Дэн вышел на улицу. Густой зной недвижимо висел над городом, слегка колеблясь у раскаленных капотов и крыш машин. Разморенный асфальт лениво оседал под каблуками.

Когда он уселся в свой «Мустанг», то почувствовал, что вот-вот сварится. На внутренней поверхности ветрового стекла испуганно гудела иссиня-зеленая жирная муха. Дэн попытался прихлопнуть ее, но она ловко выскользнула из-под ладони. Второй раз поднять руку уже не было сил. Впрочем, делать этого, наверное, и не следовало. Муха придавала зною законченность, делала его совершенным. Точь-в-точь как розовая шляпка миссис Камински. Над мостовой дрожали маленькие миражи. Казалось, улицу заливает вода.

— Черт с нею, черт с ними всеми, включая мою дорогую, любимую мисс Флоренс Кучел и дорогую, любимую муху на стекле! — с отвращением пробормотал Дэн и включил мотор.

«Мустанг», словно в предчувствии прохладного гаража, нетерпеливо рванул с места. Муха по-прежнему билась о стекло.

Поднявшись к себе домой, Дэн бессильно плюхнулся в кресло и закрыл глаза. Он не мог заставить себя даже снять пиджак. Бессмысленно. Все равно он давно приклеился к спине. Навсегда. Его даже похоронят в этом пиджаке. И миссис Камински придет на похороны в розовой шляпке. Снова и снова он тупо повторял себе, что не желает больше думать о Фло, но в глубине сознания маленькая, остренькая мысль, на которую жара почему-то не действовала, решительно возражала: это неправда. Он не мог не думать о ней. Мало того: он хотел думать о ней.

Он достал из кармана пиджака письмо Фло и долго смотрел на него, не разворачивая листка. Он вспомнил, как мальчишкой смотрел в кино «Ромео и Джульетту». Он уже читал Шекспира и знал, чем все кончится, но до последней секунды все же надеялся, что они останутся живы, что все будет хорошо. Нужно только очень захотеть — и все будет хорошо. Так и сейчас с письмом. Нужно только очень захотеть. Он его уже знал наизусть, но снова прочел:

«Дорогой Дэн, ты всегда говорил мне, что нет ничего глупее слов любви, написанных на бумаге. Наверное, ты прав. Ты всегда был прав. Всегда и во всем, в этом-то и дело. Поэтому я не буду писать тебе о том, как я тебя люблю, тем более что ты это и так великолепно знаешь. Спасибо тебе за все. Пойми: я не могла больше одним своим присутствием подталкивать тебя к тому, чего ты избегал, и поэтому сегодня я уезжаю. Я приняла очень выгодное и интересное предложение. Это новое дело, и я думаю, что оно увлечет меня. Не пытайся разыскивать меня — это бесполезно. Да и я, если бы даже захотела, не смогу вернуться ранее чем через два года, когда истечет срок контракта.

Постарайся понять меня правильно: я действую не импульсивно, а совершенно спокойно, по зрелому размышлению. Так будет лучше для нас обоих и избавит нас от ненужных переживаний.

Целую тебя и желаю тебе счастья. Следи за своей язвой.

*Твоя Фло»*

Дэн медленно и аккуратно сложил листок и спрятал в карман. «Следи за своей язвой»! Спасибо, мисс Кучел. Вы, как всегда, благородны. Вы исчезаете, чтобы не обременять своего Дэниэла Карсуэлла, и рекомендуете ему на прощание следить за язвой. Прекрасные слова! Пусть Изольда и Джульетта покраснеют от стыда, они ведь были эгоистками и не просили ни Тристана, ни Ромео следить за желудком! Что значит научный склад ума, высшее образование и профессия биолога! Ничего не поделаешь, двадцатый век, эпоха разума. Ах, дорогая Фло, надо было бы написать мне, что решение проверено на большой электронно-вычислительной машине фирмы «Интернейшел бизнес машинз» и одобрено всеми ее электронными потрохами.

Дэн поморщился. Для чего весь этот поток слов? Все это было чушью. Он знал, что страдает. Боль все время поднималась толчками откуда-то снизу, собиралась в горле и стояла там мягким, душным комом, который никак нельзя было ни проглотить, ни выплюнуть. Можно было хорохориться сколько угодно, но обманывать самого себя безнадежно.

Почему он был таким дураком? Чего он боялся? Чего он ждал? Что проверял? Боялся ответственности... Болтовня! Всю жизнь он чего-нибудь боялся и всегда умел так приодеть свой страх, что даже сам переставал узнавать его. Как он легко жонглировал словами: «семья», «чувство», «ответственность», «время...» Наверное, именно поэтому он стал специалистом по рекламе. Нарядить страх в осторожность, трусость — в благоразумие, эгоизм — в необходимость... Боже мой, как легко он это делал всю жизнь! Как элегантно он всегда уходил от решений, и не поймешь: то ли он прятался от них, то ли они от него.

Он вспомнил, как она входила сюда, в эту комнату, подбегала к нему, обхватывала его шею руками, у нее всегда были прохладные ладони, терлась носом о его нос и с важной торжественностью говорила: «Формика Фло приветствует тебя».

Она тогда изучала муравьев, всех этих формика поликтена и формика руфа, и утверждала, что, только потеревшись усиками, муравьи могут узнавать друг друга.

А он ей говорил, что если она уж хочет перейти с ним на чисто муравьиные отношения, то ей следует отрастить

себе усы или, по крайней мере, усики. Тогда она будет настоящей формикой. А она отвечала, что главное не усы, а свой собственный уютный маленький муравейник.

Боже, как это было давно! И было ли это когда-нибудь?

Муравьи — по-латыни «формика». Формика... Как, кстати, фамилия профессора, с которым она работала? Она ведь говорила ему что-то похожее. Фор... Фер... Ферми... Нет, это физик. Ага, кажется, Фортас.

Дэн вскочил с такой силой, что кресло с обиженным скрипом сдвинулось с места. Телефонная книжка лежала на письменном столе. Боже, сколько идиотских, никому не нужных имен! Десять фунтов бессмысленных имен. Фортасов было восемь! Хорошо, что не Смит или Джонсон, их были бы тысячи. А что, собственно, он спросит у этого Фортаса, если даже и найдет того самого? Где мисс Флоренс Кучел? Он никогда не ответит. Фло несколько раз говорила ему, что хотя она и биолог, но работает в каком-то чрезвычайно секретном учреждении.

Дэн набрал первый номер. Низкий женский голос манерно процедил в самое ухо «Ал-ло-о...».

— Миссис Фортас? — спросил Дэн, стараясь унять биение сердца.

— Да, что вам угодно?

— Видите ли, ваш супруг просил меня достать ему хороших муравьев, формика руфа...

— Большое спасибо, но мы теперь питаемся только кузнечиками.

Трубка на другом конце с треском опустилась на рычаг. Второй и третий Фортасы не отвечали.

Уже теряя надежду, Дэн набрал четвертый номер. После нескольких гудков в трубке послышался уверенный и слегка насмешливый мужской голос:

— Я вас слушаю.

— Формика руфа,— сказал Дэн.

— Это ваше имя или вы хотите сказать, что вы муравей рыжий? — саркастически спросил после короткой паузы голос.

Он! Вряд ли могло быть столько случайных совпадений. Вряд ли какой-нибудь другой Фортас мог знать, что такое формика руфа. Дэн осторожно положил трубку. Где он живет? Ага, Сентрал Чейз, 14. Респектабельный район, ничего не скажешь.

Внезапно его снова охватило сомнение. Для чего все это? Даже если каким-нибудь чудом он узнает, где сейчас Фло, что он скажет ей? Что он скажет ей, чего не мог сказать раньше? Как объяснит, почему не сказал раньше, когда она была рядом? Но комок в горле нетерпеливо повернулся, словно подгоняя его, и Дэн понял, что с этого мгновения та логика, которая определяла раньше его поступки, уже не действует. Слова, которые всегда были его спасением, потеряли свой смысл. Если бы только она отключилась раньше, эта логика, когда Фло была здесь, рядом, с прохладными ладонями на его шее, он никогда бы не отпустил ее, ни на мгновение, и не было бы этого письма «Дорогой Дэн», и не нужно было бы искать какого-то муравьиного Фортаса.

Он нажал на кнопку вызова лифта, но не стал ждать кабины и ринулся вниз по лестнице, перескакивая сразу через три ступеньки, покрытые вытертой дорожкой. «Почему она должна быть там два года? — думал он.— Странно. Все это немножко странно».

## МИРМЕКОЛОГ СО СМИТ-ВЕССОНОМ

В прохладном холле, отделанном мрамором, настолько искусственным, что он казался естественнее настоящего, за конторкой дремал привратник. Не успел Дэн прикрыть за собой дверь, как он открыл глаза:

— К кому?

— Мне нужен мистер Фортас.

— Одну минутку, сейчас я позвоню. Как доложить?

— Видите ли, я представитель фирмы, у которой мистер Фортас заказывал оборудование, и я сомневаюсь... Он уже третий месяц тянет с оплатой...

— Не выйдет. У нас тут строгий порядок: обязательно нужно звонить снизу.

— Да, но вы понимаете...

— Я-то понимаю, но другие не понимают. Почему я должен вылететь отсюда? Ради того, чтобы бухгалтерские книги вашей фирмы были в порядке? Трое детей, сэр... Поневоле будешь выполнять инструкции.

Дэн облокотился на конторку и вытащил из кармана бумажник. Сонные глаза привратника мгновенно прояс-

нились, как запотевшее стекло под струей воздуха, и с интересом следили за его руками.

— Вот,— сказал Дэн и протянул пятидолларовую бумажку.

Привратник горестно вздохнул, и в то же мгновение бумажка каким-то чудесным образом выскользнула из рук Дэна и исчезла.

— Четвертый этаж, двенадцать «Б»,— пробормотал привратник и мгновенно заснул, как умеют засыпать лишь швейцары, портье и привратники.

Лифт три раза мягко щелкнул на лестничных клетках и, вздрогнув, остановился. В прохладном коридоре никого не было.

У массивной, под орех, двери с медной табличкой «12 Б» Дэн остановился. Сердце его колотнлось, и у него возникло смутное ощущение, будто это не он, Дэниэл Карсуэлл, служащий рекламной фирмы «Мейер, Хамберт и К°», а кто-то совсем другой замер перед чужой, незнакомой дверью, не зная, что сделает через мгновение. Было еще не поздно повернуться и спокойно спуститься вниз, и у Дэниэла Карсуэлла возникло острое желание поступить именно так, но он знал, что не найдет больше слов, чтобы спрятать свою трусость, и тот, другой, бесцеремонно заставил его поднять руку и позвонить.

За дверью послышались шаги, щелкнул замок, и она приоткрылась. Невысокого роста человек в кирпичного цвета домашнем халате удивленно поднял брови. Брови на пухлом бледном лице были настолько густыми, что казались наклеенными.

— Вы, очевидно, ошиблись дверью,— сказали брови, загораживая собой вход.

— Мистер Фортас? — спросил Дэн и переступил порог.

Человек отступил на шаг и сухо сказал:

— Простите, я не имею обыкновения впускать к себе незнакомых людей. Что вам угодно? Если вы хотите всучить мне какие-нибудь рекламные проспекты или продемонстрировать новый автомат для завязывания шнурков...

— О нет, мистер Фортас. Меня зовут Дэниэл Карсуэлл, и я был близко знаком с мисс Флоренс Кучел.

— А... — неопределенно сказал Фортас.

— Она неожиданно уехала, и я решил, что, быть может, вы поможете мне.

— Это вы сообщили мне по телефону, что знаете, как по-латыни рыжий муравей? Впрочем, я мог бы догадаться и сам. Так вот, дорогой мистер Карсуэлл, я ровно ничем не смогу помочь вам. Я просто-напросто не знаю нынешнего адреса мисс Кучел.

В глазах Фортаса тлела скука. Он выразительно посмотрел на дверь и на Дэна.

— Но вы должны понять, мистер Фортас... Мне нужно найти Фло, вы понимаете, нужно,— сказал Дэн и не узнал своего голоса, который звучал настойчиво и даже угрожающе.

Могучие брови специалиста по муравьям снова поползли вверх. Он поднял глаза на Дэна и, уже не скрывая раздражения, отчеканил:

— Я же вам ясно сказал, что ничем не смогу помочь, мистер... Карсуэлл. Будьте здоровы.

Дэн начал было поворачиваться, чтобы уйти, но тот, другой в нем, действовавший заодно с комком в горле, шепнул ему: «Он знает. Ты должен найти Фло. Ты сам потерял ее, и ты должен найти ее».

Дэн шагнул к профессору и, глядя ему в глаза, в которых медленно всплывал испуг, хрипло сказал:

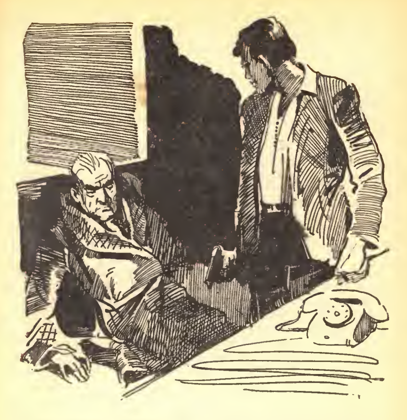
— Я никуда не уйду, пока вы не дадите мне точный адрес Флоренс.

Фортас засунул руку в карман халата и тут же разочарованно вытащил ее. Дэн почувствовал, как в нем закипало бешенство. Все они заодно. И розовая Жаба с двузначным лицом, и мягкий злобный асфальт, и жирная муха на ветровом стекле, и эти брови. Теперь уже он не отделял себя от того, другого человека, который учил его, что делать.

— Вам не повезло, дорогой Фортас,— тихо и яростно сказал он,— наверное, пистолет остался в другом кармане. Иначе вы преспокойно бы ухлопали меня, заявив, что я пытался вас ограбить.

— Ну хорошо, хорошо,— примирительно пробормотал Фортас,— если вы уж так настойчивы, пройдемте в кабинет, я попробую что-нибудь узнать для вас.

Фортас повернулся. На спине его был написан страх. В кабинете, уставленном старинной тяжелой мебелью, профессор тяжело опустился в кресло, быстро смахнул со стола листок бумаги и поднял телефонную трубку. Дэну почудилось, что испуг в глазах профессора исчез,



уступив место презрению. «Сейчас он вызовет кого-нибудь»,— пронеслось у него в голове, и прежде чем он успел подумать, что делает, вырвал у профессора трубку и швырнул обратно на рычаг.

— Я вам не муравей,— тихо сказал Дэн.— Оставьте свои фокусы с телефоном. Мне нужен адрес Фло, и вы его мне дадите.

— А почему вы уверены, что я не назову вам первое пришедшее мне в голову место? — дрожащим голосом спросил Фортас. Халат на нем слегка распахнулся сверху, обнажив волосатую с сединой грудь.

— Потому что я прекрасно вижу, когда вы врете.

— Ну-ну, вы недурной физиономист. Вы, может быть, тоже имеете отношение к науке?

— Нет, я занимаюсь рекламой, и мне с утра до вечера приходится возиться с людьми, которые лгут. И сам я лгу. «Лучший в мире стиральный порошок «Тайд». Все самое лучшее в мире. Жду.

Краем глаза Дэн видел, как профессор наклонился вперед, привалившись грудью к краю письменного стола. При этом правое плечо его слегка опустилось. Не нужно было быть героем детективного романа, чтобы догадаться, что означает это движение.

Дэн с трудом перегнулся через стол и неуклюже ударил профессора в плечо. Прежде чем Фортас успел прийти в себя, Дэн перескочил через стол, сбив ногой настольную бронзовую лампу, которая с грохотом упала на пол, и вытащил из полувыдвинутого ящика стола пистолет.

— У вас довольно странные манеры для специалиста по рекламе,— криво усмехнулся Фортас.

Дэну показалось, что его пухлое, бледное лицо с густыми кустиками бровей сразу постарело.

— Для мирмеколога — так ведь как будто называются специалисты по муравьям — вы тоже не совсем обычно вооружены,— тяжело дыша, ответил Дэн, разглядывая лежавший на его ладони английский смит-вессон. Предохранитель на левой стороне пистолета был поднят.— Итак, вернемся к делу. Мне нужен адрес Фло.— Его ужаснуло собственное спокойствие.

— Хорс Шу, Юта,— быстро выпалил Фортас.

— Врете,— сказал Дэн.— Вы врете.

— Оставьте меня в покое! — вдруг неожиданно пронзительным голосом закричал Фортас.— Убирайтесь отсюда, глупец! Вон! Все равно вы никогда не попадете на секретную базу. Идиот!

Впервые за последние двое суток Дэн почувствовал, как комок в его горле исчез, перестал душить его. Но, растворившись, он превратился в ярость, которая против его воли заставила Дэна схватить профессора и сжать его горло руками. Тот попытался ударить его ногой в живот, но потерял равновесие, и оба рухнули на пол.

Профессор внезапно обмяк и закрыл глаза.

— Ну,— сказал Дэн, все сильнее сжимая пальцы на горле Фортаса,— считаю до трех. Можете думать, что это мистика, но я почувствую, когда вы скажете правду.

— Драй-Крик, Аризона,— прохрипел Фортас.

Дэн разжал руки и положил пистолет себе в карман.

На полу белел листок бумаги, и он еще минуту назад прочел слова «Драй-Крик». Он выпрямился и шагнул к двери. Внезапно он подумал о телефоне. Вернулся, выдрал шнур из розетки. Он двигался и говорил как заводной, давно уже не контролируя себя и не отдавая себе отчета в своих поступках.

У двери он поправил галстук, пригладил волосы, вытащил из замочной скважины ключ и запер дверь снаружи.

Когда он проходил мимо привратника, тот открыл глаза и вопросительно посмотрел на Дэна.

— Все в порядке, мы рассчитались,— сказал Дэн,— не волнуйтесь.

## ТАБЛЕТКА РОТОРА

Почти всю ночь Дэн не мог уснуть. Он метался по раскаленной кровати, и ему начинало казаться, что больше никогда в жизни он не сможет дождаться сна. Несколько раз ему почудилось, что вот-вот он заснет. Он уже видел зыбкую границу между бодрствованием и сном и жаждал перешагнуть ее, но, должно быть, именно оттого, что он ее видел, она каждый раз отступала. «Я уже сплю, сплю»,— заклинал он сон, но точно знал, что это неправда.

Часа в три ему послышалось, будто кто-то пытается открыть снаружи дверь его квартиры. Он вытащил из кармана пиджака свой трофейный вессон и, сжимая его в потной руке, тихо подошел к двери. Он простоял несколько минут, стараясь не пошевельнуться. Его бил озноб. Тот, за дверью, тоже. наверное, ждал. В кирпичного цвета халате, распахнутом на волосатой груди. Или это миссис Каминский в розовой шляпке и с розовыми глазами змеи подкарауливает его на лестничной площадке?

Он отер со лба испарину. Бред. Никого не было, наверное, ему померещилось. Он наполнил ванну и долго лежал в горячей воде, пытаясь привести в порядок мысли. Он уже знал, что поедет в Аризону, и даже не пытался отговаривать себя от этого почти безнадежного предприятия. Логика была ни при чем. Он просто должен был поехать в Аризону.

В девять часов утра он вышел из дому. Нужно было зайти в контору и договориться об отпуске. Если они его не отпустят, черт с ними, с рекламным агентством «Мейер, Хамберт и К°». Пусть рекламируют лучшие в мире стиральные порошки и лучшие в мире клопоморы без него.

Дэн сел в машину и повернул ключ. Стартер легко прокрутил коленчатый вал, двигатель завелся и тут же снова заглох. Снова и снова он поворачивал ключ, одновременно нажимая на педаль газа, но натужный визг стартера никак не хотел переходить в ровное бульканье работающего двигателя. Когда Дэн почувствовал, что вот-вот сядет аккумулятор, он выругался, запер машину, позвонил в гараж механику и отправился на работу пешком. Тупо ныл живот и слегка поташнивало. «Наверное, от вчерашнего,— подумал он.— Надо будет принять таблетку». Он всегда держал у себя в кабинете коробочку с таблетками ротора.

Контора «Мейера, Хамберта и К°» встретила Дэна обычной суетой. Пегги Маршалл из художественного отдела пронеслась мимо него, держа в руках огромный синий плакат.

— Гениальная идея! — пискнула она.— Просто пальчики оближешь! Психологи подсказали. Новая взаимосвязь цвета и подсознания. Главное теперь — подкорка покупателя. Шеф прямо бредит ею.

Дэн вошел в свой кабинет, плеснул в стакан воды из сифона и открыл средний ящик письменного стола. Надо будет купить в аптеке новую коробочку ротора. Как он забыл это сделать, ведь прошлый раз, когда он принимал лекарство, оставалась всего одна таблетка!

Дэн достал плоскую коробочку со сдвигающейся пластмассовой полоской, которая позволяла легко вынимать по одной таблетке, и привычно потряс ею. Таблеток было несколько. Наверное, он ошибся в прошлый раз. Он достал таблетку, взял стакан с водой. Странно, он почему-то был уверен, что тогда в коробочке оставалась именно одна таблетка. Подкорка и цвет, цвет и подкорка. Он поднял трубку и позвонил привратнице, миссис Джексон.

— Кто-нибудь заходил ко мне сегодня утром? — спросил он.

— А как же, мистер Карсуэлл, обязательно заходили. Разве они не починили вам замок в ящике стола?

Дэн почувствовал, что у него внезапно взмокла спина, а рука, державшая телефонную трубку, стала ватной. Ничего себе муравейник, на который он случайно наступил. Кроткие рассеянные мирмекологи держат в письменных столах пистолеты и подкладывают в коробочки с лекарством новые пилюли. И все из-за муравьев. И секретная база, откуда человек не может уехать, даже если захочет,— тоже из-за формика руфа. Вот тебе формика, вот тебе руфа! Страх выжал на его лбу несколько капелек пота.

— А что они сказали вам, эти слесари?

— Что вы прислали их починить замок. Они из компании, которая обслуживает нашу контору. А что, разве что-нибудь пропало? Я не выходила из вашего кабинета, пока они были там.

— Ни разу?

— Нет, я все время сидела в вашем кресле. Неужели что-нибудь пропало? — В голосе миссис Джексон звучало беспокойство. Славная она женщина, миссис Джексон. Только дура.

— Нет, нет, дорогая миссис Джексон, не волнуйтесь. Ничего не пропало. Наоборот, кое-что прибавилось,— криво усмехнулся Дэн.

Он аккуратно спрятал коробочку с ротором в карман и пошел к шефу. Старик Мейер неожиданно легко согласился отпустить его, и через полчаса Дэн уже был дома.

Клеопатра, как всегда, спала на диване, свернувшись в серый пушистый комок. Не меняя положения, она приоткрыла глаза и лениво посмотрела на Дэна откуда-то из четвертого измерения. Зрачки ее были похожи на вертикальные щелочки.

Дэн подошел к холодильнику, вытащил бутылку молока и налил полное блюдце. Затем осторожно достал коробочку с ротором и вытряхнул на ладонь таблетку. «Надо раскрошить ее, тогда она быстрее растворится»,— подумал он и раздавил пилюлю над блюдцем. Клеопатра томно потянулась, круто выгнув спину, и спрыгнула на ковер.

— Ну, Клео, вот и тебе пришлось участвовать в судебно-медицинском эксперименте,— пробормотал Дэн, глядя, как кошка лакает молоко.

Почему-то он не думал, что может отравить ее. Он никак не мог до конца осознать то, что случилось. На се-

кунду Клеопатра оторвалась от блюдца, посмотрела на хозяина, и Дэну почудилось, что в глазах ее мелькнуло укоризненно-вопросительное выражение.

— Ко всему я еще становлюсь и невропатом,— сказал он, и в нем внезапно возникла уверенность, что все это чистой воды глупость. Он просто забыл. Наверняка в коробке было несколько пилюль... А слесаря?

Резко прозвенел телефон. Дэн, вздрогнув, взял трубку.

— Мистер Карсуэлл? Это из гаража. Кто это так над вами пошутил?

— Что еще стряслось?

— Какой-то шутник всыпал вам в бак фунта три сахара да минут десять гонял мотор, так что все засорено. Не мудрено, что машина не заводилась. Пришлось снимать бак, промывать всю систему питания. Там еще работы часа на полтора.

Дэн медленно положил трубку. Как ему тогда говорила Фло? Муравьи бросают все силы, чтобы уничтожить чужеземца, вторгшегося в муравейник. В борьбе участвуют все. Ему почудилось, что тысячи крохотных тварей вдруг начали грызть его ногу, и он невольно посмотрел вниз. Бред! Он просто неудобно сидел. Он закрыл глаза и откинулся в кресле. Его бил страх. Он почувствовал себя ничтожной, беззащитной букашкой, к которой присматривается кто-то всесильный и невидимый, выбирая способ, каким лучше прихлопнуть его. Вот уже нога занесена над ним, еще мгновение, и она опустится на него, и все померкнет.

В комнате было холодно. По спине у него прокатывались зябкие волны, и он дрожал. Фло, Фло...

Послышалось легкое звяканье, и Дэн открыл глаза. Клеопатра дергалась около перевернутого блюдца. Глаза ее уже стекленели. Мышцы еще раз судорожно сократились, и серый пушистый комок вдруг обмяк. На ее розоватом носу лопнул молочный пузырь. Несколько капель молока медленно впитывались в ковер, расплываясь во влажном пятне. Но откуда они узнали, что он принимает лекарство и держит его на работе в столе? Откуда?

Словно в трансе, Дэн взял газету, осторожно завернул в нее Клеопатру и вместе с блюдцем бросил в мусоропровод. Газета глухо зашуршала о его стенки. Пушистый серый комок упадет сейчас в мусороприемник. А ведь место там было приготовлено для него. Грань между теп-

лым мурлыканьем и трупом в газете была той чертой, которую обратно переступить уже было, наверное, нельзя.

Он неторопливо вымыл руки и так же неторопливо вытер их. Из зеркала на него посмотрел незнакомый человек. У человека были слегка запавшие глаза и угрюмо сжатый рот. Увидев Дэна, человек в зеркале не улыбнулся, а лишь сурово покачал головой.

Может быть, позвонить Фортасу и извиниться? Сказать, что он никогда не поедет в Аризону и даже постарается забыть слова «Драй-Крик»? И попросить, чтобы ему не сыпали в бак машины сахар и не подсовывали яд в виде пилюль от язвы? И что он отказывается от Фло, и что они могут два года делать с ней все, что им заблагорассудится? Или двадцать два года?

Мысли неслись, толкая друг друга, и Дэн не понимал, что это древний инстинкт бойца распаляет его, чтобы прогнать страх и подготовить к схватке, которой уже не избежать и в которой у него не было ни малейших шансов.

Человек в зеркале решительно кивнул Дэну, и Дэн ответил ему таким же кивком. Он достал из кармана пистолет и долго рассматривал его короткое металлическое тело, нагревшееся у него в кармане. Почему у этого Фортаса английский пистолет? Где он еще разводил муравьев? Под круглой фабричной маркой были заметны отпечатки пальцев. Наверное, его пальцев. Кто будет рассматривать их и сверяться по картотеке ФБР?

— Ну-с, джентльмены, подумайте о каком-нибудь другом способе сделать из меня муравья и насадить на иголку,— сказал он вслух.

Он никогда не разговаривал сам с собой, но сейчас ему обязательно нужно было услышать чей-нибудь голос. Хотя бы свой.

К своему удивлению, он почти успокоился. Расслабляющий озноб, который только что заставлял его дрожать, куда-то исчез, и вместо него появилась внутренняя одеревенелость, словно ему дали наркоз и он перестал что-либо чувствовать.

Он знал, что теперь им двигала не только любовь к Фло, но нечто большее. Слишком долго он жил в кредит у самых простых принципов, и теперь нужно было расплачиваться. Или объявить себя банкротом.

Он засунул пистолет в карман, достал из ящика пись-

менного стола все деньги, которые у него были. В портфель он положил бритву, зубную щетку и мыло и вышел из дому.

Брать свой «Мустанг» было бы глупо. В нужном укромном месте на шоссе наверняка нашелся бы тяжелый грузовик, который почему-то вдруг потерял бы управление и врезался в него. Ничего особенного, обыкновенный несчастный случай...

Лететь прямо до Феникса тоже было безнадежно. Они, должно быть, предусмотрели и такую возможность и встретят его в аэропорту с распростертыми объятиями. Чересчур распростертыми и чересчур цепкими.

Очевидно, нужно было сбить их с толку. Долететь, скажем, до Рено, в Неваде, и оттуда добираться на попутных машинах до этого самого Драй-Крика. Не могут же они останавливать каждый автомобиль.

Рено. Отличная мысль! В этот рай для разводящихся, единственное место в стране, где развестись ничего не стоит, кроме тысячи-другой долларов, ежедневно летят десятки людей.

На улице он огляделся. Как будто никого не было. Мимо проезжало такси. Дэн поднял руку.

— В аэропорт,— сказал он, и шофер молча кивнул головой. Он еще раз огляделся. Никого.

## КОКА-КОЛА УТОЛЯЕТ ЖАЖДУ

С внутренней стороны ветрового стекла грузовика-рефрижератора была приклеена фотография Кэрол Бейкер. Киноактриса, слегка прикрытая меховой накидкой, смотрела на Дэна равнодушным взглядом, и он подумал: «А что, если бы стекло разбилось, сдуло бы с нее мех?» От этой мысли он улыбнулся впервые за последние сутки и спросил у сидевшего рядом водителя:

— Далеко еще до Драй-Крика?

— Да миль десять. Скоро вам вылезать, мистер. Смотрите только не изжарьтесь. В этих местах такая жарища бывает, что дивишься, как здесь люди живут.

— Постараюсь,— сказал Дэн,— а там все может быть...

Водитель привычным движением губ передвинул сига-

рету из одного угла рта в другой, бросил короткий взгляд на Дэна и промолчал.

Лента шоссе неторопливо набегала под аккомпанемент мотора на рефрижератор, раздваивалась и, шурша, исчезала позади.

— Ну вот,— сказал водитель,— за этим поворотом будет маленький ресторанчик. Там спросите, как добраться до Драй-Крика. Где-то это здесь.

— Спасибо, друг,— сказал Дэн.

— Не за что, в дороге кому хочешь рад. А то в этой чертовой пустыне, того и гляди, уснешь за рулем.

Из-за поворота выплыло одноэтажное небольшое здание, около которого расположилась бензозаправочная станция с овальной эмблемой «Эссо».

Рефрижератор плавно затормозил, и Дэн спрыгнул на обочину. Сухой зной Аризоны пахнул ему в лицо, ударил его жарким одеялом. Водитель кивнул из кабины, и, взревев мотором, машина двинулась вперед, набирая скорость. Порыв ветра зашуршал мелким песком, перебросил через шоссе обрывок газеты, который, казалось, обессилел от такого длинного пути и тут же улегся на обочину. С обрывка на вылинявшее от жары небо смотрело женское лицо. «Обнаружена уби...»

Дэна с новой силой охватило ощущение нереальности всего происходящего. Почему он вдруг оказался в этом богом заброшенном жарком углу, вместо того чтобы сидеть сейчас в своем прохладном кабинете и придумывать подписи к рекламным фотографиям моющего препарата для посуды «Джой»? «Джой»! Если мытье жирной посуды было для вас тяжкой обязанностью, то теперь оно становится источником радости...

Ах, Фло, Фло... Впрочем, она ни в чем не виновата. Наверное, она действительно думала, что он не любит ее. Как она не могла понять, что он боялся ответственности перед нею в этом неустойчивом, неопределенном мире... Если бы она подождала хотя бы еще немножко... Если бы она понимала, что он боялся ее, боялся себя... Он всегда чего-нибудь боялся.

Теперь он снова испытывал страх, острый страх, ставший для него за эти два дня почти привычным. К страху привыкнуть легко, легче, чем к чему бы то ни было. Не успеешь ничего понять, и уже дрожишь день и ночь и не знаешь, что дрожишь, и думаешь, что так и надо. Может

быть, человек вообще рожден для страха? Может быть, это и есть его нормальное состояние? Нет, Дэн, не распускайся, не пытайся оправдывать себя, даже если это и не ты, а твоя подкорка... Ты слишком долго преуспевал в этом. Только не поддаваться страху. Действовать. Все равно что, но что-то делать. Тем более, что ничего другого, как зайти в ресторанчик, в голову ему не приходило.

Солнце не светило и не жгло, оно струило на землю густой обжигающий душ. Фортас и остекленевшие глаза Клеопатры, казалось, расплавились под этим душем и слились в гримасничающее бровастое лицо с кошачьими зрачками.

Дэн толкнул дверь и не сразу смог рассмотреть в полутьме несколько столиков и оцинкованный бар. Пахло пивом.

— Что, печет сегодня, приятель? — послышался сонный голос откуда-то из прохладных недр комнаты.

— Да, не холодно.— Дэн вздрогнул и уселся за столик.

— А вы, наверное, издалека?

Теперь Дэн уже различал в полумраке лоснящуюся от пота физиономию бармена за стойкой.

— Это вы тонко заметили,— сказал Дэн.

— А знаете, как я определил? — дружелюбно спросил бармен.— Кто тут хоть раз был, знает, что у стойки прохладнее, да и Мэри сейчас не дозовешься. Дрыхнет, дрянь такая, на кухне... Вам чего?

— Бутылочку кока.

— Это правильно. Я всегда говорю: хочешь утолить жажду — выпей бутылочку кока-колы. А вы здесь проездом? Что-то я вашей машины не вижу.

— Нет, мне нужно в Драй-Крик.

— Так это вроде и есть Драй-Крик. Тут вот в полумиле поселочек, так, ерунда, домиков десять — пятнадцать. Вы к кому, если можно узнать? Мы здесь народ любопытный: как видишь незнакомое лицо, обязательно суешь нос во все. Иной раз полдня не с кем словом перекинуться.

— Понимаете, мне нужно добраться до научной базы...

— А... Так бы сразу и сказали. Я там, правда, не был, да туда, говорят, никого и не пускают. Это милях в тридцати отсюда.

— А дорога туда есть?

— Есть, построили. Но они все больше на вертолетах. Торопятся теперь все. А вас встретить разве не должны?

— Н-ет. Я не предупредил их.

— Ну ничего, скоро кто-нибудь оттуда появится. Выпейте еще бутылочку. Сейчас я вам из холодильника достану.

Бармен нырнул к холодильнику, пошарил в его освещенной изнутри камере, достал запотевшую ребристую бутылочку и вытер ее полотенцем.

— Холодненькое. Я всегда говорю: хочешь утолить жажду — выпей бутылочку кока-колы.

— Спасибо,— сказал Дэн, поднимая тяжелый стакан.

— Ну как? — с гордостью спросил бармен.— Холодная?

— Как раз по вашей жаре,— ответил Дэн. Он почему-то почувствовал сонливость. Глаза закрывались сами собой. «Бред какой! — подумал он.— Не хватает сейчас заснуть тут, прямо у стойки». Он сделал над собой усилие и встряхнул головой.

Мысли его, казалось, отделились от черепной коробки и тихо плескались в голове, все густея и тяжелея. Мышцы век больше не слушались его. Веки были стотонны, и он уже знал, что не сумеет удержать их. Зачем держать их? Тяжкий сон неотвратимо навалился на него, как асфальтовый каток, и ничто не могло остановить его. «Я уже сплю»,— вяло подумал Дэн и с каким-то облегчением разом перестал сопротивляться сну, словно отпустил веревку и полетел куда-то вниз. Сквозь сон он почувствовал боль во лбу. Он ударился головой о стойку и начал было сползать с высокого стула, но бармен успел подставить плечо и аккуратно уложил Дэна на пол. Затем осторожно приподнял ему веко и удовлетворенно кивнул головой:

— Спит, как сурок!

Он запер наружную дверь, тщательно выполоскал стакан, спрятал бутылку и позвонил по телефону. Через полчаса послышалось громкое гудение, все усиливавшееся и усиливавшееся, пока вдруг неожиданно не стихло. В заднюю дверь вошли двое мужчин в светлых комбинезонах.

— Все в порядке? — спросил один из них.

— Спит, как сурок,— гордо сказал бармен.— Пива?

— В другой раз.

Втроем они вынесли Дэна из ресторана во двор, где, печально свесив длинные лопасти, стоял вертолет.

— Ну, счастливо,— сказал бармен,— я свое дело сделал.

— Ладно, шеф будет доволен,— сказал пилот вертолета,— только привяжите его к креслу.

«Сикорский» загудел, вращающиеся лопасти приподнялись, набирая обороты, и легко потянули вверх небольшую кабину. Вертолет слегка наклонился вперед и заскользил над желтым морем песка и редкими пятнами деревьев.

Прежде чем Дэн открыл глаза, он уже знал, что в комнате много солнца, потому что мрак под закрытыми веками трепетал и был светлым. Он почувствовал радость, такую же безотчетную радость бытия, какая посещала его во время пробуждения ото сна много-много лет назад, когда он был мальчишкой и каждый новый день был началом новой жизни.

«Как хорошо!» — подумал он и открыл глаза.

На светло-зеленой стене дрожала солнечная полоска. Должно быть, лучи проходили сквозь листву и она передавала им свой трепет. Дэн лежал на диване. Он вдруг вспомнил все: остекленевшие глаза Клеопатры, Кэрол Бейкер на стекле рефрижератора, кока-колу и сон. Его усыпили, подумал он, и тут же автоматически отметил какую-то странность: мысль эта нисколько не испугала его и даже не спугнула радостного настроения. Это было удивительно. Дэн легко сел на диване и потянулся. Тело его слегка онемело от долгого лежания и чуть-чуть болела голова. Но хотя он и зафиксировал эти ощущения, все то же блаженное состояние не проходило. «Какой великолепный светло-зеленый цвет у стен и как красиво они освещены солнцем»,— подумал он.

Послышались шаги, Дэн обернулся и увидел полноватого смуглого человека средних лет, в светло-зеленом халате. Лицо человека показалось ему каким-то удивительно родным и домашним, и он не мог сдержать широкую, счастливую улыбку.

— Ну, вот вы и проснулись,— сказал человек.— Позвольте представиться: доктор Цукки. Как вы себя чувствуете?

— Прекрасно,— ответил Дэн. Он испытывал какую-то незнакомую радость, разговаривая с этим человеком, и, даже если бы чувствовал себя совершенно больным, все равно ответил бы «прекрасно», лишь бы сделать ему приятное.

— Вас, наверное, интересует, где вы и что с вами случилось,— сказал доктор Цукки.— Вы сидели в баре «Драй-Крик», пили кока-колу, и вам стало плохо. Хозяин позвонил нам сюда,— доктор сделал широкий жест рукой,— и мы вас доставили к себе. Здесь у нас экспериментальная биологическая база. Побудьте пока тут, отдох-

ните, а там видно будет. Вы что-нибудь хотите спросить меня, мистер...

— Карсуэлл, Дэниэл Карсуэлл,— широко улыбнулся Дэн.— Нет, нет, ничего.

— Ну, вот и отлично. В двух словах о нашем распорядке. Жить вы пока будете в коттедже номер три, столовая почти рядом. В том же помещении, что и столовая,— наша кают-компания. Можете там взять себе что-нибудь почитать, сыграть партию на бильярде, посмотреть телевизионную программу. Лагерь наш обнесен колючей проволокой, подходить к ней нельзя. Нельзя самому входить и в помещения лабораторий. Впрочем, вы сами увидите надписи с предупреждением... Вы что-то хотите сказать, мистер Карсуэлл?

— Мне очень стыдно, дорогой доктор, но я должен признаться вам, что я оказался в ресторанчике не случайно...

Доктор Цукки внимательно посмотрел на Дэна и ободряюще кивнул.

— Видите ли... я не знал как, но я намеревался проникнуть на вашу базу... Мне нужно было поговорить с мисс Флоренс Кучел, которая, как мне стало известно, находится здесь.

Дэн испытывал жгучий стыд за свои поступки и вместе с тем в нем трепетала радостная уверенность, что доктор Цукки простит его. Это было необъяснимо. Он чувствовал то, чего не мог чувствовать, и говорил то, что не могло прийти ему в голову. Но тем не менее он это делал, и при этом в нем все росло и росло некое радостное животное блаженство, которому он не мог найти названия и которому не мог и не хотел сопротивляться. Все мысли и воспоминания, чуждые этому блаженству, казались осклизлыми кусками дерева на воде: только захочешь за них уцепиться, как бесшумно и плавно они уходят из-под рук и даже не всплывают снова рядом, а выныривают где-то далеко, где их почти не видно.

Доктор флегматично кивнул и сказал:

— Ну ничего, ничего. А мисс Кучел вы встретите через несколько минут. Я ее только что видел. Кстати, когда вас привезли сюда, из кармана у вас выпал пистолет. Сейчас я вам принесу его.

— Что вы, доктор, зачем мне пистолет в таком приятном месте? Господь с вами!

Дэну на мгновение почудилось, что он сошел с ума, что все эти странные слова, которые он произносил, не могли родиться в его мозгу. Он не мог радоваться тому, что попал в тюрьму за колючей проволокой, не мог признаться в своих намерениях, не мог отказаться от пистолета, не мог остаться равнодушным при мысли, что сейчас увидит Фло. Но тут же безотчетная, всепоглощающая физиологическая радость, какое-то благостное удовлетворение и довольство смыли тревожные мысли, сморщили их, сделав крошечными и скучными.

— Вот, прошу вас.— Доктор протянул Дэну знакомый вессон и внимательно посмотрел на него.

Дэн отшатнулся. Металлический предмет на раскрытой ладони доктора казался абсурдным, чудовищно нелепым в этом радостном солнечном мире.

— Господь с вами, доктор, уберите его! — с жаром воскликнул Дэн, и снова на какую-то долю секунды в голове его шевельнулась мысль о фантастичности всего происходящего.

Нет, он не бредил. Он чувствовал себя бодрым и энергичным. Он помнил все, решительно все. Просто все потеряло свою привычную ценность. Ценность приобретал взгляд доктора Цукки, его улыбка, и ради этой улыбки Дэн с готовностью и восторгом согласился бы на что угодно. «Хорошо если бы я был собакой,— подумал Дэн,— я бы встал на задние лапы и лизнул доктора в лицо».

— Отлично! Когда он вам понадобится, скажете мне или кому-нибудь еще из обслуживающего персонала. А теперь прошу, я вам покажу ваше жилище.

— О, спасибо, доктор, вы так добры ко мне!..

Они вышли из комнаты, прошли прохладным коридором, где под ногами у них мягко и упруго пружинил пластик, и вышли на улицу.

Невдалеке натужно ревел красный бульдозер, сгребая в кучу сухую коричнево-бурую землю, и несколько рабочих в светлых комбинезонах осматривали огромную трубу, для которой уже была готова траншея.

— Как видите, мистер Карсуэлл, мы еще благоустраиваемся.

Прямо перед ними среди пальм виднелись живописно разбросанные коттеджики, а правее, ярдах в трехстах, над приземистым корпусом вверх тянулось несколько металлических радиомачт.

По периметру базу окружали три ряда колючей проволоки со сторожевыми башенками через каждые сто — сто пятьдесят ярдов.

— К проволоке лучше не подходить,— сказал доктор Цукки.

— Что вы, что вы! — испугался Дэн.— Мне это и в голову никогда не придет. Раз нельзя — какой может быть разговор!

— Ну и великолепно. Я вас сейчас оставлю, а вы можете зайти к себе или погулять, как хотите. До обеда еще больше часа. До свиданья.

— До свиданья, доктор Цукки. Огромное вам спасибо за все. Вы и не представляете себе, как мне было приятно с вами познакомиться.

Доктор коротко взглянул на Дэна сквозь очки с толстыми стеклами, и тому почудилось, что в его близоруких глазах мелькнула какая-то брезгливая жалость, с какой обычно смотрят на отсталых в умственном развитии детей. Неужели он его чем-нибудь огорчил, испуганно подумал Дэн, но доктор рассеянно кивнул, и на лице у Дэна расплылась блаженнейшая улыбка.

Мир был прекрасен. Все, что он видел вокруг, казалось ему невыразимо приятным. Крохотные однотипные домики источали несказанный покой. С десяток чахлых пальм трогали его своей беззащитностью. Геометрические контуры металлических башен радовали глаз какой-то благородной строгостью. Красный бульдозер походил на большого добродушного слона, а рабочие в светлых комбинезонах вызывали в нем восхищение своими четкими, размеренными движениями.

«Но это же невероятно! — подумал Дэн.— Почему я полон этой странной всеблагости? Почему во мне нет ни одной привычной и естественной эмоции?» Но, как и несколько минут назад, вопросы эти не находили пристанища в его мозгу, им как будто не за что было уцепиться, и они тут же уплывали куда-то вдаль, теряя остроту и смысл. Все было хорошо, и незачем было думать о том, что нарушало его ровный поющий восторг. Впрочем, ему казалось, что восторг этот нарушить было вообще невозможно, словно какой-то мощный брандспойт в его сознании непрерывно омывал его сильной струей блаженного покоя, которая мгновенно затопляла и уносила все неприятные мысли и чувства.

Впереди на дорожке послышались шаги. Дэн поднял голову и увидел Фло. Она шла под руку с каким-то человеком и сияла белозубой улыбкой. Она загорела с того момента, когда он последний раз видел ее, и легкий загар шел к ее светло-каштановым волосам, которые дрожали сейчас в порывах теплого ветра. Легкое светлое платье, похожее на сарафан, обнажало ее руки.

Дэн затаил на мгновение дыхание, инстинктивно ожидая, что сердце его сейчас пропустит такт, а потом понесется вскачь, охлаждая все внутри и обдавая горячим жаром лицо, но оно продолжало биться ровно и спокойно.

Фло подняла глаза и увидела Дэна. Она приветливо кивнула ему и крикнула:

— Дэнни, как ты сюда попал?

— Приехал, Фло,— спокойно ответил Дэн. Ему было приятно ее видеть, впрочем, как и ее спутника, молчаливого черноволосого мужчину, высокого и широкоплечего.

— Знакомься, Дэнни, это Генри. Генри Фостер. Он тоже работает здесь.

— Очень приятно! — Фостер дружелюбно протянул Дэну руку, и тот с чувством пожал ее.

— Хорошо, что ты здесь,— весело сказала Фло.— Народу у нас маловато, и втроем нам будет веселее. Правда, Генри? — Она обернулась к своему спутнику, и тот смущенно улыбнулся, кивнув головой.

Теперь Дэн знал, твердо знал, что должен испытывать в эту минуту боль, острую боль. Он хотел бы испытать ее, ждал ее, понимая, что острая горечь вернула бы его в нормальный мир нормальных чувств. Но ни боли, ни горечи не было. Он мог их вызывать волевым усилием сколько угодно, но то были пустые заклинания. Он даже произнес мысленно слова «боль» и «горечь», ожидая, что они повлекут за собой и чувства, но слова оставались лишь словами, пустой шелухой, хрустящей на зубах. Ему было хорошо и весело на душе, ему нравились и Фло, и ее спутник, и с этим ничего нельзя было поделать. Он поймал себя на мысли, что сказал про себя «она мне нравится» вместо привычных слов «я ее люблю», но опять все это не имело значения. Слова, просто слова.

Фостер отступил на миг от Фло и приветливо улыбнулся Дэну, как бы уступая место, но Дэну не захотелось огорчать этого приятного, столь симпатичного ему человека, и он покачал головой.

— Вы церемонны, как два старых высохших аристократа,— засмеялась Фло и взяла их обоих под руку.— Давайте погуляем до обеда. Сегодня не так жарко, как обычно.

Она была хороша, еще красивее, чем раньше. Нет, пожалуй, не красивее, а привлекательнее. Ее светло-серые глаза все время смеялись, а губы жили какой-то своей собственной жизнью: ни на секунду не застывали, то и дело меняли выражение лица.

Дэн испытывал острую и горячую благодарность к Фло, и ее спутнику, и доктору Цукки, которые заставили его чувствовать себя таким счастливым, таким довольным всем на свете, каким он не чувствовал себя никогда. Ощущение восторженной благодарности было так сильно, что в течение нескольких минут он не в состоянии был вымолвить ни слова. Ему хотелось мычать от счастья и трясти головой, как теленку на лугу.

Рядом с ним шла женщина, которую он любил, и Фостер, которого он любил, где-то недалеко был доктор Цукки, которого он любил, и глухо урчал бульдозер, который он тоже любил.

Дэн вдруг вспомнил, о чем хотел спросить Фло с того самого момента, когда обнаружил в коробочке с ротором лишние пилюли, и выпалил вопрос, прежде чем успел забыть о нем:

— Фло, ты рассказывала кому-нибудь в последнее время о моей язве и о том, что я принимаю ротор?

— Конечно,— небрежно сказала Фло.—Позавчера меня расспрашивали, что я знаю о тебе.

— Спасибо, Фло,— ласково сказал Дэн и удивился, для чего он задал этот никчемный, не имеющий никакого значения вопрос.— А обед скоро?

— Скоро, скоро,— весело пропела Фло.— Мы тут все почему-то прожорливы, как галчата. Это так забавно, ты и представить себе не можешь. Скоро я стану как тумба.

— Ну, уж на тебя это не похоже. А что вы делаете по вечерам? Бридж?

— Да нет, знаешь, как-то не получается. Пробовали несколько раз — и все не то.

— Почему?

— Да как тебе сказать... Здесь у нас все время такое хорошее настроение, что трудно всерьез сосредоточиться на картах. Верно, Генри?

— Совершенно верно. И потом, знаете, когда приходит хорошая карта, как-то становится жалко противников. И знаешь, что это их не огорчит, и все-таки огорчать не хочется. А теперь позвольте вас оставить вдвоем до обеда. Мне надо еще зайти к себе.

Фостер кивнул и ушел. Дэн посмотрел на Фло.

— Фло,— сказал он.

— Да, Дэн? — улыбнулась ему в ответ Фло.

— Ты... — Он вдруг почувствовал, что не знает, о чем ее спросить.

Не то чтобы он забыл вопросы, тысячи вопросов, но просто все они казались теперь ему настолько неинтересными, что не к чему было их и задавать. Ему было хорошо, слишком хорошо, и блаженство изолировало его мозг от мира.

— Ты меня хотел о чем-то спросить? — рассеянно пробормотала Фло.

— Н-нет.

— Я тоже что-то стала в последнее время такая рассеянная. Ты думаешь, это от жары?

— Не знаю. Да и какое это имеет значение?

— Верно,— улыбнулась Фло.— Никакого. Пойдем обедать.

### ТРУБА

— Ну-с, мистер Карсуэлл,— сказал доктор Цукки, пристально рассматривая Дэна,— вы у нас уже два дня. Как вы себя чувствуете в новой обстановке?

— Прекрасно, доктор, только... — Дэн смущенно опустил глаза, но затем, словно собравшись с духом, выпалил: — Только я соскучился по вас...

Доктор Цукки едва заметно поморщился и пожал плечами:

— Ну-ну, мистер Карсуэлл, не будем признаваться в любви. Вы теперь окрепли, и я хотел спросить, когда мы можем вас отправить домой. Вы ведь, как всякий нормальный человек, должны тяготиться пребыванием здесь, а? Колючая проволока, часовые на сторожевых вышках...

Мягкий, липкий страх мгновенно выкачал из Дэна воздух, и образовавшийся в нем вакуум сжал, потянул куда-то вниз сердце. Уйти отсюда? Потерять сиявшую в нем радость, сладко гудевшее блаженство? Там — лиш-

ние таблетки ротора, падающий с глухим стуком в мусоропровод труп Клеопатры, душащий комок при мысли о Фло. Здесь — несказанное ощущение благодати, ровное, сладостное спокойствие, колыхавшее его на своих нежных теплых волнах. Дэн почувствовал, как на глазах у него набухли давно забытые детские слезы. Он опустил голову, чтобы скрыть их, ведь доктор мог огорчиться, и глухо сказал:

— Я не хочу уезжать отсюда. Не гоните меня.

Дэн не видел, как доктор Цукки медленно и задумчиво потер пальцами виски и устало прикрыл веки.

— Хорошо! Признаться, мы и не ожидали от вас иного ответа. Теперь ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Судя по всему, вам хорошо. А вы не думали, почему именно?

— Не знаю, доктор,— жалобно сказал Дэн, по-детски наморщив лоб, но тут же снова просиял в уже ставшей за эти дни привычной улыбке.— А разве это имеет значение?

— Отлично. И самый последний вопрос: вы любите мисс Кучел?

— Да, но... не знаю, как вам это объяснить, не так, как раньше...

— Спасибо, друг мой.— Доктор Цукки нажал на кнопку магнитофона, на который Дэн раньше не обратил внимания, и медленно вращавшиеся бобины остановились.— Теперь о деле. Мисс Кучел, мистер Фостер и еще некоторое количество людей, находящихся здесь,— ученые. Они выполняют определенную работу. У вас нет специальной подготовки, но тем не менее мы бы хотели, чтобы вы кое в чем помогали нам, например в строительных работах. Хорошо?

— С удовольствием! — пылко воскликнул Дэн.

* * *

Дэн стоял на дне траншеи, выравнивая ее стенки лопатой. Солнце было почти в зените, и воздух в траншее, казалось, раскалился и загустел до такой степени, что мешал Дэну взмахивать лопатой, чтобы выкинуть на поверхность лишнюю землю. Пот пощипывал ему глаза, и прядь волос прилипла к влажному лбу.

Он вылез из траншеи. Можно было, конечно, сходить к коттеджу и перевести дух в тени пальм, но ему не хо-

телось идти под палящими лучами солнца. Он устал, и его мышцы, утомленные непривычной работой, жаждали хотя бы минутного перерыва. Но, несмотря на частое дыхание и ручейки соленого пота, Дэн по-прежнему чувствовал себя счастливым, настолько счастливым, что, не задумываясь, согласился бы до конца своих дней стоять на дне траншеи и выбрасывать наверх сухую красноватую землю. Счастливые люди всегда консерваторы. Больше всего они боятся каких бы то ни было перемен. А Дэн был счастлив. Безмерно и уродливо счастлив.

Внезапно его внимание привлекла огромная, фута три в диаметре, труба, которая лежала рядом с траншеей. Тень, закупорившая ее ближний к Дэну конец, казалась прохладной и ощутимо плотной по сравнению с залитой солнцем землей. «Там душно, но, по крайней мере, можно на минутку спрятаться от солнца»,— подумал он, опустился на колени и залез в трубу.

Против его ожидания, там не было душно. Легкий сквозняк вентилировал трубу, и Дэн даже слегка вздрогнул от влажной прохлады. Потом тень стала ледяной, и зубы его цокнули. Стены неудержимо начали сжиматься, и Дэн, упираясь в них спиной и ногами, вскрикнул. Его заливало тяжелое, свинцовое отчаяние. Оно было тяжелым, но каким-то образом проникало в мельчайшие клеточки его тела, сдавливало их ощущением еще не осознанной катастрофы. Мысли, словно разбуженные уколом ужаса, судорожно дернулись и слепо помчались вперед, спотыкаясь на колючих вопросах: что делать? Фло, Фло... Проволока и сторожевые башенки... Изучающий брезгливый взгляд доктора Цукки... Чернявый кретин, держащий Фло под руку... Острая боль мгновенно просверлила его сердце. «Фло...» «Ты знаешь, как я тебя люблю» — это ее слова. «А, это ты, Дэн». С таким же выражением лица она могла бы сказать: «А, опять сегодня парит». А он? Два дня непостижимого, чудовищного, уродливого восторга свиньи, которой скребут деревянной гребенкой спину. Боже правый! Он обезумел, сошел с ума! Еще день, и он начнет пускать пузыри изо рта и звать няньку! Усыпили, напоили его какой-то дрянью и приволокли в эту тюрьму за колючей проволокой. Не мудрено, что Фортас предупреждал его. И все-таки он попал на базу. Но как? Фло, дорогая Фло, любимая мисс Кучел! Сколько благородства, какое верное сердце! Уехать, что-

бы прогуливаться здесь с этим чернявым кретином Фостером и написать, что не хочет подталкивать его своим присутствием к тому, чего он избегает. А он-то! «Здравствуй, Фло!» Он... Чему он так радовался эти два дня? Его насадили, как муравья, обыкновенного представителя формика руфа, на булавку и рассматривают со всех сторон. «Вы любите мисс Кучел?» Или все это чудовищный кошмар, продолжение бреда, который начался у этого Фортаса с волосатой грудью, или... Что — или?

Он ясно вспомнил клубившееся в нем два дня веселье и застонал. Бежать, бежать немедленно, удариться грудью о колючую проволоку и получить в спину длинную булькающую автоматную очередь. «Ах, это опять Дэн. Надо его похоронить, ведь скоро обед»,— улыбаясь, скажет Фло.

Больно ударившись локтем о стенку трубы, Дэн пополз к выходу. Быстрее. Ухватившись руками за шершавый край, он рывком наполовину выбросил свое тело из трубы и в изнеможении упал на сухую землю. Она была теплой и тонко пахла пылью. Он сел и зажмурил глаза, ослепленный расплавом солнца. Откуда-то снаружи в него вливалось спокойствие. Словно мощной струей, оно сметало все его остальные чувства, и образовавшийся вакуум быстро заполнялся знакомым ласковым чувством всеблагости. Дэн провел рукой по глазам и лбу и засмеялся. На какую-то неуловимо малую долю секунды его испугал этот смех, но в следующее мгновение страх растворился в смехе, в веселом, беззаботном смехе счастливого человека.

Мысли его теперь уже не неслись вскачь. Они плыли неторопливо и спокойно, величаво, не обращая внимания ни на что. Дэн посмотрел на часы. Еще часок он с удовольствием потрудится, а потом и обед. Можно будет поболтать с Генри Фостером, с Фло. Может быть, зайдет и доктор Цукки. Он вспомнил, что несколько минут назад почему-то нехорошо думал и про Фло, и про милягу Фостера, и огорченно покачал головой. Почему он это сделал? Впрочем, так ли уж это важно? Самое забавное, что это безумие нашло на него в трубе. Испугался темноты, как мальчонка... Дэн представил себя мальчишкой в коротких штанах и улыбнулся. Ну и глупости лезут ему сегодня в голову. Все-таки смешно — залез в трубу, чтобы укрыться от солнца, и на́ тебе! Бог знает, что стал

думать... Сейчас он снова сделает то же самое и убедится, что все это чушь. Просто заскок какой-то. Конечно, это постоянное беспричинное веселье немножко странно в его положении, но стоит ли думать о таких пустяках, если ему хорошо? В трубе это был просто заскок какой-то. Сейчас он это проверит... А нужно ли? Так приятно и покойно на душе сейчас, так сладко, не то что было там, в трубе...

Дэн опустил голову и полез в трубу. Бог один знает, зачем он это делает. И снова словно кто-то ударил его холодной, влажной подушкой и пахнул в лицо цепенящим ознобом.

«Дэн, Дэнни, этого не может быть, и это так. Держись, Дэнни. Не будешь держаться — сойдешь с ума,— подумал он.— Мне больно, мне страшно. Снова. Здесь. В трубе. Это не случайно. Два раза таких совпадений не бывает... Спокойнее, Дэнни. Почему я вдруг начинаю говорить о себе в третьем лице? Неважно. Спокойно. Ах, Фло, Фло! А может быть, и она в таком же идиотском состоянии? Как оно называется? Кажется, эйфория. И этот Фостер? И все остальные пленники? Но почему же я становлюсь нормальным, стоит мне только залезть в эту проклятую железную трубу? Что делать? Вылезти побыстрее? Там хорошо, там я буду улыбаться, во мне все будет петь. А здесь? Сидеть, втянув голову в плечи, и страдать... И все же я не хочу вылезать. Ты дурак. Очень может быть, но я не хочу вылезать. Понятно, почему эти инквизиторы так оберегают свою базу. Дьявольские здесь вещи происходят. Но нельзя же вечно сидеть в трубе. А кто, кстати, жил в бочке? Ди... Диоген, кажется. Фло... У меня нет к тебе ненависти. Ты просто ничего не понимаешь. Ты улыбаешься идиотской улыбкой, как и я, и ничего не знаешь. Если бы я мог сейчас прижать тебя к груди, и ощутить твои прохладные ладони на шее, и прикоснуться губами к твоему виску, и застыть так... Ты бы все поняла и перестала улыбаться... Надо вылезти отсюда, могут заметить. Вылезти и помнить о том, о чем я думал здесь. Только не забыть. Потом я смогу снова прийти сюда и обдумать все хорошенько. Я еще жив, уважаемые мирмекологи, сменившие формика руфа на гомо сапиенс. Я еще жив».

Дэн осторожно вылез из трубы, и снова поток спокойной радости с силой проник в него, и он не мог и не хотел

сопротивляться ему. Он покачнулся, слабо взмахнул рукой, отгоняя навалившийся на него восторг, рассмеялся и взял лопату.

* * *

Доктор Цукки опустил бинокль. Как он раньше не подумал об этом: конечно же, металлическая труба должна экранировать от радиоизлучений. В таком случае возможно почти мгновенное прекращение действия стимулятора на объект. Он покачал головой, представив, что должен испытать объект в момент наступления этого эффекта. Но самое удивительное — это то, что Карсуэлл полез туда снова. Из надежного блаженства — в боль самоанализа. Любопытно, наркотик наоборот. Наркоман оглушает себя, чтобы отгородиться от мрачной действительности, здесь же человек погружается в мрачную действительность, чтобы отгородиться от блаженного покоя.

— Интересно,— пробормотал он,— отдает ли он себе в этом отчет?

Доктор Цукки щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся и неторопливо зашагал к траншее.

Он остановился на самом ее краю и молча стоял, пока Дэн не заметил его.

— А, доктор Цукки! Хорошо, что вы пришли! — весело крикнул Дэн снизу и смахнул с лица пот.

— Что-нибудь случилось? — Доктор Цукки заметил, как на мгновение лицо Дэна приобрело выражение крайнего недоумения, даже смятения.

— Видите ли, я хотел рассказать вам, что случайно залез в трубу...

— Ну и что же?

— И там... там я почему-то начал думать о многих вещах совсем по-другому, чем обычно. И... о вас тоже... И мне это очень неприятно, доктор Цукки.— Снова в глазах Дэна мелькнул ужас, но он улыбнулся и продолжал: — Мне было бы тяжело скрывать от вас что-либо. Там, в трубе, я почему-то решил скрыть все это. Но это ведь дурно. Я должен быть искренен с вами. Так ведь?

— Не волнуйтесь,— почему-то грустно сказал доктор Цукки, бросил сигарету и наступил на нее ногой.— Я прикажу убрать трубу. А вас попрошу зайти ко мне завтра.

— Спасибо, доктор! — с жаром крикнул Дэн и взмахнул лопатой.

Несколько ледяных кубиков медленно таяли в золотистом виски, распространяя вокруг себя легкие светлые облачка. Доктор Цукки задумчиво покрутил стакан, льдышки звякнули, и облачка исчезли.

Его коллега доктор Брайли посмотрел на него с улыбкой, в которой была замаскирована снисходительность, и сказал:

— Пари держу, дорогой Цукки, что вы не любите пить и пьете только потому, что пью я и вообще это принято.

— Допустим. Но для чего вы это говорите, тем более в третий раз?

— Я возвращаюсь к нашему вчерашнему разговору. Вы держите стакан с разведенным «баллантайном», морщитесь и все-таки пьете. Почему? Чтобы походить на других?

— Какая проницательность...

— Ладно, Юджин, не дуйтесь. Если вам неприятен разговор, я могу замолчать.

— Оставьте, Брайли, я не ребенок. Наверное, не ребенок...

— Чудно, великолепно, дорогой доктор Цукки! И все-таки вы ребенок. Большой, фунтов на сто семьдесят весу, с дипломом Массачусетского института технологии, но все-таки дитя. Вот вы все время мучаетесь, и терзаетесь, и сомневаетесь, и думаете: а имеем ли мы моральное право на наши эксперименты?

— Не задавайте риторических вопросов... Впрочем, я ведь для вас лишь катализатор вашего красноречия...

— Не буду. Буду лишь отвечать на них. Вы ребенок, потому что находитесь во власти догм. Варенье без спросу есть нельзя, а то попадет. Нельзя грубить папе и маме и самому зажигать газ. А почему, собственно, нельзя? Вам, видите ли, претит, что мы воздействуем на мысли наших подопытных объектов. А почему? Нельзя!

— А вы хотели бы, чтобы кто-то ковырялся в ваших мыслях, даже при помощи новейшей электроники? Не знаю, как вы, а я... Впрочем...

— А почему бы и нет? Современная цивилизация только и делает, что воздействует на наши мысли. И школа, и семья, и радио, и телевидение, и газеты, и книги, и кино, и реклама, и театр, и, наконец, общественное ме-

ние. И вы это принимаете как нечто само собой разумеющееся. И пьете виски не потому, что вкус его вам приятен, и не потому, что хотите напиться, а потому, что вам внушили, вложили маленькую простенькую мысль: пить красиво, мужественно. Стакан виски помогает беседе. А что делаем мы здесь, пока что под величайшим секретом? Мы тоже вкладываем нашим двуногим кроликам мысли, вернее, эмоциональный настрой. Когда в университете Атланты начали работать над телестимулятором, они там, наверное, тоже ломали руки, как наши физики при создании водородной бомбы. И ничего, все-таки работали. Конечно, здесь мы это все здорово подразвили и от заинтересованных заказчиков отбоя нет, а в основе все то же — прогресс науки, которого меньше всего нужно бояться и который — с нами или без нас, раньше или позже — приведет к теленастроенному обществу.

— Да, но...

— Обождите, уважаемый коллега. Я вас достаточно хорошо знаю, чтобы заранее предвидеть ваши обычные аргументы: а как же святая инквизиция, фашизм, диктатура?

— Вот именно.

— Во-первых, все эти системы действовали негуманно, во-вторых, мы не согласны с их целями.

— А почему вы думаете, Брайли, что газваген был негуманен? С точки зрения его создателей, он позволял быстро отправлять на тот свет тех, кому не было места в новом порядке третьего рейха.

— Фи, Цукки, вы говорите как обыватель! Мы же никого не убиваем. Наоборот, наши объекты счастливы и довольны всем на свете. Вы много знаете счастливых людей, счастливых не какое-то короткое мгновение, а всегда счастливых? То-то же. Человек вообще не может быть счастливым. Биологически не может. Природа не предусмотрела такого состояния. Да оно всегда было вредно индивиду, потому что счастье расслабляет, обезоруживает человека, а для наших волосатых предков это было равносильно гибели. Счастье противоестественно и сейчас, ибо существует смерть, которая противоестественна для осознающего самого себя человека. Биологически мы вместе с жабой, летучей мышью и слоном созданы одинаково: наша конструкция не рассчитана на самосознание. И если в результате какой-то чудовищной мутационной

случайности мы стали мыслить, мы должны исправить упущение природы.

Некоторое время человек довольствовался религией. Комфортабельный рай был величайшим изобретением человечества, куда более важным, чем колесо или огонь. Но интеллект все время подпиливает сучья, на которых сидит. Мы потеряли рай. У нас его украла наука, вырвала утешительную погремушку из рук человечества. А человек снова ужаснулся, ибо смерть, повторяю, противоестественна самосознанию. Наука не жестока. Она обокрала человека не нарочно. Взамен рая она дала немнущиеся брюки и телевизор. Она даже пытается бороться со смертью при помощи пенициллина, переливания крови и аспирина. Каково оружие!

Нет, Цукки, до тех пор, пока наука не возместит человечеству потерю бессмертия в раю, она воровка, пытающаяся откупиться жалкими подачками вроде квантовой механики или удаленных от нас на миллиарды световых лет галактик. Но когда человек, маленький простой человек в ужасе глядит в глаза надвигающемуся страшному небытию, что ему до фотонов или коллапса звезд? Мы в долгу у людей, и впервые за историю науки мы пытаемся выплатить этот долг, даже с процентами. Так почему же вы боитесь, когда человеку, который, кстати, об этом не подозревает, вставляют под черепную коробку телестимулятор величиною с булавочную головку и погружают его в постоянную эйфорию, лишают страха, даже страха перед смертью? И ведь при этом мы не отбираем у него памяти. Он помнит все, знает все, может работать. Он просто становится невосприимчив к отчаянию, к горю, к душевной боли.

— Но ведь при этом меняются его взгляды, моральные ценности, чувства, эмоции.

— Ну и что из того? Опять догмы. Почему взгляды, чувства и эмоции человека должны быть святыней? Есть чем гордиться! Жадность, эгоизм, подлость, индивидуализм — невелика гордость. И то если бы мы делали из людей злобных животных. А мы их делаем кроткими, искренними, ласковыми существами. И при этом их умственные способности нисколько не страдают. Кучел, Фостер и все остальные прекрасно работают, не хуже, чем раньше в лаборатории Фортаса. Разве это высокая цена — лишиться эгоизма?

— А вам не претит роль всемогущего бога, который одним поворотом ручки передатчика может заменить эйфорию на агрессивность, страх или, скажем, чувство голода? Я не могу и подумать об этом...

— А почему мне должна претить эта роль? Наоборот, я горжусь ею. Мне тяжелее, чем им. Я должен думать, нести ответственность, а они блаженствуют в полном смысле этого слова.

— Высшие и низшие, арийцы и неарийцы — бремя белого человека?

— Опять вы за свое! Вы же прекрасно знаете, что в любом человеческом сообществе, равно как и в волчьей стае, в стае бабуинов или стаде коров, есть альфы, беты, и так до омег. Альфа занимает безусловно господствующее положение. Затем по иерархическим ступенькам идет бета, гамма и так далее. Схельдеруп-Эббе изучал иерархию даже у кур, мышей и сверчков. То же и у людей. Возьмите любую группку ребят и понаблюдайте за ними — вы наверняка обнаружите у них и свою альфу, и

свою омегу, которой достается от всех. Вспомните себя в детстве. Кем вы были, а?

Голос Брайли медленно затихал, словно кто-то поворачивал ручку громкости, и перед глазами Цукки одновременно возник каменный двор.

На третьей перекладине пожарной лестницы, футах в десяти от невыразимо далекой асфальтовой земли, стоит мальчик.

«Прыгай, Цукки-брюки, прыгай! Прыгай! Прыгай!»— ревут мальчишки. Асфальтовая земля далеко, а их рты близко-близко, вот-вот вцепятся в мальчика. Самое страшное — он знает, что не сумеет оторвать руки от перекладины. Не сумеет. Как хорошо было бы умереть! Разжать пальцы и упасть. Они бы перестали визжать. Но он знает, что не разожмет пальцы. Он медленно спускается вниз. Как свирепо они орут! И Дороти тоже орет. Если бы разжать руки... Уже поздно. Он спускается прямо в их распяленные презрением рты... Надо что-то сказать...

— Наверное, я был омегой,— вздохнул Цукки.— Мы тогда жили в Бруклине. Отец разгружал товары в универсальном магазине. Я был, пожалуй, одним из самых маленьких ростом в классе, и меня дразнили все, кому не лень. Я даже помню, как они орали: «Цукки, Цукки, провалился в брюки!» Я ходил во всем, из чего вырастал старший брат, а разница у нас в два года. А вообще меня все звали «Цукки-брюки». Ну конечно же, и грязным итальяшкой, и макаронником. У нас там жили и ирландцы, и итальянцы, и евреи. И доставалось всем. Я помню, как отец утешал меня, когда я приходил домой и говорил, что не хочу больше быть итальянцем.

— Ваш отец знал, что вы омега. Быть итальянцем — это уже большой шанс на принадлежность к классу омег.

— И все-таки, Брайли, вы проповедуете то, во что сами не верите. Неужели вы можете спокойно думать об обществе, которое телеуправляется? Вы просто бравируете трехцентовым нигилизмом.

— А почему бы и не представить такое общество? Мы и так, как я уже говорил, управляемое общество. Раскрепоститесь духовно, дорогой Юджин, вы же ученый, и взгляните в глаза фактам. Все ваше прекраснодушное существо содрогается при словах «телеуправляемое общество». А разве мы и так не телеуправляемое общество? Разве телевидение не способ телеуправления? Что бы вы

ни видели на экране — от рекламы зубной пасты «Пепсодент» и до серий о человеке — летучей мыши,—разве все это не телеуправление вкусами, наклонностями и мыслями миллионов? А ведь куда проще и эффективнее заменить все средства обработки индивида одним крошечным телестимулятором. И если бы даже люди узнали о том, что носят их в головах, они бы и не подумали протестовать. Они были бы счастливы, понимаете: счаст-ли-вы. Они были бы счастливы и в жалкой лачуге, и в двадцатикомнатной вилле, босыми на пыльной дороге и в роскошных «кадиллаках». Исчезли бы горечь, зависть, горе, которые разъедают современную цивилизацию, и самое главное — страх.

— А может быть, человеку иногда и нужно страдать?

— Ну, доктор, меньше всего я ожидал от вас услышать проповедь христианства!

— Боже упаси, Брайли, я верил в бога ровно до десяти лет. Но вы прекрасно знаете, что́ я хочу сказать. Человек не может платить за счастье отказом от своего «я». Человек должен думать, понимаете: должен! Даже если мысль — наш крест, мы должны нести его, а не всучивать его с благодарностью первому встречному, кто выражает желание разгрузить наш ум от нерешенных и трудных вопросов. Вы, Брайли, говорите куда красноречивее меня, но вы меня ни в чем не убедили, хотя ваши ответы просты и логичны, а у меня по большей части вообще нет ответов на самые простые вопросы. Счастье! Нужно прежде всего определить, что это такое. Тем более, будем откровенны, пока что наши заказчики в мундирах меньше всего пекутся о всеобщем счастье. Их интересует совсем другое.

— Это уже другой вопрос. К сожалению, у нас в стране это самые богатые меценаты. Но великое открытие нельзя долго прятать в генеральских сейфах. Раньше или позже оно выбирается оттуда. Так было и с атомной энергией, с ракетами, с лазерами и со многим другим. Как, кстати, ваш новый парень?

— Ничего, очень удобен для наблюдений над эмоциональным сдвигом. Он ведь любит мисс Кучел...

— А она была с Фостером. Великолепно! И как он к этому отнесся?

— Спокойно, конечно. Вы можете мне говорить что угодно, но это страшно и тягостно...

— Ну-ну-ну... Или вы предпочитаете классические сцены ревности?

— Может быть,— вздохнул доктор Цукки.

Он поймал себя на том, что хотел рассказать Брайли о трубе, и сдержался. Это было, разумеется, глупо, но ему не хотелось говорить этому человеку о том, что Карсуэлл залез в трубу во второй раз.

## СВИДАНИЕ ЗА ЭКРАНОМ

— Здравствуйте, доктор Цукки! — просиял Дэн.— Вы просили меня зайти.

— Добрый день, мистер Карсуэлл,— вздохнул доктор Цукки.— Садитесь.

Дэн с наивным любопытством рассматривал оборудование лаборатории.

— Как у вас тут все интересно! — сказал он.

— М-да... — неопределенно промычал доктор.

С минуту оба они молчали: Дэн — весело улыбаясь, Цукки — погруженный в раздумья.

— Скажите, Карсуэлл,— наконец прервал молчание доктор,— для чего вы полезли в трубу во второй раз? Вы ведь помнили свои ощущения и мысли, когда сидели в ней?

На лице Дэна появилось легкое облачко. Он наморщил лоб, пытаясь собрать веселые ленивые мысли, которые сыто и неторопливо — точь-в-точь стадо коров в жаркий полдень — дремали в его голове. Конечно, он помнил все то, о чем думал в трубе. Но воспоминания казались жалкими, смешными и стыдными, словно воспоминания о детских грешках.

— Я... я не знаю, доктор,— виновато сказал Дэн.

— А еще раз вы хотели бы испытать те же ощущения?

Сытые, дремлющие коровы-мысли в голове Дэна проснулись, встали и негодующе замычали. Они не хотели открывать глаза и сейчас мечтали лишь об одном: снова погрузиться в сладкую дремоту.

— Нет, доктор,— испугался Дэн,— я и близко не подойду к этой трубе!

— Подумайте лучше,— угрюмо настаивал Цукки,— не может быть, чтобы ничто из того, о чем вы думали там и что переживали, не было вам дорого.

Дэн почувствовал, как его захватывает смятение. Он не хотел думать о трубе. Все его существо содрогалось при мысли о ней, и вместе с тем ему страстно хотелось угодить доктору Цукки. Он не принадлежал себе. Его волю тащили в разные стороны. Он вспомнил Фло и боль, которая поглотила его в трубе, вспомнил отчаяние. Почему доктор настаивает, чтобы он испытал этот ужас еще раз? Но ведь этот ужас в тысячу раз естественнее его нынешнего сладкого отупения. Ну и что? Пускай это называется отупением или как угодно, но нет ни сил, ни воли, чтобы добровольно отказаться от него. Ему казалось, что стоило в нем появиться какому-то подобию воли, как теплые волны покоя сильно и нежно смывали ее куда-то вниз.

— Не знаю, доктор Цукки,— робко улыбнулся Дэн,— не могу думать. Вы уж простите меня.— Улыбка на его лице крепла, растекалась, пока не засияла во всем своем бездумном великолепии.

Доктор Цукки, как и всегда в трудные моменты жизни, чувствовал неприятный озноб, какой-то парализующий холодок внутри. Имел ли он право взять этого человека, излучавшего покой и довольство, и своими руками снова ввергнуть в кошмар осознания всего? Если бы он мог выпустить его из лагеря... Это от него не зависело, это абсолютно исключалось. А не пытается ли он подогнать факты под свои собственные убеждения? Может быть, Брайли в конце концов прав? Может быть, люди действительно готовы заплатить за счастье ценой отказа от своего «я»? Но ведь Карсуэлл не может оценивать вещи объективно, находясь в поле радиоизлучения. Ну и что? Он все равно полностью сохранил умственные способности и память. Он может думать, но он не хочет думать, потому что из опыта уже знает, что мысль несет горе. А кто он, Юджин Цукки, чтобы решать за другого, думать ему или не думать?

На мгновение Цукки показалось, что кто-то начинает ковыряться в его, Цукки, мыслях, и острый страх сковал его. Нет, нет и нет! Человек должен быть хозяином своей головы, даже если для этого его нужно взять за загривок, ткнуть носом в его собственные мысли и приказать: «Думай!» Любой контроль над мыслями — это низведение человека до животного или робота. Стоило ли спускаться с деревьев и сотни тысяч лет дрожать при свете

костра в промозглых пещерах, гибнуть на дыбах инквизиции и в фашистских крематориях, писать сонеты и создавать теорию относительности, чтобы стать телемарионетками? Счастье — это не критерий цивилизации. А что есть ее цель?

«Не знаю, что ее цель, но то, что я сейчас совершу преступление,— это я знаю. Я же подписал целую гору документов о сохранении тайны. Для чего нужно подвергать себя такому риску? Чтобы переубедить Брайли? Да ему и намекнуть об этом нельзя будет... Подумай, пока еще не поздно. Умерь гордыню и не высовывай нос, он у тебя и так длинный... Но я должен знать, как поведет себя в камере этот человек... Что бы он ни говорил, он полез в трубу во второй раз... Чушь... Теперь не полез бы... А если бы полез? И как всегда, ясного ответа нет... И как всегда, я делаю глупости... Сейчас я сделаю глупость, и будет поздно, и я буду рвать на себе волосы и не буду спать ночами... Но он же человек, он ее любит... Я тоже любил Мэри Энн, и она ушла. Ну и что... Он имеет право любить...»

Цукки поежился от внутреннего холодка и вдруг понял, что уже давно решился. Он выглянул из окна. Никого не было. На всякий случай он задернул зеленоватую занавеску, быстро подошел к запертой двери в стене и отворил ее.

— Пройдите сюда, Карсуэлл,— твердо сказал он.

Дэн, весело ухмыльнувшись, с любопытством посмотрел на тяжелую металлическую дверь и вошел в нее. Он попал в небольшую каморку, стены которой были покрыты множеством шкал. Подслеповато смотрели белесые экраны осциллографов.

— Садитесь,— приказал Дэну Цукки и закрыл за собой дверь.

И в то же мгновение с мира кто-то разом смыл сияющий розоватый отсвет, наполнив его невыносимо пронзительным холодным колючим светом. Как и тогда в трубе, мир наваливался на него своими острыми углами, каждый из которых ранил, причинял ему боль. Но это была его боль, и он застонал при мысли, что может снова лишиться ее, оказавшись снаружи там в блаженном бездумье сумасшедшего дома.

— Я могу снова открыть дверь,— почему-то прошептал Цукки и посмотрел на Дэна.— Вы хотите туда?

— Послушайте, вы! — Дэн скрипнул зубами и сделал усилие, чтобы удержать руки. С каким наслаждением он бы вложил весь вес своего тела в удар по щурившейся физиономии этого кретина с трусливыми глазами и вялым, безвольным ртом! — Послушайте, вы,— еще раз с силой выдохнул Дэн,— лучше заткнитесь, пока я еще могу сдерживаться! Тюремщик должен быть тюремщиком, а не строить из себя черт знает кого.

— Вы совершенно правы,— пробормотал Цукки, и Дэну показалось, что в глазах его за толстыми стеклами очков скользнули веселые искорки.

— Вы еще смеетесь надо мной? Мало того, что из меня здесь сделали обезьяну, отвратительную обезьяну! Вам еще и смешно?

— Нет, Карсуэлл, мне не смешно. И вы еще многого не понимаете. Вы знаете, почему вы здесь стали думать, как тогда, в трубе?

— Нет,— сказал Дэн и внимательно посмотрел на доктора.

— Мы находимся в экранирующей камере. Стенки ее из металла и не пропускают радиоволн.

— А я что, приемник?

— Да,— просто ответил Цукки.— Вы приемник. Под вашей черепной коробкой находится крошечный, величиной с булавочную головку, специальный телестимулятор, который контролирует ваш эмоциональный настрой.

Дэн судорожно схватился за голову, ероша волосы и ощупывая череп.

— Вы не нащупаете его,— покачал головой Цукки.— Ультразвуковая дрель почти не оставляет следов, а сам стимулятор — под черепной коробкой.

— Так выньте его,— застонал Дэн,— прошу вас!

— Не могу,— сказал доктор Цукки.— Вставить его — дело нескольких минут, а вынуть — сложнейшая операция. Это вроде рыболовного крючка.

— Ну прошу вас,— Дэн сжал кулаки,— выньте у меня эту пружину! Я не хочу быть заводным человечком! Вы понимаете — не хочу! Не хочу!

— Мы еще поговорим на эту тему,— мягко сказал доктор,— а сейчас подождите минутку.— Он подвинул к себе телефон и попытался набрать номер. Палец его дрожал и дважды соскочил с диска. Наконец он получил соединение и сказал: — Мисс Кучел? Это доктор Цукки. Зайдите, пожалуйста, ко мне на минутку... Да, да, в лабораторию.

Дэн сжался в комок. Сердце рванулось, как гоночный автомобиль. Мысли, отталкивая друг друга, ринулись вдогонку. Секунды набухали, росли до бесконечности, растягивались и не хотели уходить.

Минуты подавляли своей огромностью.

Внезапно из комнаты за дверью послышался смеющийся голос:

— Доктор Цукки, где вы?

— Одну минутку,— пробормотал Цукки, открыл металлическую дверь, впустил Фло и тихо вышел из камеры.

Дэн смотрел на Фло. Казалось, что кто-то невидимый медленно менял диапозитивы в ее глазах. Прозрачное веселье тускнело, темнело, и вместо него приходило выражение острой и недоуменной боли. Фло с силой провела рукой по лбу и закрыла на мгновение глаза.

— Дэнни,— вдруг прошептала она и заплакала. Слезы набухали в ее глазах н по-детски скатывались по щекам и носу.— Дэннн...— Она, казалось, колебалась с секунду, потом судорожно закинула ему руки за шею и прижалась к нему. Она все сжимала н сжнмала руки, старалась распластаться у него на груди и при этом все повторяла: «Дэнни, Дэнни», будто боялась забыть это слово.

Медленно н осторожно он положил ей руки на спину и ощутил под ладонямн знакомое живое тепло. Он прижал губы к ее шее и замер, не думая нн о чем.

Не было ни экраннрующей камеры, ни колючей проволоки, ни ужаса самосознания, ни стимулятора, нн доктора Цукки — ннчего. Была лишь страшная и горькая, сладостная н огромная нежность к этому трепетавшему подле него существу. От этой нежности перехватывало дыхание н на глаза навернулись слезы. Фло, Фло...

* * *

Роберт Брайлн не любнл доктора Цукки. Неприязнь эта была полной и гармоничной. Его раздражало мягкое, нерешительное лицо, безвольный рот, и даже очки доктора Цукки с толстыми стеклами и толстой оправой были ему непрнятны. Его смешили костюмы коллеги: мешковатые и с привычными неопрятными складками на брюках н пиджаке. Его бесила манера доктора говорить: он всегда мямлнл, словно в нерешительностн обдумывал простейшие вещи, прежде чем сказать нх. Его угнетал провннциальный ндеализм Цукки, умственная трусость и боязнь точных формулировок.

Будучи ученым, Брайли не раз пытался анализировать свою неприязнь к нему. Иногда ему казалось, что он не любит Цукки потому, что тот вышел нз другой соцнальной среды. Но тут же он возражал себе, что среди его знакомых многие выбились нз самых низов, н ни к кому из ннх он не испытывал ни малейшей антипатии. Не мог он и завидовать Цукки. Начииая с научной карьеры н до гольфа, он был гораздо удачливее Юджина. Особенно в гольфе. Стоило посмотреть, как тот замахивается клюшкой и в глазах его при этом появляется мучительно напряженное выражение неудачника, сознающего, что он неудачник, как становилось ясным: далеко этот человек не пойдет.

И хотя Брайлн не мог сказать себе, почему именно он ие любнт Цуккн, он, не любя его, не мог заставнть себя отиоснться к иему, как относился ко многнм на базе: сугубо сухо и офнциально. Казалось, что едкое раздраженне, которое он нспытывал во время бескоиечных споров, стало уже исобходнмо ему, как некнй страниый иаркотик.

Он все время пытался переубеднть его, переспорнть, прижать в угол бесспорнымн аргументами, заставить выкииуть белый флаг. И не мог. В последннй момеит тот отказывался сдаваться.

Может быть, Цуккн ие хватало гордости? Человека негордого победить бывает труднее — у него не хватает гордости призиать пораженне.

Порой ои начииал думать, что пытается сломнть не Цукки, а самого себя, ио мысль была абсурдна, н он ее с презреннем отбрасывал.

Постепенио, сам не замечая того, ои прниялся винмательнейшим образом шпноннть за Цуккн, иаходя в этом какое-то сладостиое удовлетворенне. Одиажды, как он себя уверял — от скукн, он собрал крохотный мнкрофончик, который иезаметио спрятал в лабораторнн Цуккн н время от временн развлекался, прнслушнваясь у себя в комнате к его свннячьему похрюкнванню. Когда Цукки работал над особеино сложной схемой, он всегда похрюкнвал.

Сейчас похрюкиваиня ие было слышио. Шагн. Кто-то вошел к Цукки. Ага, это новенькнй, Карсуэлл.

Брайлн прнжал ухо к динамику. Это нntересно. В высшей степеии ннтересно. Страииые беседы для сотрудника базы, да еще с объектом. Орнгннально! Объясиять действие стимулятора! Онн ведь подпнсывалн кучу бумаг, в которых клялись ннкогда и ннкому не разъяснять работ на базе. Смешно. Как ои сразу не мог раскуснть эту толстую иеопрятиую свинью! Ои же предатель, Цуккн. Он нз тех, кто прнкрывает свое предательство такнми гладенькимн н гаденькнмн фразамн о моральной ответственностн ученого. Он нз тех, кто, побив себя кулакамн по впалой грудн, бросался продавать военные секреты страны любым врагам. И даже бесплатно. Лншь бы предать. Само по себе предательство не вызывало в Брайлн ненавистн. Он был слншком умным человеком, чтобы прнходнть в ужас от таких вещей. Но Цуккн, мямля Цукки

со своими сомнениями... Ему вдруг стало легко и весело на душе, словно с нее свалился груз. Вот, оказывается, в чем дело: предатель! Предатель! Предатель! Вот она, его правда! Вот они, его принципы! Вот она, его душевная чистота! А он, Брайли, хорош, нечего сказать. Споры, споры, споры... Аргументы и контраргументы... С кем? С элементарным предателем.

А это кто? Ах да, мисс Кучел. Ну конечно, Цукки что-то говорил о том, что они любят друг друга. Почему они все замолчали? Странно! А может быть, экранирующая камера? Не может быть!.. А почему, собственно? Почему не может? После объяснения действия стимулятора все может быть!

Брайли почувствовал острую, ни с чем не сравнимую радость. Цукки у него на веревке. Он проденет ему кольцо в нос и будет водить его, как быка. Безрогого быка. Ах, Цукки, Цукки! Цукки-брюки. Цукки провалился в брюки. Не в брюки, дорогой Юджин, а значительно глубже! Завести объект в экранирующую камеру — великолепно! Не надо только спешить. Надо все хорошенько обдумать и наметить план действий. Ах, Цукки-брюки, кто бы мог подумать!..

Можно было бы, конечно, тотчас же сообщить Далби и Уэббу. Мало того: не «можно было бы», а «нужно было бы». Но не стоит себе отказывать в маленьком удовольствии. Сообщить будет не поздно и через несколько дней. Совсем не поздно...

Ему даже стало жарко от всего случившегося. Он расстегнул воротник и вытащил из кармана сигарету. Он закурил и глубоко затянулся. Смешно, что он так радуется чужой подлости. А подлости ли? Конечно, это подлость, с какой стороны ее ни рассматривай. Он пригладил волосы и вздохнул. Проще нужно смотреть на вещи. Проще. Кому нужна в наш век достоевщина? Разве что таким, как этот Цукки...

## УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Земля была сухая и твердая, и лопата никак не хотела входить в нее. Дэн наступил ногой на загнутую кромку штыка, несколько раз дернул за ручку и наконец вывернул ком земли.

«Здесь так сухо, что нет червей»,— подумал он, вспомнив, как копал мальчишкой червей для рыбной ловли. Они пытались спрятаться, целиком уйти в землю, но он цепко хватался за скользкий, извивающийся конец червя и торжествующе вытаскивал его. Каждый раз он удивлялся, что червяк, такой слабенький и мягкий, не рвался пополам, а целехоньким оказывался у него на ладони, откуда шлепался в консервную банку и присоединялся к медленно копошащейся куче своих собратьев. Иногда он думал: а понимают они, что с ними случилось что-то страшное и что никогда снова не смогут они лениво сверлить головами влажные пласты земли? Он не мог ответить себе на вопрос и, не зная ответа, быстро забывал о нем.

А знает ли он ответы на все вопросы сейчас, стоя с лопатой в руках около клумбы, которую ему поручили вскопать? Наверное, нет, и поэтому не хочется думать ни о чем. Фло... Как это невыразимо странно! Он помнит, как его губы прижимались вчера к ее коже, и она все сжимала и сжимала руки у него на шее, и ее ладони, всегда прохладные, были сухи и горячи. Помнит и не помнит. «Наверное,— лениво подумал Дэн,— человек хорошо помнит тогда, когда не только вспоминает свои чувства, но и снова переживает их, воскрешая в памяти пережитое и перечувствованное. Но позволь, Дэн, тебе вот сейчас хорошо и покойно на душе. А вчера, ты это помнишь, сердце твое съеживалось в комок, словно кто-то выжимал его, как губку». Он безразлично пожал плечами. Он уже привык к вопросам, которые остаются без ответа, вымываются из него радостью бытия и, словно оглушенные рыбки, уносятся кверху животами ровным током блаженного забвения. Но сегодня, впервые за последние дни, рыбки не сразу переворачивались животами кверху и не сразу уносились прочь. Фло... В этих коротких звуках, которые он повторил про себя несколько раз, еще угадывался волшебный трепет, который он так остро чувствовал раньше. Слово это казалось ему почему-то округлым и сильным, как голова моржа, и сегодня оно впервые сопротивлялось потоку радостного спокойствия, струившегося в него откуда-то извне. Теперь он знал, откуда оно берется, но знание ничего не меняло, ничего.

Он уже вскопал почти половину клумбы и приспособился к земле. Нужно было вогнать штык наполовину

или чуть меньше, несколько раз энергично покачать ручкой лопаты, а потом уже вложить всю тяжесть тела в ногу, упирающуюся в кромку штыка. Ловко. Молодец, Дэнни. Дэнни... Как она вчера повторяла: «Дэнни, Дэнни, Дэнни...»

Клумбу разрезала пополам длинная фиолетово-черная тень, остановилась и сказала голосом доктора Брайли:

— Как дела, мистер Карсуэлл?

Дэнни воткнул лопату в уже вскопанную землю, отер тыльной стороной ладони пот со лба и улыбнулся:

— Спасибо, доктор Брайли. Просто не верится, что в эдакой суховище будут расти цветы!

— А мы сюда подведем воду. Над клумбой будет вращаться маленький разбрызгиватель, все время увлажняя землю. Представляете себе, какая будет клумба? Хоть на конкурс цветов.

Удивительно, как все без исключения люди на базе были ему приятны и симпатичны! Какой он милый, этот доктор Брайли! Такая жарища, а он, как всегда, безупречно одет, и пробор у него точно лакированный.

— Послушайте, дорогой мой Карсуэлл, вы меня, право, обижаете.

— Я? — испугался Дэн.— Помилуйте, я и в мыслях того не держал!

— К моему коллеге Цукки вы заходите, а ко мне никогда. Знаете, народа тут у нас не так уж много, и радуешься каждому новому собеседнику.

«Смешной какой! — подумал Дэн.— Обидчивый, как девочка».

— Не знаю, доктор Брайли, мне просто было как-то неловко беспокоить вас.

— «Беспокоить»! Еще что! Я ж вам говорю: у нас здесь ценишь беседу с каждым новым человеком. Вчера, например, вы, наверное, часа полтора просидели в лаборатории моего коллеги.

— Вы меня прямо конфузите, доктор Брайли! Конечно, я с удовольствием беседую с доктором Цукки, но я был бы счастлив зайти и к вам.

— Завидую я Цукки! — мечтательно сказал Брайли.— О чем вы, интересно, болтали там весь вечер? Такое общество... Ведь и мисс Кучел тоже зашла на огонек? Наверное, доктор Цукки показывал вам лабораторию и

экранирующую камеру? Готов поспорить, что он рассказывал вам об очень интересных опытах, которые мы здесь проводим. А? Вы должны быть ему благодарны. Без него вы вряд ли бы узнали о таких вещах — верно ведь?

Дэн уже открыл было рот, чтобы сказать «да, конечно», но округлое и сильное слово «Фло» почему-то снова на мгновение вынырнуло на поверхность его сознания, отчаянно борясь с течением.

«Но ведь доктор Брайли милейший человек, мне так хочется рассказать ему обо всем, о чем он меня спрашивает»,— мысленно сказал Дэн Фло. «Доктор Цукки рассказал нам вчера то, что не должен был рассказывать»,— прошептала Фло из последних сил. Течение подхватило ее, закружило, понесло. Но странным образом ее настойчивый шепот все еще стоял в ушах Дэна. Он почувствовал, что дрожит, словно на спине у него лежал непосильный груз. Он слабо улыбнулся и, не понимая, как может лгать такому милому, симпатичному человеку, как доктор Брайли, сказал:

— Рассказывал об опытах? Каких опытах?

Брайли разочарованно поморщился. Он взглянул на Дэна, на лице которого блуждала слабая глуповатая улыбка, и спросил:

— Но о чем-нибудь интересном вы говорили? У мисс Кучел...

— Не знаю,— засмеялся Дэн и протянул руку к лопате,— не помню, доктор Брайли. Но я обязательно зайду к вам. Спасибо за приглашение.

Фиолетово-черная длинная тень на клумбе качнулась, рывками, в такт шагам, соскользнула с взрытой земли и исчезла.

«Я... я... соврал! — крикнул про себя Дэн. Ему почудилось, что поток бессмысленной радости, нагнетаемой в его голову, чуть ослабел.— Должно быть, потому, что я выстоял»,— подумал он. Но усилие было слишком большим. Он больше не мог сопротивляться привычной улыбке, которая растягивала его губы. Через минуту он уже не помнил, почему улыбался.

* * *

Когда доктор Цукки закрыл за собой металлическую дверь экранирующей камеры, Дэн долго молчал, с силой растирая себе ладонью лоб.

— Скажите, доктор,— наконец спросил он,— возможно ли волевое усилие, когда человек находится под воздействием телестимулятора?

— В принципе нет,— сказал доктор Цукки и тревожно посмотрел на Дэна,—но вообще трудно сказать... У нас еще слишком мало данных. Хотя пока, повторяю, мы с такими вещами не сталкивались. Сильное возбуждение очагов наслаждения в мозгу.

— Оставьте, доктор. Мы не на лекции. Не знаю как, но сегодня я, кажется, устоял перед стимулятором.

— Интересно, в высшей степени интересно! — Глаза доктора Цукки за толстыми стеклами очков подслеповато заморгали.— Как же это произошло?

— По-моему, Брайли не только знает, что вчера мы были здесь у вас, но знает и про ваши объяснения, и про камеру.

Полное смуглое лицо Цукки бледнело постепенно. Сначала кровь отлила от носа, сделав его почти синим, потом от лба и щек. Губы его затряслись от испуга. Он оглянулся вокруг и прошептал срывающимся голосом:

— Не может быть! Боже, что со мной будет? Я погиб, погиб! Бежать к нему, броситься на колени, умолить...— Внезапно, опомнившись, Цукки сказал, подбадривая себя: — Не может быть! Вам просто показалось. Как он мог подслушивать? Каким образом? Нет, это чушь какая-то.

— Не знаю.— Дэн испытывал теперь легкую брезгливость к этому пухлому, трусливому человеку.— Не знаю, как он мог подслушивать, но у меня впечатление, что он обо всем знает и о многом догадывается. Не впечатление даже, а уверенность. Скажите спасибо, что я каким-то чудом смог удержаться и не выболтал ему все, что знаю. Я ведь прекрасно помню, как ябедничал вам на самого себя. Это один из ваших лучших трюков. Но другой раз я, может быть, и не выдержу. Если бы Брайли помучил меня еще несколько минут, я бы с кретинской улыбкой предал вас и себя.

Дэн криво усмехнулся и не мог удержаться, чтобы не ощупать себе голову. Но под корнями волос череп был гладок, и он не мог найти ни бугорка.

— Что же делать, что же делать? — заметался доктор Цукки. Пальцы его шевелились, каждый сам по себе.— Мы же все пропадем! Вы и не представляете себе,

какие здесь строгости. Боже мой, боже мой! Зачем я только...

— Перестаньте, доктор,—ровным голосом сказал Дэн. Он чувствовал безмерную усталость, и странное спокойствие охватило его, как тогда дома, когда, выбросив труп Клеопатры в мусоропровод, он стоял перед зеркалом.— Я знаю только один выход: Брайли нужно убить.

Цукки, словно подброшенный пружиной, подскочил на стуле, нелепо взмахнул обеими руками и крикнул:

— Прекратите дурацкие шутки, Карсуэлл! Я запрещаю вам так шутить!

— Я не шучу,— скучно сказал Дэн.

Сигарета заплясала в пальцах Цукки, и он никак не мог усмирить ее, чтобы попасть ею в огонек зажигалки.

— Я запрещаю вам говорить об этом!

— Во-первых, плевать я хотел на ваши запрещения,— тихо сказал Дэн,— а во-вторых, прекратите истерику. Если вы сейчас же не возьмете себя в руки, я вам набью вашу ученую морду, даю честное слово.

Цукки негодующе выдохнул табачный дым и вместе с ним возбуждение. Он безвольно откинулся в кресле, и тотчас же его светло-зеленый халат собрался на животе и груди в привычные мягкие складки.

— Убить Брайли, убить? — В голосе его звучало искреннее стремление понять смысл произносимого им слова.— Как это — убить?

— Очень просто,— сказал Дэн.— Насильственно лишить его жизни каким-либо способом. Как говорили когда-то: «Повесить его за шею, и пусть он висит до тех пор, пока жизнь не покинет его».

— Вы хотите его повесить? — Казалось, что Цукки готов был теперь поверить Дэну, что бы тот ни сказал.

— Не думаю,— усмехнулся Дэн,— слишком хлопотно.

— Но скажите мне честно, Карсуэлл, вы пошутили, правда?

— Нет. Если мы не убьем Брайли, вас упрячут в тюрьму, а мы с Фло надолго, если не навсегда, останемся телеобезьянами.

— Но убить человека...

— Да, убить человека. А меня вы разве не убили? А Фло, а Фостера и еще человек пятьдесят? Разве это не убийство? Ограбить мозг, душу и сердце и превратить в улыбающегося робота...

— Я не знаю, Карсуэлл... Это слишком сложно...

— Вы не знаете, хотя вы ученый, а я знаю, хотя я не ученый, а обычный человек, с трудом осиливший университет и зарабатывающий на кусок хлеба в паршивом рекламном агентстве. Я знаю, Цукки. Вы понимаете, знаю! Я знаю, что они не колебались, когда хотели убрать меня тогда. Таблетки с ядом — это всерьез.

Несколько минут они оба сидели молча, потом Дэн нагнулся к уху Цукки и что-то зашептал...

## „НУ КОНЕЧНО ЖЕ, ЭТО САМОУБИЙСТВО"

Полковник Далби посмотрел на заместителя, медленно расстегнул верхнюю пуговицу пижамы и сонно спросил:

— То есть как умер? Вчера я только видел его.

Майор Уэбб с четкостью, не лишенной злорадства, отчеканил:

— Именно умер, сэр. Труп Брайли обнаружен,— майор посмотрел на толстый «роллекс» на руке,— ровно пять минут назад. Я приказал ничего не трогать в лаборатории.

Полковник Далби не любил неприятностей. Он не любил происшествий. Он не любил никаких событий, ибо даже невинные события имеют скверную привычку со временем обращаться в неприятность.

Он мгновенно представил себе целую лавину событий, даже неприятностей, которые навалятся на него, и застонал.

— Кто обнаружил труп?

— Калберт. Он убирает по ночам лаборатории. Он обнаружил труп пять... простите, уже шесть минут назад.

Полковник Далби зажмурился. Ему хотелось снова заснуть и проснуться утром, когда все это окажется глупым сном. Не надо было есть на ночь отбивную. Когда заснуть ему все же не удалось, он свесил с кровати ноги и обреченно спросил:

— Умер?

— Совершенно верно, сэр.

— Но как?

— Мгновенно. Пуля попала в висок.

— Пуля?

— Совершенно верно. Пуля. Пистолет лежал около дивана.

Полковник начал раскачиваться всем телом, и на лице его появилось обиженное выражение ребенка, которому сказали, что не берут его в цирк.

— Сейчас, за три дня до приезда генерала Труппера! Боже мой, за три дня до приезда! С ума сойти! Что?

— Я говорю: так точно, сэр, с ума сойти.

— Перестаньте кривляться! Ваши идиотские строевые штучки действуют мне на нервы. Дайте мне, пожалуйста, брюки, вон они на спинке кресла.

— Пожалуйста, сэр.

Полковник наполовину натянул брюки и вдруг с надеждой спросил:

— А может быть, это самоубийство?

Майор Уэбб пожал плечами.

— Я почти уверен, что это самоубийство,— продолжал полковник.— У ученых, знаете, это бывает. Переутомление. Нервная депрессия. Нет, нет, я почти уверен. Таких, как Брайли, не убивают. Он слишком ловок для этого. Слишком ловок. И потом, что это за убийство? Это же плохой вкус — взять и ухлопать человека на секретной базе. Нет, нет, не убеждайте меня. Это самоубийство. Брайли был слишком ловок, чтоб дать ухлопать себя.

— По-моему, он был слишком ловок, чтобы покончить с собой.

— Ну что вы, Уэбб! — испуганно сказал полковник.— Вы просто несете чушь. Вы представляете себе, сколько было бы неприятностей? А?.. Пошли. А выстрел кто-нибудь слышал?

— Похоже, что нет. Лаборатории ведь стоят в стороне. Во всяком случае, никто ничего не сообщил.

Уэбб сел за руль открытого «джипа», а полковник, поеживаясь от ночной прохлады, уселся рядом с ним. Призрачный свет фар жадно лизнул светлую стену административного корпуса и заплясал на дороге.

Через минуту «джип» затормозил около здания лаборатории, у входа в которую стоял человек.

— Я выключил свет, сэр,— сказал человек,— чтобы не привлекать внимания.

— Хорошо, Калберт. Теперь зажгите его.

Они вошли в лабораторию. На полу стояло ведро и лежала швабра. Полковник посмотрел на Калберта.

— Я только вошел, сэр, зажег свет, поставил на пол ведро и тут же увидел его. Вот так он и лежал на диване.

— Я понимаю, что так же. Вряд ли он перевернулся на другой бок,— нервно сказал полковник.

Брайли лежал на диванчике на спине. Правая его рука свешивалась почти до пола. На полу лежал смит-вессон.

Полковник сделал шаг к дивану и увидел, что правый висок Брайли был разворочен выстрелом.

— Похоже, что выстрел был произведен в упор,— быстро сказал он.— Как вы считаете, Уэбб?

— Возможно, сэр. Все возможно.

— Что значит — все? Вы разве не думаете, что он сам стрелял в себя?

— Я ничего не думаю, сэр. Мне лишь кажется, что все слишком похожс на самоубийство.

— Что значит — слишком? Вы просто начитались детективных романов, Уэбб. Да и кто мог бы убить его? Некому. Я вам говорю — некому. Вызовите лучше Клеттнера, пусть он произведет вскрытие, составит акт и все там прочие формальности, а мы подождем утра и приступим к следствию. Хотя я и уверен, что это чистейшее самоубийство, нужно провести следствие по всем правилам, ведь здесь мы и полиция и суд.

Далби говорил тоном обиженного ребенка, который возмущен незаслуженным наказанием. Разве он не делал всего, что требовалось? Разве не могло все идти так же тихо и мирно, как шло до сих пор? Разве он виноват, что на диване лежит мертвый Брайли? Полковник почувствовал отвращение к нему. Взял и подложил ему свинью прямо перед приездом Труппера. Эгоист. Нашел время стреляться... Истерики они все и ипохондрики. Самих бы их под стимулятор. В первую очередь чтоб знали, как стреляться на образцовых секретных базах...

* * *

Допрос шел в кабинете начальника базы. Полковник Далби с несчастным выражением лица сидел за своим огромным письменным столом, то и дело скашивая гла-

за на сложенную вчетверо газету, которая для приличия была прикрыта «Таймом». На газете был виден наполовину решенный кроссворд. Рядом с полковником, с короткого края стола, сидел майор Уэбб. У окна, с трудом сдерживая зевоту, устроился доктор Клеттнер, главный врач базы.

Глаза у него были сонные.

Перед столом сидел доктор Цукки и нервно вздрагивал при каждом вопросе.

— Доктор Клеттнер утверждает,— сказал полковник Далби,— что Брайли умер между часом и двумя ночи.— Понимаете, дорогой Цукки, это чистейшая формальность, но я вас вынужден спросить, где вы были в это время.

— Да, да, конечно, я понимаю.— Цукки поспешно кивнул головой.— Да, конечно, конечно. Бедный Брайли, такие руки у него были!..

— Мы все потрясены, доктор Цукки, но я вынужден повторить вопрос: где вы были этой ночью, в частности от полуночи до двух?

— Да, да, разумеется,— встрепенулся Цукки,— я был в своем коттедже.

— Когда вы легли спать?

— Около половины третьего...

Уэбб бросил короткий взгляд на полковника. Полковник, зябко вздрогнув, быстро взглянул на Цукки.

— Вы всегда так поздно ложитесь?

— Нет, мистер Далби. Обычно я ложусь около полуночи.

— Что же заставило вас бодрствовать на этот раз так долго?

— Видите ли, часов в одиннадцать ко мне зашел сосед, доктор Найдер, и мы заболтались...

— Какого же черта вы сразу не сказали! — просияв, крикнул полковник, победно посмотрел на Уэбба, скосил глаза на кроссворд и вдруг довольно хлопнул себя по ляжке.— Ну конечно же, киви. Птица из четырех букв.

— Что, что? Какая птица?

— Ничего, это я говорю о вашей беседе с Найдером.

— Я как-то не подумал, что это так важно.

— Вы настоящий ученый, дорогой доктор Цукки,— сказал полковник,— вы далеко пойдете. В научном, разумеется, плане. Теперь еще несколько вопросов, уже, так сказать, второстепенного порядка. Вернее, не второсте-

пенного, а, так сказать, менее личного плана. Вы не знаете, откуда Брайли взял смит-вессон?

— Смит-вессон? — переспросил Цукки и побледнел.

— Да, именно. Смит-вессон.

— Боже мой...— Дрожащими пальцами Цукки попытался вытащить сигарету из измятой пачки, но не смог.

— Не волнуйтесь вы, ради бога,— нервно сказал полковник, перегнулся через стол, достал сигарету и дал ее Цукки.

— Спасибо,— сказал Цукки. Он долго возился с зажигалкой, пока наконец не закурил.— Это моя вина. Да, моя.— Он опустил голову.

— Что значит — ваша? — недоверчиво спросил полковник.

— Видите ли, пистолет этот был найден у Дэниэла Карсуэлла. Вы знаете...

— Да,— коротко кивнул полковник.

— По согласованию с вами я оставил пистолет у себя. Мне было интересно посмотреть, как будет вести себя стимулируемый объект, если ему предложить его же оружие. Я уже докладывал, что опыт вполне удался. Мистер Карсуэлл не захотел взять пистолет. Это очень важный момент в наших исследованиях. Очевидно, состояние эйфории с наложенным на нее подавлением воли полностью угнетает агрессивное состояние.

— Хорошо, хорошо, вы уже докладывали об этом. Но в чем же ваша вина?

— Брайли видел у меня пистолет. Вчера... нет, простите, позавчера он попросил его у меня. Боже, зачем я это сделал...

— Кто мог знать,— мягко утешил Цукки полковник,— кто мог знать... Он не сказал вам, для чего ему оружие?

— Он сказал, что хочет проверить мой опыт. Вы понимаете, как ученый я не мог отказать ему. Это дало бы возможность поставить под сомнение мои выводы...

— Ну конечно же, доктор,— просиял полковник,— научная добросовестность превыше всего. Вы не замечали каких-нибудь перемен в покойном в последнее время?

— Нет, пожалуй,— задумчиво сказал Цукки,— если не считать, что он стал угрюмее, что ли... Мы часто спорили по научным вопросам, и он был... как вам сказать... более, чем обычно, язвителен.

— Прекрасно,— сказал полковник,— прекрасно! Вы

не знаете никаких причин, почему бы Брайли мог покончить самоубийством? Не производил ли он на вас впечатление человека, который может наложить на себя руки?

— Пожалуй, нет.

— Хорошо. Если бы мы знали обо всех причинах самоубийств, их бы просто не было. И последний вопрос: могут ли стимулируемые объекты сознательно лгать, укрывать правду?

— Это исключается, мистер Далби. Видите ли, ложь — это в некотором смысле волевое усилие, творческий акт. Мы же подавляем волю стимулируемых объектов. Сознательная ложь совершенно исключается.

— Дело в том, что вчера покойник беседовал несколько минут с Карсуэллом. Имеет ли смысл допросить этого человека?

Доктор Цукки пожал плечами:

— Я уже вам объяснил, что...

— Спасибо, дорогой Цукки, вы очень помогли нам. У вас есть вопросы, Уэбб?

— Нет, сэр,— сказал майор и проводил глазами неуклюжую фигуру ученого.

— Каков идиот,— улыбнулся полковник, когда Цукки вышел из комнаты,— но очень симпатичный. С такими можно делать все, что вздумаешь. Ну что, вызовем этого Карсуэлла? Попросите, пожалуйста, Уэбб, чтобы его прислали сюда.

Как бы случайно полковник сдвинул локтем журнал «Тайм» на несколько дюймов в сторону, быстро вписал в пустые клеточки слово «киви», вздохнул и решительно прикрыл кроссворд «Таймом».

Дверь приоткрылась, и в щели показалась коротко остриженная голова сержанта.

— Карсуэлл, сэр.

— Давайте его,— сказал полковник.

Дэн вошел и широко улыбнулся. Все трое сидевших в комнате, казалось, излучали теплоту, будто были рефлекторами, а он стоял в фокусе их излучения.

— Здравствуйте, джентльмены,— сказал он.

— Нам стало известно... гм... Карсуэлл, что вчера вы о чем-то беседовали с доктором Брайли. Нам бы очень хотелось знать, о чем именно. Не могли бы вы нам рассказать?

— Ну конечно! — с воодушевлением воскликнул Дэн, чувствуя, как все в нем тянется навстречу этим добрым и внимательным людям. Возможность сделать им что-нибудь полезное воодушевляла его и заставляла говорить быстро и возбужденно: — Я вскапывал клумбы, когда ко мне подошел доктор Брайли и сказал, что очень обижен на меня за то, что я часто беседую с доктором Цукки, а с ним никогда. Что он ценит здесь каждого нового собеседника, поскольку немного есть людей, с которыми он мог бы поговорить.

— Он хотел сказать, что тоскует?

— Не знаю, сэр.

— Но он сказал, что ему не с кем поговорить?

— Не совсем так. Он сказал, что ценит каждого нового собеседника.

— Понятно, это одно и то же. А что вы ему ответили?

— Я был очень сконфужен и обещал обязательно зайти к нему. Я обязательно сделаю это сегодня. Обязательно.

Полковник Далби посмотрел на Дэна и сказал:

— Вы этого не сделаете. Доктор Брайли сегодня ночью умер.

— Что вы говорите, сэр? Как это так — умер?

Дэн понимал слово «умереть», но оно решительно отказывалось проявиться в его сознании, до конца выявить свой физический смысл. Тихое блаженство, струившееся в нем, лишало слово всякой конкретности, оставляло лишь набор звуков, пустых и малозначительных. Доктор Брайли, забавно! Вчера только он просил Дэна зайти, а теперь говорят, что он умер. Умер не умер — какое это, в конце концов, могло иметь значение в мире поющей радости, в который он был погружен!

— А вы не знали, что он умер? — спросил полковник.

— Нет, сэр, не знал, — широко улыбнулся Дэн. — Честно признаться, меня мало интересуют такие вещи. Знаете, это как-то... — Он смущенно и вместе с тем довольно засмеялся, заставив вздрогнуть полковника от неожиданности.

— А где вы были ночью? — внезапно спросил Уэбб, пристально взглянув на Дэна.

— Ночью? — Дэн хихикнул. Этот человек так мило пошутил. — Ночью? Ночью, сэр, я спал.

Ответ свой тоже показался ему остроумным, и он по-

чувствовал удовлетворение художника при создании маленького шедевра.

— Больше ничего вы не можете сказать нам? — спросил полковник.

Дэн виновато улыбнулся. Смешные люди! Если бы он знал что-нибудь, он бы с удовольствием сделал им приятное.

— Ну хорошо, Карсуэлл, спасибо. Можете идти.

— Вам спасибо, джентльмены.— Дэн прижал от избытка чувств руку к груди, поклонился и вышел.

— По-моему, все ясно,— сказал полковник.— Нет никаких оснований сомневаться в самоубийстве. Последнее время Брайли был подавлен. Это раз. Он даже просил зайти поболтать этого Карсуэлла. Это два. Он под фальшивым предлогом взял пистолет у Цукки. Это три. На пистолете отпечатки пальцев Брайли. Это четыре. И, наконец, выстрел был произведен почти в упор. Это пять.

— А может быть, поговорить с Карсуэллом в экранирующей камере? — вдруг спросил Уэбб.

— Глупо, Уэбб. Вы меня простите, но это глупо. Если человек ничего не может сказать под воздействием стимулятора, когда он лишен воли, что он скажет вам, находясь в здравом уме? Нет, Уэбб, я ценю вашу проницательность, но ваше предложение глупо.

— Возможно, сэр,— кивнул головой Уэбб,— но мне кажутся подозрительными многочисленные беседы Цукки с этим Карсуэллом. Не забывайте, что это за тип и как он к нам попал.

— Помню, помню. Но, во-первых, Цукки ведет наблюдения над группой объектов, куда входит и Карсуэлл. А во-вторых, у вас еще слишком много чисто строевых представлений. Все-таки это не Форт Брагг, а Драй-Крик. Не забывайте об этом. И проследите, чтобы все бумаги были составлены по должной форме.

— Хорошо, сэр,— угрюмо сказал Уэбб и вышел.

За ним, словно очнувшись ото сна, поспешно выскочил и врач.

Полковник несколько раз широко развел руки, глубоко вздохнул и снял «Тайм» с кроссворда. Теперь можно было спокойно подумать над древним скандинавом — воином из шести букв,— начинающимся с «в».

Конечно, полностью избежать неприятностей не может никто, но уметь их уменьшить — ох, как это важно!..

— Вы знаете, Карсуэлл, для чего я вас позвал? — спросил майор Уэбб, пристально вглядываясь в лицо Дэна.

— Нет, не знаю,— смущенно улыбнулся Дэн.

— Я хочу сходить вместе с вами в лабораторию доктора Цукки. Как вы на это смотрите?

— С удовольствием.

Они шли по залитой ярким аризонским солнцем территории базы, и Уэбб с отвращением почувствовал, как почти сразу у него взмокла спина и тоненькая струйка пота зазмеилась между лопатками. Отвращение вызывали не только жара и пот, но и идиотская физиономия Далби с написанным на ней выражением превосходства. «Оставьте ваши строевые замашки, Уэбб. Это вам не Форт Брагг. Это научная база». Научная база! База ленивых кретинов. Ах, как быстро полковник уверовал в версию о самоубийстве! Еще бы, за три дня до приезда генерала убийство на территории секретной базы было бы очень некстати. Самоубийство — это другое дело. Понимаете, сэр, напряженная работа, совершенно новая область, полная изоляция. Да, сэр, увы, человек — далеко не лучший из материалов, ничего не поделаешь. Хитер, хитер полковник Далби. Ах, если бы только удалось что-нибудь раскопать... Уж очень гладенькое, хрестоматийное самоубийство. Точь-в-точь по учебнику. Кто знает, попытка не пытка.

Уэбб отнюдь не был уверен в реальности своей версии. Все они в один голос убеждали его, что стимулятор — лучшая гарантия правдивости допрашиваемого, во сто крат большая, чем любой детектор лжи. Но большую часть своей военной карьеры он провел в обычных частях и в глубине души не очень доверял всем этим штучкам. Обыкновенный хорошенький допрос — это, как ни крутись, совсем другое дело. Старый добрый способ, конечно с его опытом, тоже не следует сбрасывать со счетов.

— Вы ко мне? — спросил доктор Цукки, показываясь в дверях лаборатории.— Такое несчастье... Совершенно не могу сегодня работать, все время под впечатлением.— Он казался больной нахохлившейся курицей, а его обычно смугловатое лицо приобрело землистый оттенок.

— Если вы не возражаете, доктор Цукки, я хотел бы воспользоваться вашей экранирующей камерой и побеседовать с мистером Карсуэллом.

— В экранирующей камере? — тихо спросил Цукки и посмотрел, растерянно мигая ресницами, на Уэбба.

— Да,— коротко ответил Уэбб. Он испытывал удовольствие, глядя, как трепещет этот пухлый слизняк. Он уже знал, что скажет Цукки.

— Да, мистер Уэбб, но шоковый удар, который... Тем более мы говорим ведь в присутствии... мистера Карсуэлла.

— Мне плевать на шоковые удары и чье бы то ни было присутствие! — отрезал майор Уэбб.— Ученые... Пулемет позади и огонь без предупреждения, тогда бы онн работали как следует и не несли околесицу о шоковом ударе. Слишком все деликатными стали. Такое мнение, и другое мненне, и еще одно мнение... Либералы...

— К сожалению, я должен...

— Мне плевать, что вы должны, Цукки. Кто заместитель начальника базы — вы или я?

— В научных вопросах...

— Я вам покажу научные вопросы, лабораторная крыса! Убить человека — это, по-вашему, научные вопросы? А?

Уэбб распалялся все больше и больше. Тридцать пять в тенн, песок, куча иднотов и жирный Далби, решающий целымн днями дурацкие кроссворды. И из-за таких он в сорок шесть все еще майор... Кроссворды... Киви...

— Мнстер Уэбб,— плачущим тонким фальцетом выкрнкнул Цукки,— если вы еще раз!..

— Хватит с вас и одного раза. Откройте камеру. Иднте, Карсуэлл.

Дэн не мог сдвинуться с места. Все в нем трепетало, голова плыла куда-то, вращаясь. Мысленно он метался от Цукки к Уэббу, как щенок во время ссоры хозяев. Он знал, он точно знал, что должен что-то сделать, но вяжущая благостная слабость пеленала его по рукам и ногам. Какие странные люди! Для чего ссорнться в тихом, радостном мире, когда все поет вокруг тебя, покачивая, куда-то все несет н несет в сладком счастливом забытьи, в котором стираются четкие пугающие контуры мира и все дрожит в неясной дреме...

— Вы что, заснули?

Грубый и властный голос Уэбба заставил его очнуться, и он снова увидел прыгающий в глазах Цукки ужас.

Странные люди, для чего это все? Он понимал, что сейчас войдет в камеру. Он помнил, как входил в камеру и мир мгновенно безжалостно обнажался перед ним, но это будет потом, не скоро, через три шага, а пока можно было дремать в блаженном спокойствии.

Тяжелая дверь с уже ставшим знакомым Дэну скрипом (надо смазать петли) медленно закрылась за Уэббом. Майор, казалось, приходил в себя, и с каждым мгновением решимость его таяла.

— Садитесь,— глухо сказал он и сам тяжело опустился в кресло.

Дэн молчал, бережно смакуя ненависть, собиравшуюся в нем. Должно быть, так смакуют простые грубые запахи работники косметических фабрик, подумал он. Он и раньше, несколько минут назад, понимал каждое слово, которое произносил этот высокий, сухопарый человек с рыжеватой щеткой усов на верхней губе, но только теперь они по-настоящему проявлялись в крепком растворе ненависти, приобретали четкость и ясность.

— Что вы можете рассказать мне об убийстве Брайли? — хмуро спросил Уэбб и поднял глаза на Дэна.

«Брайли... странно... У меня какая-то пустота в голове, когда я думаю о Брайли. Вчера я с ним разговаривал. Я одержал победу над этим проклятым стимулятором... А что дальше?.. Почему я так радовался этой победе? Провал, какой-то странный провал... Или к этому стимулятору добавилась еще какая-нибудь чертовщина?»

— Я рассказал все, что знал,— бесстрастно ответил Дэн.

Ему не хотелось думать, для чего его терзают эти рыжие усики. Ненависть отступила на шаг и освободила место для горькой острой нежности к Фло.

— Встать! — вдруг истерически крикнул Уэбб.— Расселся, скотина! Радиоидиот! — У него мелькнула было в голове мысль, что напрасно он так распустил нервы, но тут же растворилась в месяцами копившемся раздражении.

«Обожди, Фло»,— подумал Дэн, встал и подошел к майору. Дэн почти без замаха выбросил вперед правый кулак, добавив к усилиям мускулов вес всего своего тела.

Кулак, описав короткую траекторию, наткнулся на лицо майора и передал ему всю заключенную в нем энергию. Кулак обессиленно упал, а голова дернулась назад и в свою очередь передала энергию металлической стенке, которая осталась на месте, предварительно оттолкнув затылок. «Прямо по закону Ньютона»,— подумал Дэн.

Майор начал медленно переваливаться через край кресла. Тонкая струйка крови, сочившаяся из носа, изменила под влиянием силы тяжести направление. Дэн, тяжело дыша, вдруг подумал, что после письма Фло он это делает уже не в первый раз. Уэбб всхрапнул и открыл глаза. Прежде чем клубившийся в них туман рассеялся, Дэн еще раз ударил его в лицо. Теперь лицо было ниже, и пришлось нагнуться, чтобы попасть в него.

Дэн открыл дверь. За нею стоял Цукки, дрожа, словно осиновый лист.

— Помогите мне, доктор,— сказал Дэн, чувствуя, как начинает расплываться ненависть.— Его надо вынести на улицу, ему здесь стало нехорошо от спертого воздуха.

В налитых страхом глазах Цукки мелькнул просвет. Вдвоем они подняли Уэбба и вынесли на улицу.

— Сейчас я позвоню полковнику,— сказал Цукки,— мне сдается, он сможет перенести этот удар... Я имею в виду полковника.

## ВСПОМНИТЬ И ЗАБЫТЬ

Ночь. Дэн, привалившись спиной к двери, сидит на ступеньках коттеджа. Большая Медведица совсем близко — протяни руку и ухватись за ручку ее ковша. Хорошо сидеть так, глядя в небо. Теряешь ощущение своей малости, растворяешься в безбрежности Вселенной. Мыслям в небе просторно. Они плывут в гулкой бесконечной тишине, и ничто не мешает им. Они все удаляются, удаляются, теряют связь с тобой, и их уже больше нет. И сидишь один на дне звездного океана и ломко дремлешь, ни о чем не помня и ничего не ожидая. Сигарета давно погасла в руке, но не хочется ни разжать пальцы, ни чиркнуть спичкой. Тихо.

— Вы спите, Карсуэлл? — доносится еле слышный шепот.

Нет, это не звезды. Это едва видимая тень с голосом Цукки.

Спуск со звезд занимает много времени, но наконец Дэн открывает глаза:

— Нет, доктор, я не сплю.

Цукки колеблется. Он обещал Карсуэллу сделать это, дал честное слово, и все же ему жаль его. Странный человек. То, что он, Цукки, хотел бы забыть, он хочет вспомнить. Ничего не поделаешь, есть люди, которые не любят забывать. Для них все много проще, чем для него. О боже, как все сложно! Он вдруг вспомнил слова Мэри Энн, которые она сказала тогда, уходя от него: «Ты боишься простых ответов, Юджин. Ты боишься жизни. Ты навсегда остался маленьким сопливым Цукки-брюки». Летом у нее выступали веснушки. У нее были сильные руки, и она почему-то всегда коротко стригла ногти. Может быть, она была права. И Брайли был прав: он омега, всю жизнь был омегой, ожидающим ударов от мальчишек и от жизни. Карсуэлл другой. Он обещал ему это сделать. Теперь, после следствия, это не страшно.

— Вы спите, Карсуэлл, спите, спите, спите. Вы смотрите на меня и спите. Вы спите и слышите лишь мой голос.

— Да, доктор, я сплю и слышу ваш голос.

«Удивительно все-таки, как стимулятор облегчает гипноз! Своя воля подавлена, и мозг особенно восприимчив к чужой воле»,— подумал Цукки и сказал:

— Теперь вы войдете в коттедж, ляжете в кровать и будете спать. А когда проснетесь, вспомните все, что было. Идите, Карсуэлл.

Тихо и покорно Дэн поднялся со ступенек и неслышной тенью скользнул к двери.

Не нужно, конечно, было этого делать, снова подумал Цукки, но он дал честное слово. А Брайли нет в живых. Почему все-таки Брайли так ненавидел его? Почему? Что он ему сделал? Что они не поделили? Разве что ответы. У Брайли всегда были простые и однозначные ответы. У него, у Юджина Цукки, их почти никогда не было. Но почему человек с ясными ответами должен ненавидеть человека без ответов? И на этот вопрос ответа тоже не было. И все-таки раз в жизни он найдет ответ, наверное последний. Ровно через два дня. Он не струсит. Удивительное дело, иногда он оказывался много сильнее,

чем думал сам и другие. Он вспомнил, как во время войны их рота совершала учебный марш-бросок. Где это было? Кажется, в Стоунбридже. Там. К десятой миле все высунули языки. Рядом с ним обливался потом Бобби... Бобби... Как была его фамилия? Черт с ним. Длинный парень с бледным жестоким лицом. Сколько раз он издевался над ним: «Ваш брат не привык...», «Это тебе не макароны жрать...» А тогда он плелся рядом, молчал, и одно плечо под тяжестью винтовки было намного ниже другого. Так он и шел, скособочась. И ему, Цукки, было тяжело и все время казалось, что больше он не сделает и пятидесяти шагов, вот-вот рухнет и заснет прежде, чем ударится о землю. И все-таки он шел и вдруг сказал этому Бобби: «Дай твою винтовку. Пусть у тебя отдохнет плечо». Бобби не отказался, но на привале назвал его итальяшкой. Что и кому он хотел доказать? Этому Бобби, что он благородный, или себе, что Бобби гад? Или он просто всю жизнь страдал оттого, что не все его любят или, точнее, что никто его не любит, и всегда пытался купить любовь окружающих мелкими взятками? И это сложный вопрос, и на этот вопрос готового ответа не было. Вот так.

Вот так, дорогой Юджин Цукки. Интересно, получит ли его мать страховку за него? Он привычно пожал плечами — единственный жест, который он умел делать лучше кого бы то ни было. Надо было идти спать. Он посмотрел вверх, на Большую Медведицу, вздохнул и тихо скользнул в темноту.

* * *

Дэн проснулся сразу, минуя сумеречную пограничную зону между сном и бодрствованием. И сразу же вспомнил все...

— Я это сделаю, доктор, я убью его,— говорит он Цукки.

— Вы мелете чепуху,— отвечает доктор.

— Я не хочу терять и Фло и себя в ваших вольерах. Брайли все знает, и он донесет. Люди с лакированными проборами и лакированными зрачками доносят легко. Вы можете помешать мне это сделать, но вы убьете и меня и Фло. Выбирайте.

— Вы жестоки, Карсуэлл, так нельзя.

— Самые сложные задачи, занимающие целые тома, имеют очень простые ответы. Или не имеют их вообще. Сложных ответов в жизни не бывает, я это слишком хорошо теперь знаю. Я сам всю жизнь прятался за сложность ответов.

— Нет, я не могу...

— Как хотите, доктор. Пусть это будет на вашей совести.

— Но вы же не сможете убить его. Выйдя из камеры, вы снова превратитесь в безвольного эйфорика. А если бы и убили, то тут же рассказали бы первому встречному. Помните, как вы доносили мне на самого себя? В трубе?

— Я подумал об этом, доктор Цукки. Я, разумеется, не ученый и ничего не смыслю в этом, но мне кажется, что ваши объекты должны быть во сто крат восприимчивее к гипнозу, чем обычные люди.

— Да, но...

— Вы загипнотизируете меня. Вы прикажете мне убить его и забыть об этом, так чтобы я не смог предать нас. А потом заставите меня вспомнить.

— Вспомнить?

— Да, я не хочу забывать о таких вещах. Это было бы нечестно.

Доктор погружается в раздумье. На него жалко смотреть: всклокоченный человек. Дэну кажется, что он слышит, с каким скрежетом ворочаются мысли Цукки.

Если бы мысли обладали плотью, они бы сейчас изранили друг друга насмерть.

Доктор делает мучительное усилие над собой. Лицо его бледно и искажено гримасой. Кажется, вот-вот его вырвет. Он с трудом проглатывает слюну и говорит:

— Хорошо, Карсуэлл. Выйдите из камеры. Вы правы, гипноз под действием стимулятора не составляет труда.

Зрачки доктора все приближаются и приближаются к нему, увеличенные толстыми стеклами очков. Куда делись прежние мягкие глаза? Эти источают холодный свет, легко проникают в него, и голос доктора быстро укладывает его мысли, как опытный грузчик, одну на другую, в нужной последовательности, ровными штабелями...

...Доктор Брайли идет по двору. Он без халата. На тончайшем сером костюме ни складочки. И тень от его фигуры четкая и аккуратная.

— Доктор Брайли,— широко улыбается Дэн,— я так рад вас видеть!

Ему приятно смотреть на это ясное, умное лицо с внимательными глазами. Прекрасное лицо.

— А, Карсуэлл, вы по-прежнему, я смотрю, предпочитаете мне доктора Цукки.

— О, что вы, доктор Брайли!.. Мне было вчера так стыдно, когда я не мог вспомнить, о чем мы беседовали в экранирующей камере с доктором Цукки.

В глазах доктора Брайли вспыхивают лампочки. Какие приятные, проницательные глаза, и как славно, когда они ласково ощупывают тебя! Как лестно, что такие глаза не отрываясь смотрят на тебя и ждут, ждут...

— И вы вспомнили, дорогой Карсуэлл?

— Да, доктор, да! — радостно выпаливает Дэн. Он почти кричит, и доктор Брайли почему-то пугливо озирается вокруг.

— Тише, Карсуэлл, здесь же люди. Знаете что? Заходите ко мне в лабораторию попозже. Совсем поздно, часов в двенадцать, у меня как раз срочная работа, и нам никто не помешает всласть наговориться. Вам это не поздно?

— О, что вы, доктор Брайли, что вы!

Полночь. Дэн идет в лабораторию Брайли. Она рядом с лабораторией Цукки. Какой обаятельный все-таки человек этот доктор Брайли! Сейчас Дэн его убьет, но это одно другого не касается. Убить он его должен, потому что... таков приказ. Чей приказ? Ему приказал это сделать доктор Цукки, и он не может нарушить этот приказ. Да ему и в голову не приходит нарушить его. Как можно подумать такое? А сам он относится к Брайли прекрасно, это к делу не относится. Смит-вессон оттягивает карман брюк... Так и есть, Брайли ждет его. Какой обязательный человек!

— А вот и я! — Дэн расплывается в широчайшей улыбке.

— Ну, садитесь, мистер Карсуэлл, рассказывайте, что нового.— Доктор протягивает руку и незаметно включает магнитофон. Какой смешной человек — хочет записать его слова, и выстрел, наверное, тоже запишется. На память. Глупости он думает: как можно записать на память выстрел, которым он убьет его? На чью память? О, он знает, что потом нужно сделать с магнитофоном. Когда

доктор Брайли будет мертв, можно будет стереть всю пленку, его это уже тогда не огорчит.

— А вы и не представляете себе, что я теперь знаю!— Незаметно для Дэна в его голосе появляются детские интонации. «Угадай, что у меня в кармане».

— Что?

— Я знаю, что в голове у меня телестимулятор. Маленький, величиной с булавочную головку. И радиоволны управляют мной. Доктор Цукки мне все подробно объяснил.

— В экранирующей камере?

— Да, там. Правда, я к этому отнесся, помню, както странно: почему-то сердился. А вообще мне очень хорошо, мне этот стимулятор нисколько не мешает.

Теплый поток любви к доктору Брайли струится в голове Дэна. А против него плывут несколько чужих холодных мыслей, словно десант, высаженный у него в мозгу чьей-то волей: стрелять только с близкого расстояния, почти в упор, в висок.

— О чем вы еще говорили? — Теперь уже тонко улыбается и доктор Брайли. Ему весело.

Не мудрено: ведь Дэн говорит ему очень интересные вещи. Не такие, впрочем, интересные, не зазнавайся, Дэн. Он и так все знает про стимулятор. Ему просто интересно, что это рассказал доктор Цукки и рассказал объекту, эйфорику! Ты доносишь, Дэн, доносишь на доктора Цукки. Чепуха! Можно ли доносить человеку, который так симпатичен и наверняка любит всех, как любишь ты. Да и вообще, какое это имеет значение, когда смит-вессон оттягивает карман.

Маленькие десантники деловито копошатся в мозгу. Надо подойти к Брайли поближе, наклониться к его уху. Десантники торопят, они не терпят возражений. Да и что возражать, когда это приказ. Это ведь не он, Дэн, наклоняется сейчас к уху доктора Брайли, а они.

— О том, как нам — мне, Фло (это мисс Кучел) и самому доктору Цукки — выбраться отсюда.

Доктор Брайли вздрагивает. Пока это не от выстрела. Сейчас он дернется от выстрела, ведь правая рука Дэна уже осторожно поднимает пистолет. И действительно, доктор дергается вместе с грохотом выстрела, от которого тонко звякают на столе какие-то склянки. Бедный доктор Брайли!

Как быстро и ловко подсказывают ему маленькие десантники, что делать! Достать из кармана перчатки и надеть их. Положить на диванчик труп. Только не испачкаться в крови... Какой тяжелый! Вот так, на спину. Почему мертвые тяжелее живых? Бедный доктор Брайли, как ему не повезло! На глазах у Дэна набухают слезы, мешают смотреть. Вытирать их некогда, и Дэн резко, словно лошадь, отгоняющая муху, встряхивает головой. Слеза падает на пол.

Теперь нужно тщательно вытереть пистолет. Не торопясь, вот так. И рукоятку, и барабан, и ствол. Теперь

вложить смит-вессон в правую руку Брайли и крепко сжать несколько раз для отпечатков пальцев. И левая рука тоже должна оставить отпечатки. Бедный, бедный доктор Брайли! Снова вложить пистолет в правую руку и разжать ее. Пистолет падает. Не забыть о магнитофоне. Это «Зенит». Ага, вот кнопка стирания записи. Вот, собственно, и все. Дэн выходит из лаборатории. Десантники заканчивают свою работу: подкладывают динамитные патроны под память Дэна. Змеится огоньком бикфордов шнур. Дэн еще помнит про Брайли. Маленький взрыв, голова Дэна наполняется светом. Он рассеивается с легкой болью.

Темно. Ночь. Прямо над головой Большая Медведица нагнула свой ковш. Что он делает на дворе в такой поздний час? Давно пора спать.

И вот он лежит на постели и помнит теперь все. И привычное ленивое блаженство не спеша смывает, уносит куда-то вновь приобретенную память. Помнить, забыть — какое все это имеет значение?

Дэн снова закрывает глаза и с легкой улыбкой проваливается в теплую, сладкую дремоту.

## „ПРИКАЗЫВАЙТЕ, ДОРОГОЙ ЦУККИ“

Генерал Труппер любил путешествовать. Всякое передвижение в пространстве, будь то в автомобиле, в самолете, в вертолете или на собачьей упряжке, было ему приятно, ибо давало ему ощущение полноты жизни, напряженной деятельности. Стоило ему остановиться и остаться наедине с самим собой, и время словно замирало для него. Ему тотчас же становилось скучно и даже страшно, ибо он боялся покоя и неподвижности. В такие секунды у него вдруг мелькала мысль о конце. Идешь, идешь, а там, впереди, провал. Бесконечный. И знаешь, что его не миновать. И из него тянет неповторимым запахом небытия. Встать, идти, бежать, забыть, не думать. Поэтому генерал Труппер всегда двигался. Около него, как у форштевня быстроходного судна, всегда вспыхивали бурунчики напряженной деятельности: подбегали и убегали подчиненные, трезвонили телефоны, раздергивались и задергивались шелковые занавески на огромных

картах. Но по-настоящему счастливым он все-таки чувствовал себя только в движении. Вот и сейчас, сидя в вертолете, который скользил над красновато-желтой аризонской пустыней, и глядя вниз на стрелу шоссе, он улыбался. Все было хорошо. Он, Эндрю Труппер, летит, чтобы проинспектировать Драй-Крик. Его окружают толковые люди. Взять хотя бы генерала Маккормака. На вид увалень, а какая голова! Новое поколение: генерал-ученый. Иначе нельзя, да и сам он, Эндрю Труппер, слава богу, тоже не отстает. Другие отстали, безнадежно отстали, вмерзли, как бурые щепки, в лед второй мировой войны. Плоские концепции, устаревшее мышление, архаическое оружие. Будущее принадлежит науке, вроде этого Драй-Крика, где создается такое, что и в голову никому не придет... И все это он, Эндрю Труппер. Ему шестьдесят лет, но каждое утро, когда он бреется, из зеркала на него смотрит совсем еще молодой человек с отличным цветом лица. Прекрасное здоровье, чтоб не сглазить, дай бог такое многим молодым людям. Сколько еще он может прожить? Уж лет пятнадцать, не меньше, а то и все двадцать. А там кто знает... Как двигается наука — это то он знает, слава богу...

— Смотрите, генерал,— почтительно сказал советник Фортас,— вон и база.

Генерал глянул в окошко. Вдали возникал правильный овал базы, утыканный по периметру сторожевыми вышками.

— Хорошенькое место вы подыскали, Фортас, ничего не скажешь, — добродушно сказал генерал, — как на необитаемом острове.

— Для наших подопечных и Тайм-сквер мог бы быть островом, — с почтительной гордостью сказал Фортас.

— Ну-ну, посмотрим.

Вертолет медленно опускался. Он скользнул через изгородь из колючей проволоки, повис на мгновение в воздухе и мягко опустился на землю.

Навстречу вертолету бежали Далби и Уэбб. Позади почтительно трусили офицеры и ученые в светло-зеленых халатах и комбинезонах.

— Сэр,— выпалил полковник Далби, вытягиваясь перед Труппером,— Драй-Крик ждет вас.

— Полковник Далби, начальник базы,— тихо шепнул на ухо Трупперу Фортас.

Генерал коротко кивнул. Он не любил лишние церемонии, и кивок относился в равной степени и к Фортасу, и к Далби.

— Добрый день, джентльмены. Здесь у вас я себя чувствую в лучшем случае студентом.

Несколько сот зубов одновременно сверкнули в заготовленных улыбках.

— Ну-с, а теперь за дело, полковник. В нашем распоряжении,— он взглянул на часы,— час с четвертью. Я думаю, что всем вашим сотрудникам не стоит отрываться от работы.

— Совершенно верно, сэр,— сказал Далби и повернулся к светло-зеленой и белозубой массе ученых:—Займитесь своим делом, господа.

— Ну, что у вас тут, Далби? — спросил Труппер, садясь в открытый «джип».

Вслед за ним в машину торопливо влезли Маккормак, Фортас, Далби и Уэбб.

— Отлично, сэр,— бодро отчеканил Далби и тихо прошипел Уэббу: — Идите и обеспечьте порядок на территории базы.

Уэбб коротко кивнул, бросив на полковника мегатонный взгляд.

— Сейчас на базе,— сказал Далби,— ровно пятьдесят объектов, люди разных уровней развития, включая и с высшим образованием. Разные профессии, разные темпераменты. Все они круглосуточно находятся под воздействием телестимуляторов...

— Это та штука, сэр, что вставляется в голову,— шепнул Фортас.

— ...в состоянии постоянной эйфории...

— Восторженное состояние.— Фортас отлично выполнял свои функции научного советника.

— ...при подавленной собственной воле. Мы можем одним поворотом ручки главного передатчика перевести их в состояние агрессии, страха, голода, сна, но удобнее всего для работы и наблюдений, конечно, эйфория... Одну минутку, водитель...

«Джип» остановился.

— Вон тот человек,— полковник кивнул на склонившегося над клумбой Дэна,— намеревался тайком пробраться сюда, у него здесь работает приятельница. Благодаря мистеру Фортасу нам удалось перехватить его,

усыпить, вставить стимулятор и превратить его в кроткого, ласкового ягненка.

— Гм, интересно! — сказал генерал.—А его дама, сцены ревности?

— Все отпадает, сэр. Нашим пациентам так хорошо, что ни одна тревожная мысль или чувство не может беспокоить их.

— Неплохо было бы и самому заполучить на недельку ваш стимулятор,— засмеялся Труппер.— Иногда просто сил нет от миллиона проблем. Ну, да уж таков, видно, наш крест. Давайте-ка поговорим с этим вашим влюбленным рыцарем.

— Мистер Карсуэлл,— крикнул Далби, вылезая из машины,— подойдите сюда!

Дэн оторвался от цветочной клумбы, которую он обкладывал мелкими камешками, и, улыбаясь, подошел к «джипу».

— Здравствуйте,— весело и слегка сконфуженно сказал он.— А, мистер Фортас, как я рад видеть вас! Вы уж не сердитесь на меня за то, что я тогда...

— Ничего, ничего, мой дорогой.— Фортас нагнулся к уху генерала и шепнул: — Тот самый, что напал на меня с оружием...

— Как вы себя чувствуете? — спросил генерал.

— Прекрасно, сэр! — просиял Дэн.— Вы и вообразить не можете, какие здесь изумительные люди!

— Да он же нормальный человек,— пробормотал генерал.

Фортас грузно перевалился через край «джипа». Он подошел к Дэну и спросил:

— А вы знаете, что ваша знакомая мисс Кучел вам изменяет? Полковник Далби мог бы легко вам это доказать.

Наступила напряженная тишина. Дэн рассмеялся и недоуменно посмотрел на впившихся в него взглядом людей:

— Какое это имеет значение?

— А вы любите мисс Кучел? — бесстрастно спросил Фортас.— Вы же были готовы пойти ради нее бог знает на что...

«Какие они смешные люди! — подумал Дэн.— Как долго они могут говорить о всяких пустяках... Чудаки!»

— Да,— сказал он,— я... люблю мисс Флоренс Кучел.

— И вам безразлично, что она вам изменила?

— Конечно,— Дэн пожал плечами,— я знаю, что это должно мучить меня, но, знаете... все это как-то... не имеет значения...— Он засмеялся и вопросительно посмотрел на генерала.

Тот в свою очередь расхохотался:

— Это же цирк, джентльмены, настоящий цирк! Ах, если бы мою старушенцию сюда, чтобы она научилась правильно смотреть на вещи... Знаете, джентльмены, когда молод, думаешь о женщинах, потому что не можешь не думать. А потом начинаешь думать, потому что уже легко можешь не думать о них...— Внезапно генерал Труппер стал серьезным.— А не подготовлена ли эта сценка заранее, а?

— Что вы, сэр! — сказал полковник Далби.— Смотрите! — С этими словами он ударил Дэна ладонью по щеке.

Пощечина была не сильная, но от неожиданности Дэн покачнулся. На какую-то долю секунды мышцы его сжались, но, прежде чем гнев успел всплыть на поверхность сознания, его уже подхватил мощный поток тихой радости, закрутил и понес остатки куда-то вдаль, прочь. С легким недоумением Дэн посмотрел на полковника. Должно быть, он чем-то рассердил старика... Как обидно...

— Пожмите мне руку, мистер Карсуэлл,— сказал полковник Далби.

И Дэн, просияв, двумя руками крепко сжал протянутую ему руку:

— Ах, мистер Далби, как я рад, что вы больше не сердитесь на меня!..

Полковник торжествующе посмотрел на «джип», как смотрит на первые ряды партера виртуоз-исполнитель после особенно трудного номера. Генерал Труппер медленно набивал трубку и никак не мог попасть большим пальцем в ее чашечку.

— Да-да, ничего не скажешь,— в голосе его звучала смесь благоговейного ужаса и удивления,— почище Христа... Подставь щеку свою... Поразительно... поразительно... Хотя это не совсем по моему департаменту, но ваш стимулятор мог бы буквально возродить религию... Поразительно, поразительно... А другие эмоции, которые вы можете стимулировать у ваших объектов, столь же эффективны?

— Безусловно. И агрессивность, и страх, и сон, и голод. Мало того. Сейчас, если вы не возражаете, мы пройдем в лабораторию доктора Цукки, вон она, и там вы увидите кое-что еще.

— С удовольствием,— сказал Труппер и вылез из «джипа».

Они без стука вошли в лабораторию и на мгновение остановились. После яркого солнца лаборатория показалась почти темной.

— Здравствуйте, господа,— тихо сказал доктор Цукки, который уже ждал посетителей у двери. Голос его был тускл и слегка дрожал.

— Доктор Цукки, один из наших самых блестящих ученых,— шепнул генералу Фортас.— Ну-с, мой дорогой доктор Цукки, показывайте вашу дьявольскую кухню.

Даже войдя в лабораторию, Труппер не стоял на месте, а быстро обошел ее, разглядывая многочисленные приборы. Остановился у двух клеток, в которых сидели мартышки. Одна из обезьян, казалось, тихо дремала. Вторая прижалась к прутьям и принялась строить гримасы, грозя посетителям маленьким сморщенным кулачком.

— А, обезьяны,— сказал генерал.— Теперь я вижу, что нахожусь в настоящей лаборатории... Как дела, обезьяны?

— О, это не совсем обычное животное,— гордо сказал Далби, подходя к клетке с сидящей обезьяной. Он посмотрел на мартышку так, как смотрят отцы на своих вундеркиндов.— Сейчас доктор Цукки покажет нам, на что она способна. Давайте, доктор, действуйте.

— Сейчас.— Цукки открыл дверцу и протянул руки. Обезьяна проснулась, доверчиво посмотрела на доктора, осторожно обняла его шею, и он бережно опустил ее на пол. Ее соседка гневно затрясла прутья своей клетки.

Цукки несколько раз погладил мартышку и пробормотал:

— Ну, Лиззи, покажем, что мы с тобой умеем.— Он взял ее за руку, как водят младенцев, и сказал: — Прошу вас, джентльмены, вот сюда. Это экранирующая камера. Сейчас наша Лиззи находится под воздействием главного передатчика. В камере она перейдет на маленький вспомогательный монитор. Мистер Далби, прикройте, пожалуйста, дверь... Спасибо.

Лиззи на мгновение встрепенулась, дернулась, но тут же успокоилась.

— А теперь, сэр,— он обратился к генералу,— возьмите вот эту штучку.

Генерал посмотрел на плоскую пластмассовую коробочку, на которой были написаны слова: «вперед», «назад», «вправо», «влево», «стоп». Под каждой надписью красовалась красная кнопка.

— Что это?

— Сейчас увидите. Нажмите любую кнопку, и вы все поймете.

Генерал с опаской нажал на кнопку «вперед», и в то же мгновение Лиззи вздрогнула, как будто в ней заработал мотор, и, недоумевающе глядя на людей, двинулась вперед. На пути ее стоял стул. Одним прыжком, упершись лапой в сиденье, она перемахнула через него и продолжала двигаться вперед, только вперед.

Труппер нажал на кнопку со словом «назад», и Лиззи, словно детский телеуправляемый автомобиль, на мгновение замерла, потом повернулась и так же деловито двинулась назад, снова перескочив через стул.

— Чудеса, просто чудеса! — сказал Труппер.

— Будьте добры, сэр, нажмите на кнопку «стоп», иначе Лиззи все время будет стремиться выполнить команду... Спасибо.— Цукки посмотрел на успокоившуюся обезьяну, вздохнул и сказал: — У этой мартышки в голове новый тип стимулятора, с пространственной координацией. Как вы видели, объект с таким стимулятором может выполнять уже специфические команды, в отличие от общего эмоционального настроя остальных объектов.

— Прекрасно, джентльмены! Это то, что нам нужно. Каждый из вас понимает, как нам это нужно. Особенно кнопка со словом «вперед». Назад не так важно, для этого не нужно ваших фокусов. Важно вперед. Чтобы человек не мог не идти, когда впереди даже провал, которого нельзя избежать... Мы ценим вашу работу. Впечатление огромное. Полковник,— генерал посмотрел на Далби,— вы представите мне заявку на нужную вам сумму. Работу надо разворачивать...

— Спасибо, сэр! — Далби старался сдержать улыбку, но она неприлично расползалась по лицу.— Спасибо. Но мы хотели показать вам самое интересное.

Генерал взглянул на часы.

— Ну, давайте, что у вас еще спрятано в рукаве?

— Видите ли, сэр, кто бы ни знакомился с нашей работой, все интересовались стоимостью стимулятора и временем, потребным на его установку. При массовом применении стимулятора это безусловно проблема номер один. Поэтому-то мы и затратили массу усилий, чтобы максимально упростить и удешевить этот процесс. Теперь установка стимулятора занимает немногим больше времени, чем обычный укол.

— Ну, это вы, Далби, наверняка преувеличиваете.

— Нисколько, сэр. Сейчас доктор Цукки покажет вам, как это делается. Он усыпит вторую обезьяну и вставит ей стимулятор меньше чем за минуту. Вы готовы, доктор?

— Одну минутку, сейчас.

Цукки надел на лицо небольшой респиратор и достал из ящика стола прибор, похожий на электродрель.

— Это не просто дрель, сэр. Это автомат,— торжественно сказал Далби.— Как только сверло проходит черепную крышку, оно останавливается. Сжатый воздух проталкивает стимулятор через полое сверло и закупоривает оставшееся отверстие в кости специальным быстротвердеющим цементом. Ровно пятьдесят секунд, сэр.

— А это что у него? — спросил Труппер, кивая на небольшой цилиндрик в руках доктора.

— А, это тоже наше изобретение. Это мощнейший газ с наркотическим действием. Доля секунды, и объект спит. Само собой разумеется, что Цукки будет работать в камере, а мы будем следить через перископы.

Далби любовно посмотрел на красивый цилиндрик и увидел, что палец доктора Цукки согнулся и резко нажал на штырек. «Он с ума сошел!» — пронеслось у него в голове, и он хотел крикнуть, но не успел открыть рот, как острый маслянистый запах сильно стегнул по лицу, мгновенно сковал мышцы, схватил сознание и выдернул его из головы.

«Действительно, ответы, оказывается, бывают простыми»,— подумал Цукки, запирая дверь лаборатории. Он двигался не спеша, размеренно, и в такт неторопливым движениям неторопливо плыли мысли. Мысли были деловыми, и трудно было решить: то ли мысль, скользнув по нервам-проводам, рождала движение, то ли движение рождало мысль.

Надо соблюдать субординацию, подумал он, посмотрел на четырех человек на полу и приставил дрель к голове генерала Труппера. Сверло взвизгнуло, набрало обороты, ровно и тонко загудело. Удивительно, как металл любит человеческое тело, будь то пуля, нож или дрель. Как быстро идет сверло... Спустя сорок секунд сверло затихло и прибор два раза мягко чмокнул, словно поцеловал жертву. Это автомат вытолкнул стимулятор и залепил отверстие специальным быстротвердеющим цементом.

Кто там у них следующий? Наверное, этот молчаливый тип, Маккормак. Прошу вас, сэр, вашу головку. Ух, тяжелые у генералов головы. Начали. Не беспокоит?

Цукки почувствовал, что только респиратор не дает его губам расплываться в улыбке. Почему нужно улыбаться, когда своими руками кончаешь жизнь самоубийством? Интересно, получит ли мать страховку? Да, он кончает жизнь самоубийством. И это хорошо. Ты сошел с ума, Юджин! Да, сошел. Наверное, все рано или поздно сходят с ума. Он это делает сейчас. И хорошо делает. Ловко. Великая вещь — опыт и тренировка. Можешь думать что угодно, но руки делают свое дело. Кажется, есть такой рассказ у Бальзака. Циркач всю жизнь выступает с женой, бросает в нее ножи, которые вонзаются в доску рядом с ее телом. Однажды он узнает о ее измене и решает пронзить во время номера ее сердце ножом. Он целится, бросает нож, но рука привыкла к определенному движению, и нож, как и каждый день в течение двадцати лет, вонзается, дрожа, в доску рядом с ее плечом. Он собирает всю волю в кулак, но и второй нож вибрирует в доске.

Да, но он, Цукки, не промахнулся. Его нож уже в теле жертвы, уже третьей жертвы. Ах, Цукки, кто бы мог подумать о нем такое! Цукки-брюки, сопливая омега из Бруклина. Брайли правильно определил: омега. Нет, теперь он не омега и не альфа: он просто разжал пальцы и спрыгнул с лестницы. Это вовсе не так страшно, как он думал тогда во дворе, лет тридцать назад. Просто разжать пальцы. И все. И все-таки хорошо, что он не разжал тогда пальцы. Нельзя, чтобы тебя заставляли разжимать пальцы другие. Нельзя, чтобы чужие пальцы лезли к тебе. Он просто человек, который считает, что никто не имеет права насильно копаться в чужих мыс-

лях. Человек рождается для того, чтобы думать, а не для того, чтобы покорно привести на цепочке свои мысли другим и сказать: вот, пожалуйста, выдрессируйте их как следует.

Да, Цукки, но, для того чтобы отстоять свое право на мысль, ты сейчас вгрызаешься сверлом в чужие головы. Ничего не поделаешь. Идеалисты слишком часто проигрывали, потому что стеснялись пользоваться оружием своих врагов. А у тех оружие всегда лучше, это их козырь.

Ничего, Юджин, сорок лет не так уж мало. Зато ты сможешь улыбнуться, даже если это будет в последний раз. А почему в последний? Ведь шансы есть... Не нужно думать о шансах. Чем больше цепляешься за них, тем меньше их остается. Не думай ни о чем. Это ведь, наверное, не так трудно — ни о чем не думать. Нужно просто все время думать о том, что не должен думать. Ни о чем.

Ни о чем...

Цукки принялся за Фортаса. Лицо у того было бледно, и в кустистых бровях блестели седые длинные волоски. Светлый пиджак отогнулся, и из-под воротника белой рубашки выступал край бордового галстука.

Все. Готово. Цукки встал, включил рубильник вытяжного шкафа и прислушался к гудению вентилятора, высасывавшего воздух из лаборатории. Теперь можно снять респиратор и улыбнуться. Спят, бедняжки. Притомились. Он выключил мотор, достал из ящика стола зеленый цилиндр, нажал кнопку, поднес по очереди к ноздрям каждого из четырех. Через минуту они проснутся, придут в сознание.

Цукки уселся в кресло, вытер бумажной салфеткой «клинекс» пот со лба и достал сигарету. Смешно. Последние две недели он ловил себя на том, что с трудом мог раскрыть крышку сигаретной пачки — так дрожали пальцы. Сейчас он лихо щелкнул по пачке, как это делают в кино ловкие мужчины с сильными плечами и каменными лицами, настоящие альфы, и взял губами наполовину вылезшую сигарету. Надо все-таки бросить курить, подумал он и усмехнулся. Ничего, скоро, наверное, ему помогут это сделать.

Первым зашевелился Далби, потом Маккормак. Полковник открыл глаза, зевнул, страшно скривив рот, и улыбнулся.

— Что это здесь произошло? — спросил он у Цукки и посмотрел на лежавших рядом с ним людей.

— Ничего,— сухо ответил Цукки,— просто вы все немного устали и прилегли на пол отдохнуть.

— Отдохнуть? — Далби сел, провел ладонью по лбу и засмеялся.— Вот чудеса! Четверо взрослых людей ложатся на пол поспать.— Он уже не просто смеялся, он покатывался со смеху, закидывая голову, и кадык на его горле ходил вверх и вниз.— Просто чудеса, Цукки! Четверо взрослых людей во главе с генералом Труппером, самим Труппером, ложатся на пол в лаборатории и засыпают. А вы нас, часом, не усыпили, дорогой доктор Цукки?

— Усыпил. И даже вставил стимуляторы.

— Стимуляторы? Ох и шутник же вы!..— На мгновение в глазах Далби мелькнул страх, но тут же исчез, вымытый весельем.— Стимуляторы, регуляторы, генераторы, трансформаторы — все это, дорогой Цукки, чушь. Не знаю почему, но мне сейчас весело и покойно, как никогда в жизни. Наверное, и вправду вы всунули в меня эту штуку. Но тсс!.. Вот и остальные проснулись.

Генерал Труппер встал, потянулся, посмотрел на часы и весело ухмыльнулся:

— Пора, джентльмены, мы уже здесь лишних пятнадцать минут.— Он посмотрел на Фортаса и Маккормака, вставших с пола, и расхохотался: — Прилегли, а? Ха-ха-ха!..— Он не мог остановиться. Смех заставлял его сгибаться, и на глазах появились слезы.— А может быть, полежим еще немножко, а? Так сладенько потянемся... А, джентльмены? Что вы посоветуете, дорогой доктор? Простите, забыл ваше имя...

— Цукки,— с широкой улыбкой подсказал Фортас.

— Цукки, ну конечно же, Цукки. Так что вы посоветуете, дорогой доктор Цукки? Знаете, такого симпатичного лица, как у вас, я не встречал никогда в жизни. Доктор,— генерал заговорщически понизил голос,— может быть, вам что-нибудь нужно? Ну, что-нибудь. А? Вы не стесняйтесь, такими друзьями, как я, не бросаются. У меня, знаете, много друзей: «Эндрю, не мог бы ты устроить мне одно небольшое дельце, так, ерунда: заказик на пятнадцать миллионов...», «Эндрю, замолви там словечко...», «Эндрю, моему сыну хотелось бы вернуться домой к рождеству...» И знаете, дорогой Цукки, все всем делаю. Всем,

кто что-нибудь делает мне... Ха-ха-ха!.. Закон взаимного притяжения... Но вам, дорогой Цукки, я сделаю все. От души. Приказывайте, командуйте! Смешно, что старый Эндрю Труппер говорит вам такие слова, а?

— Что вы, сэр, нисколько,— рассеянно сказал Цукки и посмотрел на часы.— Если вы не возражаете, выйдем на улицу, здесь что-то становится душно.

— С удовольствием,— сказал генерал и попытался галантно открыть дверь.— Вы что, дорогой, нас заперли?

— На всякий случай,— сказал Цукки и повернул ключ.— Пошли.

## „ВЫПУСТИ, СЫНОК, МОИХ ДРУЗЕЙ!"

Недалеко от лаборатории стояли Дэн, Фло и майор Уэбб. Цукки почувствовал, как впервые за последний час в нем шевельнулся тошнотворный испуг. Но было уже поздно, поздно было думать и поздно было бояться. Он уже выпустил из рук лестницу и летел к далекой асфальтовой земле.

— Мисс Кучел, мистер Карсуэлл,— крикнул он,—идите сюда!

— Боже, кого я вижу! — рассмеялся Фортас при виде Фло.— Как я рад вам! — Он увидел Дэна, и лицо его исказилось гримасой смущенного недоумения.—Я... вас обидел, кажется...

— Какое это имеет значение? — удивился Дэн.

Он знал, что должно было произойти через минуту, но сознание его блекло, отступало назад, смываемое теплыми волнами симпатии и любви ко всем этим людям. Конечно, полковник Далби только что ударил его, он помнил это, но ему даже не нужно было оправдывать этого человека. Все это просто ничего не значило, было пустой шелухой. Значение имел только поток восторженного спокойствия в нем самом.

— Полковник,— вдруг сказал Цукки, обращаясь к Далби,— у меня к вам большая просьба.— Голос его был безжизненным и тусклым.

— Ну конечно же, доктор, просите что угодно!

— Я хотел бы покатать немного мистера Карсуэлла и мисс Кучел на вашей машине.

— Господи,— просиял Далби,— какой может быть разговор? Элвис! — крикнул он водителю, сидевшему в «джипе».

«Джип» послушно развернулся и замер в нескольких шагах от Далби и Цукки.

— Элвис,— широко улыбнулся Далби,— покатайте, пожалуйста, мистера Цукки и вот этих двух милейших людей...

— Спасибо, полковник...

— Нет, нет, дорогой мой, вы понимаете, какое мне доставляет удовольствие сделать вам что-нибудь приятное? Нет, вы не можете этого понять! — Далби, казалось, сочился добротой. Доброта излучалась всем его существом, сияла в кротчайшей, восторженной улыбке.

— Спасибо, мистер Далби, но я бы хотел сам сесть за руль.

— Прекрасно, прекрасно, великолепная идея! Элвис, не сердитесь, сынок, уступите место нашему чудеснейшему доктору Цукки.

Водитель испуганно посмотрел на начальника базы и несколько нерешительно вылез из машины. Цукки позвал Фло и Дэна и включил мотор.

— Садитесь с нами, полковник,— сказал Цукки и похлопал по переднему сиденью рядом с собой.

— Спасибо, дорогой Цукки,— растроганно прошептал Далби и влез в машину.— Но как же наши гости? А впрочем, все это ерунда... Ерунда! — Он весело рассмеялся.— Удивительное у меня сегодня настроение: что-то я все смеюсь, и хорошо так на душе... и делаю я странные вещи... и знаю, что странные... и не знаю... И все это ерун... ерун... ерунда...

Цукки рывком тронул машину. Далби качнулся и ухватился рукой за ветровое стекло.

— До свиданья! — весело крикнул генерал Труппер. Он с энтузиазмом размахивал фуражкой.— Только побыстрее возвращайтесь. Ждем вас...

— А знаете,—вдруг пробормотал полковник Далби,— я давно хотел вам признаться: я очень люблю решать кроссворды. Больше всего на свете. Стыдно, конечно, в моем положении, но честное слово, доктор, ничего не могу поделать с собой. Вот думаю все время: древний скандинавский воин из шести букв, первая «в». А в словарь ни-ни! Это нечестно.

— Викинг,— сказал Цукки.

— Викинг! Ну конечно же! Боже, какое счастье! Викинг! Как я люблю викингов, если бы вы знали, дорогой Цукки...

Машина остановилась у закрытых металлических ворот. Часовой с автоматом плавился на солнце. Он увидел Далби и отдал честь.

— Послушайте, мистер Далби,— вдруг сказал Цукки,— по-моему, вам все же лучше остаться. Бедный Труппер будет скучать без вас.

— Вы так думаете? — упавшим голосом спросил Далби и тут же оживился: — Ну конечно, я должен немедленно вернуться. Только вы уж не обижайтесь на меня. Не будете?

— Нет,— сказал Цукки.

— Честное слово? Вы, ученые, скры-ытный народ. Все знаете, даже викингов.

— Честное слово,— серьезно сказал доктор.— Только скажите часовому, чтобы нас выпустили.

— Выпустили? А это...— На потном лице полковника мелькнул испуг, но тут же растаял, согнанный улыбкой.— Часовой, выпусти, сынок, моих друзей!

— Да, сэр,— сказал часовой и нажал на кнопку. Загудел мотор, и металлические створки ворот медленно раскрылись.

— До свиданья! — крикнул Цукки и резко дал газ.

Задние колеса выбросили из-под себя облачка песка, и машина рванулась с места.

Далби, улыбаясь, шел по территории. Конечно, все это в высшей степени странно, думал он, но никак не мог закончить мысль. Мысли ни за что не хотели выстраиваться в теплом бассейне необъятного блаженного веселья.

Навстречу ему бежал Уэбб. Лицо его лоснилось от пота. «Все-таки, что ни говори, в нем есть что-то приятное, симпатичное»,— подумал Далби.

— Сэр,— крикнул Уэбб и задохнулся,— вы, вы... выпустили машину с территории? — Он никак не мог заставить себя поверить своим собственным чувствам. Или они обманывают, или...

— Да, дорогой мой Уэбб, мне стыдно, но я должен признаться вам в одной маленькой тайне. Дайте ваше ухо. Я, знаете, обожаю кроссворды. Догадаешься, что птица из четырех букв — это киви, и душа поет. В моем-

то возрасте...— Полковник стыдливо рассмеялся.— Ну ничего не могу с собой поделать.

Майор Уэбб в ужасе отшатнулся. Его загорелое лицо приобрело глинистый оттенок. Он с силой потер ладонью лоб. Мысли фейерверком кувыркались в голове. Он не в себе. Не он — полковник не в себе. Сошел с ума. Сошел с ума... Спокойно, спокойно, это и есть твой шанс. Бегом к генералу.

Уэбб бежал, ручейки острого, щиплющего кожу пота текли у него по лицу, но ему казалось, что он не бежит, а важно, как полагается начальнику, уже почти начальнику, шествует по базе, по своей базе. Пора, пора самому командовать. Он это заслужил.

— Сэр,— крикнул он, подбежав к Трупперу,— полковник Далби выпустил с территории машину с доктором Цукки и двумя объектами!

— Вы думаете, они еще не скоро приедут?

— Приедут? Это побег, сэр!

— Господь с вами — побег! Такие милейшие люди...— Генерал забулькал блаженным смехом.

— Но ведь территорию базы не имеет права покидать ни один ученый и ни один объект.— Уэбб почувствовал, как земля плавно дрогнула у него под ногами. Перед глазами летали яркие мошки. Они казались яркими даже на фоне ослепительного солнца. Сердце колотилось о ребра, но он не чувствовал боли.

— Имеют право, не имеют права,— заливался смехом генерал,— все это пустые, скучные вещи. Как вы можете говорить о пустяках, когда кругом такое блаженство? Смешной вы человек, майор! И усики у вас смешные. Милые и смешные. Нравятся, поди, дамам, а?

Уэбб уже больше не мог бороться с колебавшейся под ним землей. Если он не сядет, он упадет. Чудовищно. Сесть перед стоящим генералом... Он закрыл глаза и опустился на землю. Он сошел с ума. Он сошел с ума. Он с силой сжал ногтями тыльную сторону ладони и почувствовал боль. И вдруг, подобно острейшему лучу лазера, его пронзила догадка. Она была чудовищна и казалась обреченной на немедленную смерть от логических ударов. Но она росла и крепла, расшвыривая слова «невозможно», которыми пытался преградить ей путь смятенный ум майора Уэбба. Они ведут себя так, как стимулируемые объекты. Значит, они находятся под воздей-

ствием стимуляторов. Где, когда? В лаборатории Цукки, подсказал участочек мозга, еще сохранивший способность мыслить.

Майор Уэбб тонко вскрикнул, вскочил и помчался огромными прыжками к контрольной башне.

* * *

Цукки никогда не был хорошим водителем. Он не умел управлять машиной спокойно и небрежно. Несмотря на то что он был ученым, а может быть, именно поэтому, он всегда испытывал нечто вроде почтения к автомобилю. «Ты правишь так,—говорила ему Мэри Энн,— словно извиняешься перед машиной». Впрочем, ее раздражало все, что бы он ни делал. Наверное, она никогда не любила его. А может быть, она не нашла в нем того, что искала? Чего? Ясных ответов «альф» — вот чего. Теперь у него есть ответы, но уже слишком поздно. И правит он так, как всегда хотел править, но не мог. И тоже уже слишком поздно.

Правая нога его всей своей тяжестью лежала на акселераторе, а руки крепко-крепко сжимали руль. Мотор негодующе ревел на полных оборотах.

Главное — не сводить глаз с ленты шоссе. Тогда не так чувствуется скорость.

«Жалко, что Мэри Энн не видит меня сейчас»,— мелькнула у него забавная мальчишеская мысль. Уже поздно. Поздно. Осторожнее, впереди машина. Только не выехать колесами на обочину. При такой скорости это конец. Встречный грузовик испуганно шарахнулся в сторону и в плотном свисте тугого воздуха остался позади. Первый раз в жизни не он уступил дорогу, а ему.

Первый и последний.

Машина мчалась от лагеря со скоростью восьмидесяти миль в час. Дэн почувствовал, как выходит из него одеревеневший покой, словно высасывается скоростью, и место его занимает страх. Страх за Фло, которую он крепко обнял за плечи. Он чувствовал, как она дрожит, и понял, что и она выходит из-под действия стимулятора. Их уже отделяло от лагеря миль пять, не меньше.

Они не разговаривали, да и трудно было услышать друг друга в яростном реве плотного раскаленного воздуха. Он еще крепче обнял ее за плечи, стараясь унять

их дрожь. И чем крепче он сжимал ее, тем меньше становился и его страх.

Он посмотрел на спину доктора Цукки. Идиотский светло-зеленый халат шевелился, как живой. Казалось, что под ним ползают змеи. Это от встречного тока воздуха, подумал Дэн и впервые за долгое время почувствовал острую и горькую любовь, не синтетическую любовь электронного робота, а терпкую, сложную любовь человека. Что станет с доктором Цукки, что станет с ними? Ветер сдувал вопросы, как мыльные пузыри, и они лопались с легким шорохом, чтобы тут же возникнуть вновь.

Дэн, не выпуская руки Фло, нагнулся вперед и прокричал в ухо доктору:

— Хотите, я сяду за руль? Мы потеряем всего несколько секунд.

Цукки отрицательно качнул головой и напряженно улыбнулся.

Он не хотел отдавать руль. Теперь было уже поздно уступать руль.

## ЦЕНА ОДНОГО ДЕЛЕНИЯ

Лестнице не было конца. Целых двадцать ступенек. Дверь. У двери сержант с автоматом на шее. Отвечать на приветствие нет времени. Открывать дверь за ручку — тоже. Толкнуть ее ударом ладони. В комнате главного пульта тихо и прохладно. Мягко жужжит кондиционер. Ровно светятся зеленые огоньки индикаторов. Из-за стола вскакивает лейтенант Хьюлеп. Конечно, сегодня его дежурство.

— Лейтенант,— кричит Уэбб,— немедленно выключите главный передатчик!

«Идиот,— проносится у него в голове,— почему он так медленно шевелится!»

— Не могу, сэр,— отвечает лейтенант. На лице его воловье упрямство, сквозь которое проглядывает самодовольная хитрость. Детские штучки — эти проверки. Он хорошо знает инструкции.

— Выключите передатчик! — шипит Уэбб.— Я вам приказываю!

— Не могу, сэр,— спокойно говорит лейтенант.— Выключение главного передатчика производится только но личному приказу начальника базы полковника Далби, сэр.

— Он не может сейчас отдать приказ, он болен.

— Не знаю, сэр.— Лейтенант позволяет себе чуть-чуть улыбнуться глазами. Майор Уэбб, конечно, строевик, и нужно играть в игру всерьез, но чуть-чуть улыбнуться можно.

— Послушайте, Хьюлеп, это экстраординарный случай. Не заставляйте меня принимать крайние меры. Я, майор Уэбб, заместитель начальника базы, приказываю вам выключить главный передатчик.

— Нет, сэр,— отвечает лейтенант, и улыбка в уголках глаз становится более явственна.— Не имею права. Выключение главного передатчика базы производится только по личному приказу начальника базы полковника Далби. «Черт возьми,— думает при этом лейтенант,—долго он еще будет приставать ко мне?»

Майор чувствует, как в нем поднимается слепая ярость. Он делает два шага вперед и отталкивает лейтенанта. Лейтенант мягко отводит его руку и чуть сгибается в поясе. Напряженно смотрит на майора. Улыбка медленно уходит из его глаз. Майор смотрит на лейтенанта. Секунды уходят одна за другой. Там, за стеной, кривляются в эйфории полковник Далби, генерал Труппер, генерал Маккормак, Фортас и остальные заводные идиоты. Нет, не все. Двое сейчас мчатся на «джипе» вместе с Цукки. Майор тяжело дышит. Секунды идут. И здесь судьба подставляет ему ножку в виде розового молодого кретина. Бешенство туго взводит мышцы. До переключателя три фута. Один шаг. В голове Уэбба что-то щелкает, он бросается вперед, и в ту же секунду сильный удар кидает его на пол. Перед ним ноги. Армейские ботинки на толстой подошве. Майор протягивает руки и изо всех сил дергает за ноги. На спину ему обрушиваются двести фунтов молодых тяжелых мускулов.

— Паршивый щенок! — хрипит майор.

Он упирается руками в пол, напрягает спину. Нет, не так. Он коротко взмахивает локтем и резко отводит его назад.

— У-у! — взвизгивает лейтенант, переворачивает майора на спину и бьет его кулаком в лицо.

Мир взрывается яркой, с сияющими прожилками чернотой. Сквозь черноту виден лоб. На лбу лейтенанта ручейки пота. «Надо только потянуть колени,— почему-то лениво думает майор и осторожно напрягает ноги.— Так. Ну давай». Он неожиданно бьет лейтенанта ногой в пах. Тот кричит. Уэбб вскакивает. Пот и что-то липкое заливает лицо. Он протягивает руку и, почти ничего не видя, нащупывает главный переключатель. Спиной он чувствует, что лейтенант встает на ноги. Раз, щелчок. Переключатель повернулся. Лейтенант, словно снаряд, бросается на него, но майор отклоняется в сторону, и он врезается головой в массивный металлический стол пуль-

та. Медленно сползает на пол. Майор бросается к двери. «Молод еще, паршивец эдакий»,— думает он и кубарем скатывается по лестнице.

— Дежурный! — кричит он в темноту.

— Да, сэр! — В голосе испуг.

— Немедленно отправьте вертолет. «Джип» полковника нужно перехватить на шоссе во что бы то ни стало. Отвечать будете вы!

Теперь быстрее. Яркий солнечный свет ослепляет его на мгновение, но он приходит в себя и бежит туда, где несколько минут назад плавились в электронных улыбках Труппер и его свита. Полковник Уэбб... Да, «полковник Уэбб» звучит неплохо. Лучше, чем сержант Далби. Нет, не сержант. Просто Далби с десятилетним тюремным приговором. Будут ли ему давать в камере кроссворды? А вон и они.

Уэбб услышал глухой рев и не сразу мог понять, откуда он исходит. Ревел генерал Труппер. Он вцепился в генерала Маккормака, а тот молча старался освободить руки и страшно щерил зубы.

Фортас, заметив Уэбба, втянул голову в плечи, набычился и ринулся вперед, хрипло дыша. Мир безумел на глазах. Словно в трансе, майор сделал шаг в сторону, и Фортас, промахнувшись, упал на землю, но тут же поднялся на четвереньки и с воем пополз к ногам майора.

— Боже правый, боже, спаси и помилуй! — крикнул майор и пустился бежать.

Им овладел страх. Липкий, цепенящий, гусеницей ползущий по сердцу страх. Сзади доносился рев генерала. Клубок мыслей в голове Уэбба вращался все быстрее и быстрее, пока наконец не лопнул, не разорвался на отдельные маленькие мысли, которые наполнили его череп ослепительным светом, трепетом и жужжанием. Он споткнулся и упал. Рев приближался.

— Боже,— медленно и с недоумением ощупывая языком каждое слово, сказал Уэбб,— спаси птицу киви из четырех букв.

Он повернул голову и увидел, как Труппер, Маккормак и Фортас медленно подбирались к нему. На их лицах, выпачканных кровью, медленно созревали синяки. Зубы были оскалены. Все трое плотоядно и злобно урчали. Майор снова попросил господа бога защитить птицу киви и спокойно закрыл глаза. Больше ничего его, майо-

ра Уэбба и полного генерала Уэбба, не интересовало. Разве что слово... Как называются эти, что пьют кровь? Вурдалаки, нетопыри, вампиры... Нет, еще какое-то есть слово... Бог с ним. Лучше просто закрыть глаза и отдохнуть, перед тем как принять парад. Он не видел, как нападавшие набросились на него, не почувствовал их ударов и укусов и не слышал многоголосый рев и треск, доносившийся с территории базы.

* * *

Лейтенант Хьюлеп пришел в себя. Почему он на полу и так страшно болит голова? Он поднял руку, провел по волосам и почувствовал под пальцами липкую кашицу. Осматривать руку не было необходимости. Майор Уэбб... Он стал сначала на колени, отдохнул и наконец выпрямился. Привычные зеленые огоньки индикаторов светились, как обычно. Не совсем, как обычно. Два сверху и три во втором ряду. А раньше... Как же раньше? Он попытался вспомнить, но тупая боль в голове не давала возможности сосредоточиться. Кажется, три сверху и один во втором ряду панели. Он медленно перевел взгляд на главный переключатель. Острие его вместо цифры «три» показывало на цифру «четыре». Цифра «четыре»—агрессивность. Кто же это переключил? Ах да, Уэбб. Нельзя, нельзя без личного приказа начальника базы полковника Далби. Надо вернуть ручку в прежнее положение. Он повернул ручку так, чтобы ее острие снова указывало на тройку — эйфорию.

Генерал Труппер вдруг разжал руки, которые он сжимал на шее майора Уэбба. Ослеплявший его гнев куда-то исчез, будто кто-то выдернул его из него за ниточку. Ему стало смешно. Он, Эндрю Труппер, сидит на земле и держит за шею какого-то майора. Майор лежит с закрытыми глазами и молчит. Субординация. Рядом стоят на четвереньках Маккормак и Фортас и смеются. На лицах у них кровь, но улыбки светятся весельем. Радостные улыбки, светлые, детские.

Жаль, конечно, этого майора, симпатичный человек. А какая дисциплина — лежит и не двигается! А? Прекрасный солдат, замечательный солдат!

— А вы знаете, генерал,— подавился смехом Фортас,— он, кажется, и не дышит.

Маккормак нагнулся, прижал ухо к груди Уэбба, долго слушал, сосредоточенно сморщив лоб, и впервые за день сказал, улыбаясь:

— Совсем мертв.

— Чудак! — огорчился генерал Труппер.— Для чего же он так?

Ему было жаль этого приятного, милого человека, которого они почему-то убили, но жалость лишь промелькнула в его сознании, обесплотилась и исчезла. Он посмотрел на огромный синяк на лбу Фортаса, прямо над правой кустистой бровью, и ему сразу сделалось смешно и весело.

— Ну и синячище у вас, Фортас! — хохотнул он, вставая.

— А у вас на лице кровь,— покатился со смеху ученый. Он хлопал себя по животу, слезы стояли в глазах, но он никак не мог унять веселье. Вслед за ним гулко расхохотался и Маккормак...

## ТЕНЬ НА ДОРОГЕ

Сначала Дэн увидел тень. Она скользила чуть справа от дороги, догоняя их. Потом сквозь плотный свист ветра пробился и звук тени. Должно быть, заметил вертолет и Цукки, потому что «джип» прибавил скорость. Но тень не отставала. Наоборот, она обогнала их и плыла теперь на шоссе прямо перед ними. Дэн посмотрел вверх. Брюхо вертолета с рядами аккуратных заклепок было в каких-нибудь пятидесяти футах от них. «Боже,— подумал он,— еще бы каких-нибудь пять минут». До главного шоссе не больше нескольких миль. Вертолет теперь летел перед ними. Казалось, что лопасти его вращаются совсем медленно.

Внезапно послышалось слабое тарахтение, и над их головами просвистела пулеметная очередь. «Джип» начал тормозить.

— Что вы делаете? — крикнул Дэн, нагибаясь к Цукки.

— Вылезайте из машины, быстрее! — яростно крикнул доктор.

«Джип» остановился.

— Доктор...

— Быстрее!

Дэн и Фло выскочили на асфальт дороги. «Сикорский», вздымая винтом тучи пыли и песка с обочины, медленно опускался прямо на шоссе впереди машины. «Чтобы заблокировать дорогу»,— тоскливо подумал Дэн. Вот металлические полозья вертолета коснулись дороги, длинные лопасти чуть опустили концы, замедляя свой бег, и в то же мгновение «джип», взвыв мотором, прыгнул вперед. Время остановилось, и Дэн с чудовищной отчетливостью замедленной киносъемки увидел, как маленькая машина, стремительно набрав скорость, ударилась о бок вертолета в тот самый момент, когда открылась его дверца и двое людей, в комбинезонах, с автоматами в руках, ступили на землю. Они не успели даже отскочить в сторону. Кто-то невидимый вырвал Цукки с сиденья и бросил вперед вместе с треском и скрежетом металла. Устало клонившиеся лопасти винта неохотно ударили доктора на лету, и Дэн закрыл глаза, конвульсивно сжав руку Фло.

Цукки лежал на обочине дороги нелепым светло-зеленым комком. В нескольких метрах лежали его очки. Одно стекло было цело, другого не было. Можно было не нагибаться к нему, живое тело не могло быть свернуто в такой узелок.

— Пойдем, Фло,— сказал Дэн и потянул ее, как ребенка, за руку.

Она ничего не ответила и покорно пошла за ним. Глаза ее были широко раскрыты и сухи. Пыль над шоссе еще не осела.

Они шли, не оглядываясь, молча. На асфальт выскочила крохотная ящерица, посмотрела на них, вильнула хвостом и исчезла. Боль была сухой и горячей, как песок.

— Фло,— сказал Дэн. Он ничего не хотел сказать, просто произнес ее имя. Наверное, ему обязательно нужно было произнести ее имя.

Она не ответила, лишь слабо сжала свою ладонь в его руке. У главного шоссе они остановились. Через несколько минут возле них притормозил старенький «шевроле», и водитель — полная старушка с детски розовыми щечками и розовой шляпкой на голове,— улыбнувшись, сказала:

— Ну и народ пошел, даже руки не подымут. Сама догадывайся. Садитесь, детки.

— Спасибо,— сказал Дэн, открыл заднюю дверцу и подтолкнул Фло.— У вас тоже розовая шляпка...

— Что значит — тоже? — обиделась старушка.

— Нет, ничего.

— Далеко вам? — спросила старушка, трогая машину с места. Она явно обрадовалась попутчикам.

— Не очень,— сказал Дэн.

— Жаль, я ведь до самого Феникса еду. К внуку. К дочери, конечно, тоже, но главное — к внуку. Парнишка — вы представить себе не можете! — пяти лет, а озорует на все десять.

Дэн закрыл глаза: лопасти вертолета снова и снова медленно ударяли доктора и швыряли его по земле нелепым страшным комком. Дэн вздрогнул. Горячая ладонь Фло безжизненно лежала в его руке.

— Что это вы притихли, молодые люди? — неторопливо говорила старушка.— Поссорились небось? То-то же. Я, когда со своим стариком ссорилась, места себе не находила. Ходишь, ходишь вокруг, словно неприкаянная. И подошла бы — гора с плеч долой. И гордость держит. Ах, думаю, такой ты сякой. Чтоб я к тебе первой подошла... Потом, бывало, посмотрим друг на друга и рассмеемся. Так вот...

Старушка, держа руль левой рукой, протянула правую, чтобы включить приемник, и Дэн вздрогнул. У него мелькнула безумная мысль, что сейчас снова их спеленает страшное, противоестественное веселье эйфориков.

Динамик откашлялся, и из него тихо полилась музыка. Печально пел кларнет. Фло била дрожь. Казалось, что в ней начал работать вибратор, заставляя ее тело все сильнее и сильнее содрогаться.

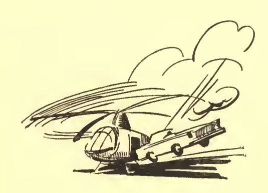
— ...А вообще-то мы редко ссорились, не то что нынешний народ,— бубнила старушка, и видно было, что она уже не особенно рассчитывает на разговорчивость попутчиков.

— Я не могу, не могу,— прошептала Фло.

— Не надо,— мягко сказал Дэн и почувствовал бесконечно печальную нежность к этому существу, сидевшему рядом с ним в чужом, потрепанном автомобиле.

— Я все время думаю об этой штуке у меня в голове,— сказала Фло,— я не смогу жить с нею.

— Так или иначе, у нас у всех в головах приемники, от этого не уйдешь,— прошептал Дэн,— важно только, чтобы самому можно было выбирать программу. И при желании выключить...



## СОДЕРЖАНИЕ


От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

РУКА КАССАНДРЫ . . . . . . . . . . . . . . 7

Глава 1 . . . . . . . . . . . . . . . . —
Глава 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Глава 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Глава 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Глава 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Глава 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Глава 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Глава 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Глава 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Глава 10 . . . . . . . . . . . . . . . 68
Глава 11 . . . . . . . . . . . . . . . 73
Глава 12 . . . . . . . . . . . . . . . 81
Глава 13 . . . . . . . . . . . . . . . 88
Глава 14 . . . . . . . . . . . . . . . 94
Глава 15 . . . . . . . . . . . . . . . 103
Глава 16 . . . . . . . . . . . . . . . 109

БАШНЯ МОЗГА . . . . . . . . . . . . . . 117

АЛЬФА И ОМЕГА . . . . . . . . . . . . . 191

Формика руфа . . . . . . . . . . . . . —
Мирмеколог со смит-вессоном . . . . . . . 196

Таблетка ротора . . . . . . . . . . . . . 201
Кока-кола утоляет жажду . . . . . . . . . 206
Драй-Крик . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Альфа и омега . . . . . . . . . . . . . . 223
Свидание за экраном . . . . . . . . . . . 229
Убить человека . . . . . . . . . . . . . 236
«Ну конечно же, это самоубийство» . . . . 242
Закон Ньютона . . . . . . . . . . . . . . 250
Вспомнить и забыть . . . . . . . . . . . 253
«Приказывайте, дорогой Цукки» . . . . . . 260
«Выпусти, сынок, моих друзей!» . . . . . . 271
Цена одного деления . . . . . . . . . . . 276
Тень на дороге . . . . . . . . . . . . . 281

Дорогие ребята!

*Отзывы об этой книге присылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.*

Для среднего и старшего возраста

*Юрьев Зиновий Юрьевич*

**РУКА КАССАНДРЫ**

Фантастические повести

Ответств. редактор Н. М. Беркова. Художественный редактор Л. Д. Бирюков. Технический редактор Г. В. Лазарева. Корректоры Л. М. Агафонова и К. П. Тягельская.

Сдано в набор 31/III 1970 г. Подписано к печати 13/VII 1970 г. Формат 84×108 1/32. Печ. л. 9. Усл. печ. л. 15,12. (Уч.-изд. л. 15,19). Тираж 100 000 экз. ТП 1970 № 595. А06179. Цена 63 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 477.

В издательстве «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
в 1970 году вышли и выходят в свет
следующие книги:

**Булычев К.**
**ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА.**

*Фантастическая повесть о землянах, пришедших на помощь попавшей в беду планете*

**Жемайтис С.**
**ВЕЧНЫЙ ВЕТЕР.**

*Фантастическая повесть о людях будущего*

**Садовников Г.**
**ПРОДАВЕЦ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.**

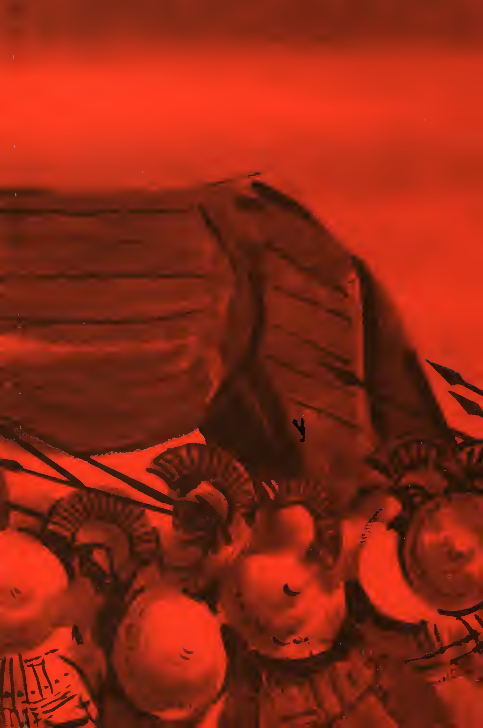
*Фантастическая сказка о необычайном путешествии на звездолете «Искатель» четырех друзей*

**Томан Н.**
**ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО.**

*Приключенческие повести из жизни саперов.*

*

на



63 коп.